

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»**

**ЯЗЫК. СИСТЕМА.
ЛИЧНОСТЬ**
Сборник научных трудов

Екатеринбург 2005

УДК 410

ББК Ш 1

Я 41

Редакционная коллегия:

Б.М.Игошев, ректор УрГПУ, профессор;

Т.А.Гридина, доктор филол. наук, проф. (ответственный редактор);

Н.И.Коновалова, канд. филол. наук; проф.

В.М.Иванов, аспирант

Рецензенты:

М.Э.Рут, доктор филол. наук, проф. (Уральский государственный университет им. А.М.Горького);

Кафедра риторики и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета

***Язык. Система. Личность* / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – 243 с.**

Данный сборник является очередным выпуском периодического издания кафедры общего языкознания и русского языка. Вниманию читателя предлагаются статьи, посвященные изучению современной языковой ситуации в ее динамике. Основными аспектами научного анализа являются социолингвистический, когнитивный, дискурсивный, а также системно-структурный подходы к описанию речевой деятельности и языковой картины мира.

Сборник предназначен для специалистов-филологов, аспирантов и студентов, а также всех тех, кто интересуется проблемами знания языка и владения им.

УДК 410

ББК Ш 1

© Уральский государственный
педагогический университет, 2005
© Кафедра общего языкознания
и русского языка, 2005

Т.А.Гридина
Екатеринбург

Языковая картина мира в свете детской ментальности

Общеизвестно, что истоки личностного развития лежат в возрасте детства. Овладение языком в онтогенезе – та сложная реальность, изучение которой позволяет понять, как формирующаяся личность ребенка отражается (репрезентируется) в его речи и как влияет на эту «репрезентацию» образ мира, запечатленный в языке. Языковой факт, рассмотренный сквозь призму детской речи, допускает множество ракурсов интерпретации. Это системоцентрическое, функционально-динамическое, операционально-прагматическое, когнитивно ориентированное и другие направления исследования содержания и формы вербального знака. Однако важно помнить, что детская речь не может оцениваться с позиций «взрослой» ментальности. В детской речи язык обретает те очертания, которые придают ему образ мира и образ мыслей ребенка.

Дети легко находят ключ к скрытым возможностям языка, что позволяет им «перестраивать» его по собственным «лекалам». В сознании ребенка слова и формы приобретают особые функции и вступают друг с другом в специфические связи, значительно отличающиеся от тех, которые характерны для языкового узуса. На всем речетворчестве ребенка лежит отпечаток его наивной картины мира.

Язык, постигая «законы» которого ребенок «включается» в речевое общение, обладает собственной категоризацией действительности. По словам Ж.Пиаже, «...язык передает индивиду вполне готовую, сформированную систему понятий, классификаций, отношений», однако «ребенок заимствует» из языка «только то, что ему подходит, гордо проходя мимо того, что превышает его уровень мышления» [Пиаже 1969: 213].

Особенности речи ребенка проявляют ментальные доминанты его языкового сознания, или наиболее характерные для ребенка способы языкового «выражения» собственных представлений о действительности. Эти временно господствующие в онтогенезе доминанты мировосприятия «задают» специфику ассоциативного

наполнения единиц детской речи (как узуальных, так и окказиональных).

Приведем несколько характерных примеров: – *Смотри, какие листики зеленые. – Их зеленой красят? // – Эти конфеты (с праздничного стола) нельзя есть. – Они еще не созрели? //* Аню донимают комары. – *Мама, когда же у них обед кончится? // – Мы сегодня не близнецы. У нас штанишки разные // – Бабушка, а как называют тех, кто кого-нибудь угоняет? – Террористы. – Моя мама террористка! Она меня угнала со двора обедать и др.* В сознании ребенка легко соединяется то, что для взрослого кажется несоединимым, и, наоборот, «разводится» то, что кажется взрослому неоспоримо связанным. Значения слов в детской речи имеют сильную привязку к личному (практическому) опыту ребенка. Ср., например: *А эвкалипт – это на дереве болтаются пузырьочки с лекарством?* (5 л. 6 м.) [Харч.] – вопрос, вызванный парадоксальным «соединением» знания о том, что *эвкалипт* – дерево (название) и лекарство, которое продается в пузырьках: *настой эвкалипта* // Ребенку объяснили, что такое «элегантно одет». Через некоторое время смотрит на только что забинтованную руку: *Очень элегантно!* (4 г. 4 м.) [Харч.]

Модификация уже существующих в языке слов и словотворчество ребенка – еще одна интереснейшая сторона проявления детской ментальности. Это та область речевой практики ребенка, в которой он выражает свое понимание сути явления, названного словом. Так, необычным способом (в частности, путем произвольного «усечения», редеривации) выражаются детьми разного рода противопоставления: по признакам «большой – маленький» (*Какие юбы длинные!* – 5 л. 2 м. [Харч.]); «хороший – плохой» (*Лошадка плохая, а лошадка хорошая* – 3 г.); «мужской – женский» (*Синица – тетенька, синиц – дяденька* [Чук.]) и т.п.

Во многих случаях дети вполне резонно (в опоре на частотную синтагматику, грамматические и словообразовательные аналогии, ситуативную конкретику смысла, собственные представления о свойствах и функциях обозначаемого) «дополняют» и корректируют существующие в языке наименования: *череспрыгнуть* (перепрыгнуть *через* что-либо): *Бабушка, а ты можешь череспрыгнуть?* (6 л.) [Харч.]; *третьезавтра* (послепослезавтра): – *А послезавтра воскресенье? А третьезавтра?* (5 л. 4 м.) [Харч.]; *краснявки, зеленявки, серявки* (разновидности синяков): *Это не синявки, а*

краснявки, зеленявки, серявки (6 л.) [Грид.] // Пятилетний Максим объясняет соседям по палате: *Приливка! Приливают же лекарства!* [Харч.] и т.п.

Структуры «мотивированных» слов (способные получать в языке вариативную идиоматику) наполняются в детской речи потенциальным смыслом: Леру нарядили в одежду синих и голубых тонов: *«Ой, скажут синькой заболела!»* (6 л. 7 м.) [Харч.] // Ты не включила свет в ванной, и я мыл руки в *темнице* (4 г.) [Харч.] // О поваре: *Сварищица супов!* (5 л.) [Харч.]. Произвольная мотивация и семантизация узуальных лексем смыкаются с процессами омонимического словообразования, когда созданное ребенком слово случайно совпадает с уже существующим в языке: *Здесь дороги раздваиваются, расстраиваются* (9 л. 2 м.) [Харч.], ср. омофоничный глагол *расстраиваться* в значении «огорчаться, печалиться».

Перефразируя известную формулу «путь к осмыслению феномена человека лежит через его язык» [Арутюнова 1999: 324], можно сказать, что путь к осмыслению мира ребенка «лежит через его речь».

Ментальные доминанты детского языкового сознания определяют специфические для ребенка пути осмысления и использования уже «готовых» языковых знаков и характер его собственной словотворческой деятельности. К таким ментальным доминантам относятся:

1. Антропоморфизм (всеодушевление, олицетворение) – приписывание всему окружающему «человеческих» свойств.

2. Прагматизм (перенесение практического опыта обращения с искусственно созданными предметами, артефактами, на естественные явления природы, животный и растительный мир и самого человека).

3. Номинативный «реализм» (невосприятие условности наименования как отражение конкретики детского мышления).

4. Доминанта личностного и ситуативного смыслов (как освоение значений сквозь призму собственного практического и коммуникативного опыта ребенка).

5. Экспрессивно-разговорная и эмоционально-оценочная модальность номинативного и коммуникативного «регистров» детской речи (как отражение субъективной чувственной доминанты детского мировосприятия).

6. Экспериментальная доминанта (характер речевого мышления ребенка, проявляющего его способность к гибкому ассоциативному использованию «освоенных» языковых алгоритмов в ситуациях номинативного и когнитивного дефицита или «игрового» языко-творчества).

7. Рефлексивная доминанта («выведение» ребенком логики языковых номинаций, обоснование или прояснение их мотивированности с позиций собственного познавательного опыта).

Не ставя перед собой цели всестороннего описания названных ментальных доминант языкового сознания ребенка, попытаемся все же проиллюстрировать некоторые наиболее яркие их проявления в детской речи.

1.1. Антропоморфный образ мира, в котором центральной фигурой, центральной точкой отсчета, «мерой всех вещей» является сам человек, представлен в любом естественном языке. «Человеческое измерение» отражается и в характере речевого мышления ребенка. Как черта детского языкового мышления **антропоморфизм** ярче всего обнаруживается в **феномене олицетворения**.

Наиболее востребованным видом олицетворения в детской речи является «очеловечивание» живых существ, что абсолютно органично для сознания ребенка, который испытывает на себе влияние сказок, мультфильмов, разного рода детских стихов и детской прозы, где животные, птицы, насекомые действуют, чувствуют, живут, подобно человеку. Ср.: *Мухи же в пять часов уже ложатся спать, а почему эта бодрствует?* (7 л. 5 м.) [Харч.] // – *Мам, когда снежок, мухи боятся снега?* – *Боятся.* – *Ах, бояхины, бояхины!* (4 г. 10 м.) [Харч.] // – *А где тут волкина квартира?* (3 г.) [Харч.] // *А воробей это кто? Это сын голубя?* (4 г. 5 м.) [Харч.].

Заметим, что такие суждения об особенностях жизни животных, птиц и насекомых отражают прежде всего сформированные у ребенка стереотипы социального поведения. Эти стереотипные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в человеческом общении складываются у ребенка во многом под влиянием воспитательных «инструкций» со стороны взрослых. В речи ребенка легко улавливаются эти «взрослые интонации», в частности, применительно к оценке поведения животных: *Девочка размышляет вслух: Мухи зимой на юг не улетают, потому что не умеют стаей летать.* Подумала и добавила. – *Недисциплинированные потому что* [ДТС].

Летать стаей значит для ребенка примерно то же, что *ходить строем* (актуальный для детей-детсадовцев стереотип сложенного коллективного «действия»).

Усваивая значения образных языковых выражений (в частности, устойчивых сравнений поведения человека с поведением животных), дети иногда «переворачивают» ситуацию, приписывая животным способность мыслить, подобно человеку: Мама, обращаясь к дочке: *Не кривляйся, как обезьянка!* Лариса задумывается: *А когда обезьяний ребенок не кривляется, его родители-обезьяны ругают, что он на человека похож?* [ПЗП]

Антропоморфизм детского мышления, проявляющийся в приписывании природному миру свойства одушевленности, поддержан известными ребенку языковыми «формулами», а также смешением значений родственных слов. Так, ошибочное употребление слова *улетать* вместо *облетать* (о листьях) «притягивает» глагол *прилетать* из другой ассоциативной связки (*улетать* и *прилетать* – о птицах): *Осенью листья с деревьев улетают, а весной прилетают* (4 г.). Мысль ребенка вполне понятна, но в языке имеет другое выражение: листья *оппадают (облетают)* осенью и вновь *появляются (распускаются)* весной, а не *улетают* и *прилетают* (подобно птицам).

Олицетворение в детской речи не только способ познания действительности, но еще и «...вербализованный прием мышления о мире» [Чеботарева 2003: 3-10], основанный на доступных, понятных ребенку ассоциативных аналогиях. С помощью этих аналогий ребенок представляет все окружающее в человеческом измерении, расширяя и сам диапазон использования доступных ему языковых средств.

Типичным для детей является перенесение языковой модели «семья человека» (*муж – жена – дети* и т.п.) на отношения между животными, птицами, насекомыми и даже неодушевленными предметами: *Ворона и ворон – муж и жена?* (5 л.) // *Петух идет через дорогу. Илюша: Дедушка, притормози. Петух говорит: «Не давите меня. Я к своей жене иду»* (5 л. 11 м.) [Харч.] – здесь олицетворение выражается, к тому же, в приписывании птице способности говорить. Ср.: *У всех птиц мужья – настоящие птицы, а у курицы – петух* [ДТС]. В данном примере олицетворение соединяется с характерным для ребенка стремлением максимально приблизить определенное содержание к понятной форме (соединить зна-

чение *муж-жена* с языковым «маркером» мужского или женского рода в словах *птица – курица – петух*). Так, дети достаточно рано осваивают окончание *-а* как показатель «женскости». По этому критерию, с точки зрения ребенка, понятие *птица*, видимо, «не приложимо» к петуху («мужу» курицы). Совмещение олицетворения с освоением способов языкового выражения рода проявляется также в «поиске» и достраивании детьми недостающего звена «пары»: *У белки мужа как зовут? Белк?* (4, 5 г.) // *А как называется дядя корова?* (7 л. 6 м.) [Харч.].

Подобные явления детской речи диагностичны: они показывают, что ребенок стремится понять логику языка, опираясь на актуальные для него смысловые и формальные различия между словами. Выведя свое правило использования слов, ребенок употребляет его как универсальное, корректируя все, что не соответствует найденному алгоритму. Так, если у слова нет парного родового наименования, он его создает (ср. *синица – синиц* и т.п.). А «семейная» аналогия легко переносится и на «отношения» между неодушевленными предметами, выступая для ребенка когнитивной базой освоения формального характера родовых противопоставлений.

Актуально для ребенка представление о способности человека превращаться в животных и птиц (ср. мифологический мотив «оборотничества»). Такие представления складываются у детей не без влияния сказочного фольклора (достаточно вспомнить хотя бы братца Иванушку, не послушавшегося сестрицу Аленушку, напившегося воды из следа от козлиного копытца на дороге и превратившегося в козленочка). Этот мотив проявляется и в осмыслении детьми значений некоторых устойчивых языковых выражений, характеризующих человека и реалии окружающей природы через «образы» животных и птиц. Так, смысл выражения *гусяная кожа* (о мелких пупырышках на коже человека) ребенок воспринимает буквально, как признак превращения (кого-л.) в гуся: *Баба сказала, что у меня уже гусиная кожа. Я в гуся превращаюсь, да?* (Егоров А., 4 г.) // *Волчьи ягоды* (название ядовитых, несъедобных, диких ягод с помощью «волчьего образа») воспринимается ребенком в значении «ягоды, способные превратить человека в волка»: – *Мама, а правда, что волчьи ягоды есть нельзя?* – *Да, правда.* – *А Коля съел.* – *И что?* – *Пока не серый, не воет* (5 л.).

Другая довольно типичная ситуация «вхождения» в чужой образ связана с зооморфными сравнениями, когда характеристики внеш-

него вида или поведения животных, птиц, насекомых ребенок условно применяет к самому себе. Например: (Зима. Сережа вернулся с улицы весь в намерзшем снегу. Бабушка сбивает с ботиночек ледяные корочки). Сережа с радостью: *Я как цыпленок! Из скорлупы рождаюсь!* [ПЗП]. Ассоциативная цепочка: обледенелая корка снега – скорлупа – цыпленок (который вылупливается из скорлупы) приводит ребенка к установлению некоего внешнего подобия двух ситуаций.

В детских ролевых играх перевоплощение – обязательный компонент. Трехлетняя Оля, собираясь утром в садик, всегда сообщала маме, кем она сегодня будет: любимые персонажи девочки – Кот в сапогах, лиска Лариска (из сказки «Про зайку Петю»), Элефантик (маленький слоник из мультфильма) и т.п. Соответственно выбранной роли она и вела себя в течение целого дня. Эта игра в преобразование продолжалась довольно долго, лет до пяти, принимая разные формы в зависимости от актуальной для более позднего возраста «культурной» информации. Приняв эту форму общения, мать девочки подыгрывает ей: – *Оська, ты сегодня кто? – Я зайка Петя. Ем морковку и прыгаю. – А в чем ты сегодня в садик пойдешь? – В штанишках с хвостиком.* Надевает брючки. – *А где же хвостик? Он совсем маленький, его не видно* (4 г.)

Подобные «перевоплощения» имеют ситуативный характер и также отражают «мифологизированный» образ мира ребенка, который в своей фантазии легко представляет себя в разных ипостасях. Правда, не следует забывать, что уже маленький ребенок понимает условность надеваемой на себя ролевой «маски» (того или иного образа, с которым он себя временно отождествляет): *Когда будет холодно, я надену белую шубку и буду мишкой на севере* (Лилия, 5 л. 9 м.) [Харч.]. Сама речевая конструкция (*мишка на севере*) свидетельствует о характере образной аналогии (ассоциации с названием известного сорта конфет «Мишка на севере», на обертке которых изображен белый медведь).

Принцип олицетворения, составляющий специфическую особенность детской речи, проявляется и в «отраженном» использовании языковых номинаций, касающихся **периодов человеческого возраста, для характеристики размера предметных реалий:** (Наташа рассматривает книжку) – *Буквы бывают большие и маленькие.* (Сережа) – *А среднего возраста у них нету?* [ПЗП]. К этому вопросу подталкивает ребенка сама неоднозначность значений

прилагательных *большой, маленький*, которые используются и для указания на размер предмета, и на возраст человека (например, *маленький* – о ребенке младшего возраста, *большой* – о ребенке старшего возраста; *средний* подростковый *возраст*, человек *среднего возраста*; ср. *маленький – средний – большой* для указания на разницу в величине, размере чего-нибудь).

Таким образом, ребенок чутко реагирует на пересечение языковых классификаций, в которых одни и те же слова входят в разные системы координат, и значительно расширяет сферу использования слов с компонентом одушевленности.

Представление внешнего вида объекта в олицетворенном метафорическом ключе – одна из черт детской речи, проявляющаяобразный, конкретно-наглядный тип мышления ребенка: *Морковка такая глупая. Спряталась в земле, а свою прическу наружу выставила. Вот я ее сразу и нашла* [ПЗП]. В этом описании ребенка морковка предстает как «живой» персонаж, которому придаются одушевленные характеристики «глупая», «спряталась» и «прическа». В воображении девочки это некое существо в женском обличье (атрибут женскости – прическа = пышная ботва), наивно пытавшееся ее обхитрить.

Приписывание какому-то предмету действий и свойств одушевленного существа порождает чаще всего непреднамеренную метафору-олицетворение: *Сосулька – это лед, который убежал с крыши* [ПЗП] // (О прищепках, кем-то оставленных зимой на веревке, где сушилось белье): – *А прищепки на юг не улетели! Всю зиму на веревке просидели* [ПЗП]. В последнем сравнении явно просвечивают ассоциативные аналогии, подкрепленные языковыми и когнитивными стереотипами: *птицы улетели на юг; птицы сидят на ветках* // (Смотрит, как ремонтируют светофор): – *У светофора красный глаз засорился* [ПЗП]. Данное олицетворение, в основе которого лежит представление предмета в «человеческом образе» (круглые огни светофора – это его глаза), сопровождается развертыванием ассоциативной аналогии (выход светофора из «рабочего состояния» объясняется через ситуацию попадания соринки в глаз человека) // *Как ты думаешь, паровоз много бензина глотает?* (5 л.) [Харч.]. В этом высказывании паровозу приписывается человеческая характеристика «глотать» (потреблять бензин как пищу) // (Рисует большой дом, рядом маленький): *Я не думал, что у дома такие домятки родятся!* (4 г.). Здесь наблюдается характерное для

детей представление маленького предмета в образе невзрослого существа (ребенка).

Олицетворение выступает как первый шаг к постижению условности наименования, сочетая в себе буквальное и одновременно ассоциативное восприятие явлений. Когда олицетворение начинает использоваться ребенком только как условная ассоциативная аналогия, а не как способ буквального приписывания явлениям и предметам человеческих свойств, оно приобретает изобразительно-выразительную функцию. Спонтанная же образность олицетворений детской речи изначально выступает как следствие буквальных переносов, способ языкового выражения представлений ребенка о взаимосвязи явлений: *Автомобиль расчихался. У него грипп?* [ПЗП]. Сравнение выхлопов автомобиля с чиханием можно было бы признать условно-образным, если бы не следующее за этим «буквальное» допущение, что машина могла заболеть гриппом.

«Обратным» олицетворением можно считать и восприятие детьми уже стершихся антропоморфных метафор. Ср.: *Зачем гвоздю головка? Все равно торчит в стенке и не думает* [ПЗП].

Отношение к природным явлениям, приписывание им способности мыслить и действовать, подобно человеку, входить с людьми в осознанный контакт – еще одна грань (модель) олицетворения, свойственного детскому сознанию.

Все небесные светила – Солнце, Луна, звезды – кажутся ребенку одухотворенными объектами, потенциальными собеседниками. Ср.: (Отец проводит домашний урок астрономии) – *Вон большая Медведица, вон Венера. Сережа удивляется: Папа, ты знаешь, как зовут звезды?! – Знаю. – А когда ты с ними познакомился?* [ПЗП].

Этот диалог ребенка с отцом напоминает анекдот о звездочете и двух студентах, которые спросили его: «То, как Вы считаете звезды, понятно, ведь они видны ночью на небе, но как Вы узнали их имена?». В детской наивной картине мира «коммуникация», «разговор», «знакомство» человека со звездами воспринимается как нечто вполне естественное.

«Целенаправленность» действий приписывает ребенок всем наблюдаемым атмосферным явлениям.

Сережа стоит на балконе. Говорит раздумчиво: *Облака в кучу собираются. Наташа настороженно: – Зачем? – Кучевыми хотят стать* [ПЗП]. Ср.: *Луна стала толстая такая, поэтому стесняется и за тучу прячется* [ПЗП].

Подобное отношение отражается зачастую в парадоксальных суждениях ребенка об особенностях «поведения» погоды.

Два часа идет дождь. Сережа недовольно: *Позволили туче закрыть солнце, так она еще и дождем всех поливает* [ПЗП]. Ребенок использует неопределенно-личную конструкцию, в составе которой глагол указывает на чье-то решение, якобы давшее повод туче к последующим «несанкционированным» действиям.

Реликты мифологического (анимистического) сознания, когда все происходящее в природе одушевляется, находят отражение в детских олицетворениях-персонификациях: – *Ой! мне Мороз укол сделал! – Куда?! – Под варежку!* [ПЗП] // (Сережа после прогулки раздевается и рассказывает, что увидел на улице): – *Гололед женился на гололедице. И пошли они всех людей с ног валить* [ПЗП]. В высказывании ребенка элементы олицетворения приобретают сказочный «колорит», при этом родовые различия персонифицированных слов-синонимов (*гололед* и *гололедица*) осмысляются (а, возможно, и осознанно обыгрываются) через актуальное для детского возраста противопоставление «муж – жена» (уже упоминавшееся при иллюстрации «обоснования» родовых различий в парных наименованиях животных и птиц). Выразительность олицетворения усиливается непредусмотренной смысловой «двуплановостью» сочетания *людей с ног валить*: ср. *валиться с ног* – от усталости и *валиться с ног* – падать на скользком льду).

Наконец, еще одна специфическая грань олицетворения в детской речи – это мотив чудесного, связанный с тайным знанием об обычных вещах, в которые «вселяется», по представлениям ребенка, некая одухотворенная (волшебная) «субстанция». Например: (Прибирая постель, бабушка взбивает подушку. Наташе это не нравится): – *Не бей подушку, в ней мои сны живут!* [ПЗП].

В целом «олицетворение» создает для ребенка определенную зону языковой свободы, где он чувствует себя вполне комфортно.

1.2. «Прагматизм» мышления ребенка проявляется в приписывании «предметных» свойств объектам природы, человеку и животным. Это еще одна ментальная доминанта детского сознания, сквозь которую ребенок воспринимает значения языковых единиц. Данная особенность сознания ребенка, отражаясь «в зеркале» его речи, выявляет характер освоения языка сквозь призму обобщений, сделанных на основе «практического» знания ребенка о свойствах вещей (прежде всего их утилитарной функции, цели использова-

ния, принципах работы). Ребенок-«практик» воспринимает мир в предметном измерении. Предметные эталоны, в которых ребенку предстает познаваемая действительность, становятся основой для усвоения языковых значений.

Весьма популярна в детской речи «механическая» метафора, которая, в частности, выражает представление о природе и человеке как некоем **управляемом устройстве**.

Так, ребенок, который никак не может заснуть из-за бьющего в глаза, льющего через окно солнечного света, просит: *Мама, выключи солнышко, оно мне спать мешает* // Заставляет маму спать: *Мама, выключи глазки* (3 г.) [Харч.] и т.п.

При этом прагматизм и мифологизм детского сознания легко «уживаются» друг с другом («предметная» доминанта образа мира соседствует с антропоморфной): (Жарко. Вдруг подул прохладный ветерок). Сережа: *Ну, наконец-то природа отремонтировала свой кондиционер!* [ПЗП]. Одушевленная природа (которой приписывается «человеческое» действие: способность *ремонтировать*) воспринимается в то же время как «технически оснащенная система», где есть свой кондиционер, который может включаться, если становится «слишком жарко».

Причины природных явлений осмысляются детьми сквозь призму бытового сознания, житейских ситуаций. (На юге. Море неспокойно. Волны бьют о берег. Дочь говорит): *Море опять недолили, одна пена* [ПЗП]. Ср. также одновременно антропоморфное и прагматическое представление ситуации грозы. (Гром, молния. Сережа замечает): *А тучи совсем электричество не экономят* [ПЗП].

Предметные характеристики, обусловленные представлениями об особенностях работы какого-либо прибора (механизма), могут приписываться не только природным объектам, но и одушевленным существам (человеку, животным, птицам, насекомым). (Наблюдает за мухой. Говорит пренебрежительно): *Мелюзга!* Потом подумал и добавил: *И какие же у нее, наверное, маленькие батарейки!* [ПЗП].

Такое уравнивание во многих случаях обусловлено еще низким уровнем языковой компетенции ребенка, не делающим различий между глаголами, имеющими и не имеющими значения одушевленности: (К маме пришла соседка, известная болтушка. Они смотрят телевизор и разговаривают. Наконец Сереже это надоело, и он

потребовал): *Давайте выключим или тетю Лиду, или телевизор* [ПЗП].

Прагматическая доминанта детского сознания и мышления приводит к уравниванию детьми причин искусственного и естественного происхождения применительно к характеристике человека. Это выражается, в частности, в парадоксальных детских вопросах. Так, глядя на мальчика, страдающего косоглазием, пятилетний Леша спрашивает: – *А почему этому мальчику мама хорошие глазки не придумала?* (5 л.). Понятно, что такой способ выражения мысли связан и с расширением номинативной функции слова, когда в языковом «запасе» ребенка нет соответствующей его запросу номинации. Глагол *придумать* означает только мыслительное (виртуальное) действие, которое не может влиять на физиологические особенности внешности человека. Соответственно нельзя *придумать* ребенку *хорошие глазки* как «атрибуты» какого-то искусственно создаваемого объекта.

«Прагматизм» выражается также в осмыслении ребенком «фантазийной» модели мира (воплощенной в произведениях детского фольклора). Прагматическая переработка культурной «информации» обнаруживается, например, в детских суждениях, привносящих в ментальное пространство волшебной сказки реальность современного городского социума. Ср.: Наташа: – *А почему Иван Царевич такси не взял, а на волке поехал?* Сережа: – *А какой же таксист поедет за тридевять земель?* [ПЗП]. Подобные речемыслительные «гибриды» – следствие «стирания» в детской субкультуре архетипических различий между сакральным (непознаваемым, чудесным) и профанным (обыденным). Еще один аналогичный пример: Сережа осмотрел курятник и спрашивает: *У вас есть Жарптица?* – *Нет*, – отвечает бабушка. – *Правильно, а то курятник сгорит* [ПЗП].

Ребенку свойственно представление себя или другого человека в «предметном» образе на основе буквального или игрового отождествления. Ср., например, следующий диалог детей-дошкольников (Сереже – 3 г., его сестре – 4 г.). Сережа: – *Если я буду идти по рельсам, я буду поездом?* Наташа: – *Это деревенские дети бывают поездами. А городские будут трамваями* [ПЗП]. Здесь проявляется буквальное «инструментальное» отождествление транспортного средства (передвигающегося по рельсам) и человека, который, если идет по рельсам, то «превращается» в трамвай или в поезд (с уточ-

нением – в деревне в поезд, в городе – в трамвай). Возможно, сама языковая форма, выбранная детьми (*быть поездом и трамваем*) неудачно транслирует действительное содержание этого диалога, но то, что в нем выражается прагматическая доминанта языкового мышления ребенка, несомненно.

Уподобление человека какой-то вещи (предмету) может принимать и характер словесной игры на основе актуальных для ребенка ассоциативных аналогий, в которых прагматическая доминанта часто пересекается с антропоморфной: – *Женя, ты кто?* – *Я «Марс»*. – *А мама кто?* – *«Баунти»*. – *А папа?* – *«Сникерс»*. – *А бабушка с дедушкой?* – *«Сладкая парочка»*. *А все вместе мы мусорти (Женя, мальчик, 2 г. 3 м.)* [Харч.]. Представленный ребенком ряд номинаций – названия шоколадных батончиков «Марс», «Баунти», «Сникерс» – используется в функции игрового олицетворения, очевидно, под влиянием телерекламы, где эти предметы наделяются «чудодейственными свойствами и даже персонифицируются. Таково, в частности, употребление по отношению к дедушке и бабушке известного рекламного слогана (ср. «Твикс»! *Сладкая парочка!*). Ассоциация с *ассорти* (вероятно, ошибочно переименованным ребенком в *мусорти*) обобщает тот «игровой образ» семьи, который возник в воображении ребенка.

Реальная и «нереальная действительность» тесно переплетены в «сверхнаивной» (Н.И.Лепская), но в то же время причудливой, сложной, сочетающей в себе «практицизм» и «фантазию» субъективной картине мира ребенка.

1.3. Номинативный буквализм, или неприятие условности наименования. Эта ментальная доминанта детского языкового сознания обусловлена, с одной стороны, конкретно-наглядным характером мышления ребенка, с другой стороны, сложностью смысловой структуры слова, которую ребенок постигает не сразу и не в полном объеме. Вначале слово «как бы спаяно для ребенка с предметом, к которому оно относится. <Это> еще не имя предмета, а одно из его свойств. <В дальнейшем слово> ... впитывает в себя свойства предметов и действий, становится их носителем, абстрактом, оно уже обобщает» [Новоселова 2002: 137]. Но и разные типы языковых обобщений ребенок усваивает не сразу. Буквально воспринимают дети условные «зооморфные» номинации с оценочным значением, которые используются как ласкательные обращения или «дразнилки» (у взрослых – шуточные). Например: (Мать, об-

ращаясь к только что успокоившейся после плача дочке, с шутилой укоризной констатирует): – *Какая же ты у меня рева-корова! – Если я корова, то где у меня вымя?* (5 л.)

В ответной реплике девочки проявляется характерные черты номинативного «реализма» (прямого отождествления слова с тем, что оно называет). «Если корова имеет вымя, то тот, кого называют коровой, тоже должен иметь вымя», – так рассуждает ребенок. Ср. подобную ситуацию, спровоцированную вопросами взрослого, когда на основе абсолютно верных исходных посылок ребенок приходит к парадоксальному выводу: «*У коровы есть рога? – Да. – А если у собаки есть рога, то это корова? – Да. – Корова дает молоко? – Да. – А если собака – это корова, то она дает молоко? – Да.*». Из неоспоримых фактов «у коровы есть рога» и «корова дает молоко» выводится ложное заключение: если у собаки есть рога, то это корова, и если собака это корова, то она дает молоко» (пример Л.С.Выготского).

Дети, которые легко отождествляют себя с любыми живыми существами, вместе с тем буквально воспринимают условные ласкательные обращения типа *рыбка, киска, зайка* и часто обижаются, если их так называют. Ср.: *Я не киска, а Таня, девочка* (3 г.). Зооморфные «анalogии» нередко используются в детской речи как средство уничижительной характеристики: Наташа про Сережу: – *А наш Сережка – микроб*. Младший брат обиделся и расплакался: – *Почему я микроб?! – Потому что ты мыла боишься* [ПЗП]. Сравнение (точнее, отождествление) мальчика, который не любит мыть руки, с *микробом*, является следствием буквального понимания фразы «*микробы мыла боятся*» («формулы здоровья», внушаемой ребенку с раннего детства).

Характерная черта детского языкового сознания – буквальное восприятие уже стершихся языковых метафор.

Так, выражение *смотреть (видеть) сон* воспринимается ребенком в прямом смысле (в проекции на ситуацию *смотреть телевизор*): *Ты переверни меня сегодня ночью на другой бочок*, – просит Сережа перед сном маму. – *А то я хочу сны по второй программе посмотреть* [ПЗП].

Прагматическая направленность такой интерпретации вполне очевидна (сновидение из сферы бессознательного «перемещается» ребенком в сферу управляемых, практически освоенных «феноменов»). Буквализм детского мышления по отношению к данной си-

туации заключается и в восприятии увиденного во сне как «продолжающейся» реальности: *Почему ты так рано проснулась? – спрашивает мама Вику. – Чтобы посмотреть, куда пошла лошадка. – Какая лошадка?– Мне приснившаяся* (Вика, 3 г. 7 м.). *Приснившаяся* (приснившаяся) лошадка для девочки вполне реальный объект.

В соответствии с логикой номинативного реализма дети выстраивают смысловые (в частности, антонимические) оппозиции между словами. Интересно в этой связи сравнить детские высказывания на одну и ту же «тему»:

(1) *Когда у меня выпадут старые зубы, то нападут новые* (3 г.).

По сути, в этом высказывании ребенка заключена здравая мысль о том, что у детей выпавшие молочные зубы сменяются новыми (коренными). Однако способ выражения этой мысли специфичен, ввиду того, что ребенок оказывается «в плену» языковой аналогии, не подкрепленной знанием различий в значениях однокоренных слов. Так, следуя закону «симметрии», девочка употребляет глагол *нападут* как антоним к *выпадут* в устойчивом выражении *выпадут зубы*, в то время как за словом *нападать* закреплено совсем иное значение (ср., например, *нападать на кого-л.*). Кроме того, противопоставление *старые – новые* зубы в контексте «молочные – коренные зубы» является логическим парадоксом.

(2) *Сейчас я молоко пью, у меня зубы молочные, а когда коренные будут – корень буду есть?* (4 г.).

Вопрос ребенка обнаруживает актуальное для него ассоциативное осмысление слова *молочный* через ситуацию еды (*молочные* зубы у тех, кто *пьет* молоко, а, следовательно, по аналогии *коренные* зубы – у тех, кто *ест* корень). Это объяснение, возможно, спровоцировано и фоновыми ассоциациями (*молочные* зубы некрепкие, а *коренные* – крепкие, следовательно, такие, которыми можно разгрызть твердый корень). Ребенок не понимает реального содержания номинации *коренные* зубы (*зубы, имеющие корень*) из-за того, что им еще не освоена многозначность мотивирующего слова. В данном случае в когнитивном опыте ребенка еще нет понятия «корень зуба», но есть понятие «корень как нечто твердое и съедобное». Не воспринимает ребенок и условности номинации *молочные* зубы, которая имеет не прямой, а скорее, символический смысл, лишь ассоциативно связанный с тем обстоятельством, что молочные зубы появляются у маленьких (грудных) детей.

(3) *Мама, а когда молочные зубы выпадут, мясные расти будут?* (5 л.).

Этот вариант смыслового противопоставления номинаций основан также на буквальном понимании их мотивированности (см. пример 2). Однако противопоставление *молочные – коренные* оформляется в ином ассоциативном ключе. *Мясные зубы* – собственная инновация ребенка, смысл которой в указании на то, что это зубы, сменяющие *молочные* и пригодные для того, чтобы есть мясо.

Все три примера показывают, что когнитивный и языковой опыт ребенка-дошкольника далеко не всегда синхронизированы, а, кроме того, свидетельствуют о том, что в ситуации дефицита информации дети ищут ее в самом слове, «вовлекаясь» в сложный процесс освоения «идиоматики» мотивированного наименования.

Номинативный реализм детского сознания проявляется и в восприятии детьми значений устойчивых образных выражений. «Приспособление» их к собственному пониманию ребенка принимает чаще всего характер буквального истолкования, но, как это ни парадоксально, такие факты создают своеобразный афористический «ресурс» детской речи. Выразительность буквально «переосмысленных» фразеологизмов заключается в том, что они открывают неожиданный ракурс видения уже привычных ситуаций, возвращают «готовое» устойчивое выражение к его «истокам», создают новый ассоциативный контекст его восприятия, но, что самое главное, «проявляют» детскую ментальность, позволяют судить о взаимодействии концептуальной и языковой сфер детского сознания.

Так, выражение *время летит*, воспринятое буквально, породило следующий «афористический» вариант его интерпретации: *Между сегодня и завтра человек спит. Поэтому не видит, как летит время* [ПЗП].

Из этого рассуждения можно легко вывести предметный эталон, который выступает для ребенка основой восприятия образа времени (нечто визуально наблюдаемое, подобно полету самолета, птицы). Кроме того, ребенок осваивает «параметры» течения времени через номинации, указывающие на череду сменяющих друг друга дней (*сегодня* и *завтра*), разделенных ночью (когда мы спим). Навивное рассуждение маленького «философа», спровоцированное буквализмом детского мировосприятия, по сути, выражает мысль о невозможности «уследить» за временем, которое не останавливается ни на миг.

О буквальном восприятии значений устойчивых выражений свидетельствует часто неожиданная реакция ребенка на реплику взрослого. Эти реакции могут быть весьма остроумными и выглядят как преднамеренный каламбур, и только с учетом возраста ребенка и конкретной коммуникативной ситуации можно сделать вывод о том, что лежит в основе буквального переосмысления образного оборота речи.

В некоторых случаях дети остроумно используют как свободные словосочетания обороты, которые имеют статус устойчивых образных выражений.

Таково, например выражение *сладкая жизнь*, которое появляется в речи ребенка в следующей ситуации: Сережа: – *А выходные дни и праздники – это жизнь?* Наташа: – *Это сладкая жизнь! С конфетами и пирожным!* [ПЗП].

Анализ данной коммуникативной ситуации, когда девочка подхватывает реплику брата, позволяет предположить, что номинация *сладкая жизнь*, скорее всего, не транслируется (не заимствуется из речи взрослых), а создается ребенком самостоятельно, как эмоционально реакция на слова *выходные* и *праздники*. Переносный смысл выражения «безбедная, полная развлечений и удовольствий жизнь» девочке, конечно, неизвестен (как и то, что эта фраза – название «культового» фильма Ф.Феллини). Однако в контексте диалога данное ребенком «буквальное» определение *сладкой жизни* получает собственную оценочную ориентацию (функцию), является весьма выразительным и потенциально образным.

Буквальная интерпретация переносного (образного) смысла устойчивого выражения нередко ставит взрослого в тупик «обескураживающей» аргументацией, с которой трудно поспорить. Отец с грустью: – *С такими оценками ты далеко не пойдешь.* Сережа успокаивает его: – *А мне далеко и не надо. Я на стадион буду ходить* [ПЗП].

Дети могут интуитивно или осознанно использовать подобную тактику речевого поведения, чтобы разрядить конфликтную ситуацию (смягчить назревающий конфликт): – *Сережа, ты опять в буфет лазил! Сколько раз говорить, чтоб твоей ноги там не было! – Так я же рукой лазил* [ПЗП].

Переключение ситуации в новое русло, способность предложить неожиданную «перспективу» ее разрешения – еще один вариант буквальной интерпретации содержания речи взрослого, исполь-

зующего фразеологические обороты при общении с ребенком. Бабушка в сердцах выговаривает внуку: *С тобой каши не сварить!* Сережа сразу же предлагает: *Тогда давай пирожного поедим!* [ПЗП].

Не стоит, конечно, преувеличивать уровень компетенции ребенка в использовании возможностей буквального истолкования фразем (даже в том случае если нам, взрослым, реакция ребенка кажется остроумной). В этом отношении особенно показательны факты рефлексии над значениями стершихся образных выражений, обнаруживающие игру смыслов (чаще всего не предусмотренную ребенком). Ср., например: *Мне уже пятый год идет. Только очень медленно* [ПЗП] // За обеденным столом. Мама: – *Сережа ты сидишь на диете, ничего сладкого тебе не положено. – А можно я пересяду на другой стул?* [ПЗП].

Однако нельзя не обратить внимание на те нюансы номинативного буквализма, которые проявляют речевую активность и «языковой инстинкт» ребенка, «видение» обозначенной фразеологизмом исходной денотативной ситуации.

В рамках одной статьи не представляется возможным охарактеризовать все вышеперечисленные ментальные доминанты языкового сознания ребенка. Отметим только, что эти доминанты тесно связаны друг с другом, взаимообусловлены и требуют не только отдельного, но и комплексного описания. Так, связь ситуативного по преимуществу характера усвоения языка с личностным смыслом слова в детской речи очевидна. Рефлексивно-мотивационная доминанта, обуславливающая поиск «объяснимой» связи между формой и содержанием слова, задает перспективу для собственного (экспериментального) речетворчества ребенка (в том числе для спонтанного и преднамеренного действия в «поле» языковой игры). Эмоционально-экспрессивная доминанта языкового сознания в онтогенезе определяется по преимуществу конкретно-наглядным (правополушарным) характером мышления ребенка, аффективной тональностью детской речи, нестандартностью устанавливаемых формально-смысловых связей и спецификой оценочной параметризации фактов действительности, отраженных в детской языковой картине мира.

Литература

- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999.
Новоселова С.Л. Генетически ранние формы мышления – М.; Воронеж, 2002.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Психология интеллекта. – М., 1969.

Чеботарева И.М. Феномен олицетворения в детской речи. – М.; Белгород, 2003.

Использованные словарные материалы и сокращения

Грид. – Примеры из личной картотеки Т.А.Гридиной.

ДТС – Мировов В. «Детослов». Детский толковый словарь. – М, 1999.

ПЗП – 500 золотых приколов (от двух до пяти) / Сост. В.Коняхин. – М, 2001.

Харч. – Харченко В.К. Словарь детской речи. – Белгород, 1994.

Чук. – Чуковский К.И. От двух до пяти. – Л., 1976.

© Гридина Т.А., 2005

К.И.Демидова, Л.Н.Овчинникова

Екатеринбург

Глагольные метафоры в русских говорах Среднего Урала как источник изучения языковой картины мира в региональном аспекте

В лингвистической литературе стало общепринятым положение о том, что языковая картина мира (далее – ЯКМ) – это способ репрезентации концептуальной картины мира посредством языка. Другими словами, это совокупность знаний о мире, запечатленных в языке. В языковой картине мира сквозь призму национального языка и его форм отражается определенное видение мира, что позволяет говорить о ней как об особой форме воплощения национальной ментальности.

Мировосприятие отдельных народов, людей и социумов складывается под влиянием многих факторов: природных, географических, культурных, социальных и языковых. Все они, в совокупности воздействуя на человека, вырабатывают у него специфический, свойственный только ему взгляд на мир, особое мировидение, которое объединяет и вместе с тем разделяет людей, относя их к определенной нации или социальной группе, внутри которых также существуют индивидуальные языковые, ментальные, эмоциональные и психологические особенности. Эта закономерность обуславливает сложную и неоднозначную структуру общенациональной ЯКМ, внутри которой обнаруживаются как общие, так и частные составляющие, без рассмотрения которых невозможно проникнуть в глубины ЯКМ. Одной из частных составляющих является языковая диалектная картина мира (далее – ЯДКМ), которая также неоднородна, что связано с наличием общих и индивидуальных особен-

ностей мировосприятия диалектоносителей, живущих на разной территории функционирования русского языка. В качестве общих свойств, характеризующих особенности мышления диалектоносителей, можно выделить следующие: предельная конкретность восприятия мира, эмоциональность и образность. Индивидуальные особенности, свойственные носителям какого-либо отдельного говора, обнаруживаются при анализе лексического материала: так, для названия реалий окружающего мира номинаторы широко используют метафорические модели, но названия реалий на разных территориях ассоциируются с неодинаковыми предметами, признаками и т.д., что обуславливает выбор разных моделей для номинации элементов окружающего денотативного пространства. Этот и другие факторы объясняют наличие в ЯДКМ как универсальных составляющих, свойственных языковому мышлению носителей языка в целом, так и индивидуальных – «антропоцентризм, субъективизм, зависимость от внешних условий бытия, «пессимизм», консерватизм» [Радченко, Закуткина 2004]. Думается, что определение универсального и уникального в ЯДКМ является актуальной задачей, которая позволит выявить специфику языкового сознания носителей национального языка, определить место в нем «архаичных форм освоения действительности», а также способы создания целостной модели мира посредством образных языковых средств.

Цель статьи состоит в том, чтобы на материале глагольных метафор (далее – ГМ), выбранных из Словаря русских говоров Среднего Урала, показать некоторые составляющие ЯДКМ. Выбор материала обусловлен продуктивностью образных глагольных номинаций в русских народных говорах вообще и в среднеуральских в частности.

Глагол, являясь наиболее динамичной и гибкой частью речи, включает обширный потенциал для рождения метафор различного уровня образования (семантический, словообразовательный, семантико-словообразовательный). Продуктивность образных глагольных номинаций в русских народных говорах, их динамичность и подвижность позволит наиболее полно и ярко отразить специфику народно-поэтического мышления диалектоносителей, а актуализация территориального компонента – описать языковую картину мира, а именно, ее диалектную составляющую, связанную с образным восприятием действия.

Метафору мы рассматриваем как сложный феномен, главная функция которого – выявление связи между явлениями окружающего пространства. В соответствии с этим мы определяем ее как полифункциональный номинативный механизм, анализ которого осуществляется посредством выявления основы образного переосмысления, определения уровня метафорического переноса, а также определения образных схем, через которые происходит образование метафорического значения, то есть обнаружения национально специфичных образов-прототипов, лежащих в основе ГМ или шире – «типовых ситуаций», как их называет Л.Г.Бабенко. Анализ ГМ описанным выше способом позволяет сочетать в исследовании два основных подхода – лингвистический (структурно-семантический) и когнитивный.

Анализ ГМ русских говоров Среднего Урала включает классификацию ГМ по сферам действительности, с отнесением образных лексических единиц (далее – ОЛЕ) к определенным тематическим группам, а также выявление продуктивных способов и механизмов образования ГМ посредством классификации ГМ по способу и уровню образования метафорического значения.

В соответствии с последней классификацией нами выделены следующие группы:

1. ***Семантические метафоры*** – вторичные косвенные номинации, в которых метафорический перенос осуществляется на семантическом уровне (перенос названия с одного предмета на другой).

2. ***Словообразовательные метафоры*** – первичные номинации, метафорический перенос осуществляется на словообразовательном уровне (словообразовательная структура слова создает образ).

3. ***Семантико-словообразовательные*** – в основе лежит семантический перенос и словообразовательный элемент (семантико-словообразовательный уровень).

Данная классификация позволяет описать специфику образования и функционирования ГМ, выявить основные ассоциативные связи образных единиц в сознании диалектоносителей, проследить этапы процесса рождения ГМ, помогает определить сферы-источники ОЛЕ.

Все ГМ (855 единиц) распределяются по определенным сферам действительности: ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ПИТАНИЕ, ПУТИ СООБЩЕНИЯ. Эти сферы действительности теснейшим образом

связаны с человеком, что обусловлено антропологическим характером диалектной картины мира. Эти сферы мы не относим к общей сфере ЧЕЛОВЕК, а рассматриваем как самостоятельные. Они являются вторичными по своему образованию (зависят от сферы ЧЕЛОВЕК), но функционируют как вполне автономные, так как имеют индивидуальные особенности и достаточно распространены.

Каждая из сфер действительности, в свою очередь, представлена тематическими группами, в которых ГМ объединены на основании одинакового категориально-грамматического признака («архисемы»), наличия типовой сочетаемости и связанности с определенными моделями представлений.

Характеристика ГМ по сферам действительности

ПРИРОДА

Тематические группы:

1. Состояние природы (28 ОЛЕ).

РасщелЯться. Светать. Б а г *. *Светать, расщеляя начало* (Баг, Клепалово).

Семантико-словообразовательная ГМ, в основе – предметный образ «щель». Действие «светать» уподобляется действию «просачиваться через образовавшуюся щель»: словно солнечный свет проникает через щель, преодолевая преграды (медленно, постепенно). Утреннее небо (преграда) здесь переосмысливается через образ «щель», солнечные свет – субъект действия, он проникает сквозь небо как через щель.

2. Состояния животных, связанные с их природными особенностями, с состоянием (22 ОЛЕ).

ОблЕсать. Одичать. С-Вост., Богд., Верхот., Камен., Конт., Туг. *Корова-то у меня совсем облесала, ее невозможно заставить* (Верхот., Кар.).

Семантико-словообразовательная ГМ, в основе – предметный образ «лес». Действие «становление состояния дикости» уподобляется действию «становиться лесным» (облесать), метафорический перенос осуществляется через образ «лес», свойства существ, живущих в нем, приписываются качествам домашнего животного в состоянии дикости («дикий», то есть словно лесной).

3. Действия животных, связанные с произведением звука (19 ОЛЕ).

* Здесь и в дальнейшем приняты сокращения Словаря русских говоров Среднего Урала

СкучАть. Выть, скулить. Сукс. *Ходиши по лагерю, другой раз слышиши – волки скучают* (Сукс, Сажино).

Семантическая метафора, основанная на олицетворении: состояние волка переосмысливается через состояние человека. Действие «выть, скулить» по своим причинам уподобляется действию «скучать»: волк воет со скуки.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематические группы:

1. Садоводство и огородничество (22 ОЛЕ).

РасплЯвывать. Высаживать рассаду. Верхот. *Рассаду-то расплЯвывать в рассадник надо* (Верхот, Карелино).

Семантико-словообразовательная метафора. Образное значение развивается через признак, связанный с характером действия: действие «сажать цветы» уподобляется действию «расплевывать в разные стороны», т.е. «размещать что-то в большом количестве на расстоянии друг от друга».

2. Животноводство (16 ОЛЕ).

ЗапрУдить. Загнать (скот) в ограду или хлев. *Запруди-ка телят домой.*

Семантическая ГМ, в основе перенос по образу действия. Действие «загнать скот в ограду» переосмысливается через глагол трудовой деятельности «запрудить», то есть собрать воду в одном месте (скот и вода – это объекты, на которые направлены действия с целью помещения их в определенное пространство).

3. Полеводство (19 ОЛЕ).

Эта группа представлена ГМ, характеризующими процессы сельскохозяйственного труда, связанные с работой на поле: посадка, уборка урожая, сенокос; ГМ, характеризующими состояние растений, зерновых, высаживаемых на поле; ГМ, обозначающими состояние земли, используемой людьми под посадку полевых культур.

СдУть. Скосить. В-Салд. *Иди к ним заутра, щисто всю траву сдуют* (В-Салд., Никитино).

Семантическая ГМ. В основе – перенос по образу действия. Уподобление происходит по признаку «быстрота, мгновенность» выполнения действия: «скосить траву» – словно сдуть пушинку – легко и быстро.

4. Охота, рыболовство и собирательство (14 ОЛЕ).

МОлнить. Выстрелить. Тур. *Ружье молнило – значит хто-то стрелил* (Тур, Бушланова).

Семантико-словообразовательная ГМ. В основе – предметный образ «молния». Действие «выстрелить» сравнивается с действием «вызвать молнию», где выстрел уподобляется молнии.

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Тематические группы:

1. Хозяйственная деятельность, связанная с домашним хозяйством (48 ОЛЕ).

РазмозОлить. Разносить, растоптать (обувь). Велиж. *Ты мне размозолиш тапочки-те* (Велиж, Велижаны).

Семантическая метафора. Действие «разнашивать обувь» переосмысливается через действие «мозолить», результат действия «разносить» связывается диалектоносителями с появлением мозолей: «разносить обувь» – значит «натереть мозоли».

ПИТАНИЕ

В эту сферу входят глаголы со значением приготовления пищи, отношения человека к пище, а также глаголы, связанные с состоянием приготавливаемых продуктов (53 ОЛЕ).

НакОзлиться. Наесться вдоволь. Тур. *Накозлюсь-ка и посплю* (Тур, Камышенка).

Семантико-словообразовательная метафора. Субъект действия «наесться вдоволь» уподобляется животному «козел». Вероятно, диалектоносители приписывают животному козел качество «ненасытность», которым наделяется субъект действия «накозлиться», поэтому он уподобляется козлу. Метафорический перенос происходит через уподобление субъекта действия зооморфному образу.

ПУТИ СООБЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (17 ОЛЕ). В эту же сферу мы включаем глаголы с общим значением движения, перемещения.

ВыпУчивать. Уезжать. Верхот. *Че-то из Свердловска выпучивают, не глянется, видно там* (Верхот, Злыгостева).

Семантическая ГМ. Действие «уезжать» уподобляется действию «выпучивать глаза», характеризующему человека в состоянии страха (от страха глаза выпучил), общий компонент – словно выставлять наружу, под угрозой чего-либо, опасаясь чего-либо. В основе ОЛЕ – уподобление по образу действия.

Наиболее продуктивными с точки зрения образования метафорического значения являются глагольные метафоры, относящиеся к

сфере ЧЕЛОВЕК. Они представлены следующими тематическими группами:

1. Физическое состояние человека, поведение личности в связи с возрастом (55 ОЛЕ).

ЗазОриться. Застыдившись, покраснеть. *Пошто, сынок, как дефка зазорилсь?*

Семантико-словообразовательная метафора. Действие «застыдившись, покраснеть» уподобляется действию, связанному с восходом солнца, с зарей, где субъект действия (человек) уподобляется природному явлению «зорька». «Покраснеть» – то есть стать подобием зари, значит красным.

2. Состояние человека при болезни (34 ОЛЕ).

ТирАниться. Мучиться. Н-Тавд. *Ох, матушка, я уж с войны тираню-сь-то* (Н-Тавд, Елань).

Семантико-словообразовательная метафора. В основе предметный образ. Действие «мучиться, страдать физически и морально» переосмысливается через образ «тиран», который рассматривается как субъект, влияющий на состояние человека, им может быть и непосредственный исполнитель действия. «Тираниться» – как бы испытывать влияние тирана извне или влияние самого себя как тирана.

3. Эмоциональное состояние (40 ОЛЕ).

ЖмУриться. Бояться. Тур. *Ты поди сходи по ягоды, али жмуришся?* (Тур, Шухруп).

Семантическая метафора. Действие «бояться» переосмысливается через действие «жмуриться» – прищуривать глаза, которое выступает в качестве следствия первого (когда бояться, то прищуривают глаза, чтобы плохо видеть то, что вызывает страх). Метафорический перенос осуществляется по образу действия.

4. Характер человека, склонности, привычки, интеллектуальные способности (51 ОЛЕ).

КоролИться. Хвастаться. Н-Тур. *Ты всегда королишся зря* (Н-Тур).

Семантико-словообразовательная метафора. Субъект действия «хвастаться» уподобляется королю на основе общих свойств и признаков: высокое положение в обществе, важность занимаемого места, способность влиять, могущество, – тот, кто хвастает приписывает себе подобные качества.

5. Поведение человека по отношению к труду, собственности (78 ОЛЕ).

ЗаЕсть. 1. Съесть. Тур. *Попробуем, как ты это молоко заеш* (Тур, Липовское). 2. *перен.* Растратить. В-Тавд. *Двенадцать тысяч заели* (В-Тавд, Герасимовка).

Семантическая метафора. Действие «растратить деньги» уподобляется действию «съесть, поглотить пищу», общий компонент – утрата объекта (пищи, денег)».

6. Речевое поведение человека (115 ОЛЕ).

ИсколокОлить. Сказать что-либо непонятно. Копт. *Иной раз исколоколиш ще, молодые не поймут* (Копт, Раскатиха).

Семантико-словообразовательная метафора. Здесь речь человека уподобляется ударам колокола, в результате образуется ГМ исколоколить со значением «сказать непонятное», здесь звуки колокола являются символом недифференцированного сообщения.

7. Действия человека, связанные с целительством, колдовством, знахарством (13 ОЛЕ).

ОмрачИть. Околдовать, заколдовать. Туг. *Омрачили ево: ему кажсеца, а ничево нет* (Туг, Золотова).

Семантическая метафора. Действие «околдовать» уподобляется действию «омрачить», то есть сделать мрачным. В основе метафорического переноса – сходство по результату действия. Повидимому, заколдованному человеку диалектоносители приписывают качество «мрачный, ушедший в себя».

8. Социальное поведение человека, семейные отношения, отношение к нормам нравственности (177 ОЛЕ).

Эта группа ГМ занимает особое место в метафорическом пространстве сферы ЧЕЛОВЕК, поскольку ГМ, входящие в ее состав, являются наиболее интересными и продуктивными. В состав группы входят несколько лексико-семантических групп (далее – ЛСГ):

а) ГМ социального поведения, или иначе, социального взаимодействия, характеризующие взаимодействие человека с различными социальными объектами (людьми и предметами быта) – 62 ОЛЕ;

б) ГМ, характеризующие поведение человека по отношению к нормам нравственности – 57 ОЛЕ;

в) ГМ, характеризующие семейные отношения, семейную жизнь человека (бытие семьи) – 42 ОЛЕ;

г) ГМ, связанные с народной духовной культурой, организацией досуга – 16 ОЛЕ.

ГМ социального поведения, социального взаимодействия, характеризующие взаимодействие человека с различными социальными объектами: людьми и предметами быта

ВожжАть. 1. Запрягать. Камен. *Я все ее вожжала* (Камен, Пирогово). 2. *перен.* Понукать. Подгонять. Туг. *Што ты меня вожжаеш, я и сам знаю, што пора* (Туг, Гилева).

В семантике этой образной единицы имеется смысловой компонент «сильное воздействие на объект с целью изменения характера его действий, в рассматриваемом глаголе «заставлять, торопить делать что-либо», который имеет «отрицательную отнесенность: объект должен осуществлять действия по принуждению, не всегда справедливому. Данную метафору мы определяем как метафору семантического уровня, поскольку метафорическое значение здесь является вторичным, образуется на базе первичного, прямого значения через образ объекта «вожжи», посредством которого совершается действие «запрягать», обозначаемое в уральском говоре глаголом «вожжать». Действие «понукать, подгонять» переосмысливается через действие «запрягать», тем самым принуждать лошадь к совершению действия, понукать ее, с акцентом на объекте совершения действия. Общий компонент значения – «словно запрягать вожжи», то есть применять свою волю по отношению к объекту действия.

ОтлИчить. Отвадить. Камышл. *Баска девка захочет – приличит парня, захочет – отличит* (Камышл., М.Квашнино).

Семантико-словообразовательная метафора. В основе метафорического переноса лежит предметный образ «лицо» (*отличить* – «удалить от лица, лишить возможности видеть лицо»).

В группе ГМ социального взаимодействия особо выделяются ГМ «воспитания» (10 ГМ), 5 из которых имеют отрицательную отнесенность (актуализация отрицательных, негативных характеристик действительности – существенная черта менталитета диалектоносителей; дальнейший анализ материала подтвердит это) и употребляются в значении «испортить воспитанием»: *изманЕжить, иствАрить, распространЯть, изварнАчить, испотАчить*.

ИспотАчить. Избаловать, испортить потачками. *Софсем испотачили парня*. Эта ГМ является семантико-словообразовательной, имеет отрицательную отнесенность. В ее основе лежит семантиче-

ский компонент – сходство по результату действия, который неизвестен заранее. Он может быть как положительным, так и отрицательным, но чаще последним, поскольку отрицательная отнесенность содержится в самой семантике этого глагола, она и является основой образного переосмысления, которое происходит путем усиления отрицательного компонента значения этой языковой единицы (приставка *ис* со словообразовательным значением «доведение действия до конца, до предела»).

Все ГМ этой подгруппы имеют семантический компонент (предметно-признаковый образ, обозначенный результатом действия, его характером, или образом самого действия, через который происходит метафорический перенос).

КрепИть. Держать в повиновении. *Вотще раньше крепили нас, режим строгой дефкам был.*

Эта ГМ отнесена нами к семантическим. В образовании метафорического значения здесь участвует образ, связанный с признаком «крепкий». Глагол «крепить» в прямом значении – «делать крепким, укреплять». В переносном значении он приобретает смысл «держат в повиновении». И в том, и в другом случае действие направлено на объект с целью его преобразования, но во втором случае признак «крепкий» характеризует не столько преобразованный объект действия, сколько его субъект, точнее, само действие, его характер. Результат действия, названного глаголом в прямом значении, переосмысливается как характер действия, названного глаголом в переносном значении. Поэтому метафорический перенос здесь осуществляется больше по характеру действия («делать крепким» и «держат в повиновении», то есть крепко), чем по результату.

Группу ГМ социального взаимодействия составляют 46 ГМ, в основе которых лежит уподобление по образу действия (*вертЕть* – 2. «Ломать, изменять характер, привычки, поведение и т.п.», *вытягАть* – 3. «Выручать») 16 ГМ, метафорический перенос в которых происходит через предметно-признаковый образ, то есть через объект, при помощи которого осуществляется действие, или которому уподобляется субъект/объект действия (*командИровать* – «командовать», в основе ГМ – образ «командира, человека который командует»; *изварнАчить* – 1. «Испортить дурным воспитанием, избаловать», в основе ГМ – образ «варнака»). В связи с этим мы можем говорить о том, что действие, связанное с оказанием влияния,

воздействием на (кого) что-либо, чаще воспринимается носителями уральских народных говоров через другое действие, однако зачастую внимание диалектоносителей сосредоточено на предмете (объекте), участвующем в действии. Мысль о неразрывной связи глагола и имени звучит и в исследованиях Э.В.Кузнецовой: «... глагол и имя – это прежде всего некое единство противоположностей, которые могут существовать только как части этого единства, только в рамках его» [Кузнецова: 1987: 3].

Почти у всех ГМ этой группы, за исключением 7 ГМ, в образовании участвуют два компонента – семантический и словообразовательный (это семантико-словообразовательные метафоры: *оче-ствОвать* – «обслужить», то есть относиться к человеку с уважением, словно называя его по имени отчеству; *истварИть* – «испортить воспитанием», то есть сделать из человека «тварь»).

ГМ, характеризующие поведение человека по отношению к нормам нравственности

Все ГМ, относящиеся к этой тематической группе, характеризуют поведение человека, нарушающего нормы нравственности. Диалектоносители актуализируют отрицательные характеристики бытия, их внимание привлекают существующие отклонения от норм в поведении человека.

БлошИть. Хулиганить, озорничать. Реж. *Молодеж уж поздно, да блошит, наблошица все не может* (Реж, Липовское).

Семантико-словообразовательная ГМ. В основе метафоры – природный образ. Субъект, совершающий действие «хулиганить», по своим характеристикам уподобляется блохе, которую диалектоносители наделяют отрицательными качествами. Хулиган мыслится как блоха.

МутовАть. Хитрить, лукавить. Богд., Гар., Камен. Действие «хитрить, лукавить» переосмысливается диалектоносителями через другое действие «мутовать» или «мутить», то есть поднимать осадок со дна, делать воду мутной. В основе метафоры – сходство по характеру действия: мутить воду – мутить разум человека, разум как вода. В народных говорах Среднего Урала встречается восемь различных вариантов ОЛЕ со значением «обманывать, лукавить»: *обуздАть, жОгнуть, грОхАть, нагибАть, омрачАть, оболгАнить, бессОлить*, – две из которых (жогнуть и грохать) в прямых значениях обозначают действие «ударить, бить». Здесь действие «лгать,

врать» уподобляется действию «бить»: общий компонент – словно наносить удары, причинять вред и боль.

Распространенность образных вариантов глагола «обманывать», которые составляют синонимический ряд, в народном говоре объясняется, вероятно, тем, что подобное нарушение норм нравственности (обман, ложь) расценивается диалектоносителями как недопустимое, с ним нельзя примириться (обманщик приравнивается к предателю, врагу).

Большинство ГМ этой ЛСГ группы (37 ОЛЕ) в своей основе имеют предметно-признаковый образ, через который происходит метафорический перенос. По уровню их языковой репрезентации они относятся либо к словообразовательным (*обесстыжиться* – потерять стыд; *натворить* – наделать), либо к семантико-словообразовательным (*крысать* – вредить, портить; *лихостить* – вредить). Наш анализ языкового материала показывает, что при образовании образных единиц диалектоносители очень часто актуализируют ресурсы словообразования: в основе ГМ помимо семантического компонента зачастую лежит и словообразовательная модель.

ГМ, характеризующие семейные отношения, семейную жизнь человека (бытие семьи)

Эта группа ГМ представлена глаголами бытия (существования), которые отражают характер, особенности протекания семейной жизни как проживания (31 ОЛЕ): *выкорчеваться* – «покинуть родные места», *красоваться* – «жить беззаботно, в довольстве и благополучии», *сиротать* – «жить одиноко, не имея родственной поддержки; глаголами семейных отношений, которые раскрывают особенности организации семейной жизни (11 ОЛЕ): *прислониться* – «войти в семью, коллектив», *свекрыть* – «быть строгой свекровью, главой в доме», *рождовать* – «усыновлять или удочерять».

25 ОЛЕ этой группы относятся по своему образованию к ГМ, в основе которых лежит уподобление по образу действия, 17 ОЛЕ – к ГМ, имеющим в своей основе предметный образ. В связи с чем мы можем говорить, что действия, характеризующие существование человека, особенности его проживания в определенных условиях переосмысливаются через другие действия, названные глаголами с общим значением действия, направленного на субъект или объект (*наприматься* – «много испытать чего-либо, натерпеться»), глаголами передвижения (*направиться* – 2. «Приспособиться»), трудо-

вой деятельности. *ВЫкорчеваться*. Покинуть родные места. Камышл. *Кто умер, кто што, все выкорцевались отталъ* (Камышл., Галкинское).

Это семантическая метафора, в основе которой лежит уподобление по образу действия: действие, названное глаголом в прямом значении – «выдернуть корень», – уподобляется действию «покинуть родные места», общий смысловой компонент – «утратить что-либо», потерять корни, то есть «выкорчеваться». Действие, связанное с покиданием, оставлением дома переосмысливается через глагол трудовой деятельности «выкорчевывать» – удалять корни из земли, где субъект действия ассоциативно связывается с объектом, на который направлено действие, названное глаголом в прямом значении.

ИзносИть. Перенести, претерпеть. *Сколько горя износили с им.*

Это семантическая метафора, в основе – уподобление по результату действия. Действие «перенести, претерпеть» сравнивается с действием «износить вещь», общий смысловой компонент – «привести в негодность»

ОтрастАть. Обжиться, обзаводиться. Верхот. *Маленьке люди стали отрастать-то, а тут опеть война, повоюй-ке* (Верхот., Карелино).

Семантическая метафора, в основе – уподобление по характеру действия. Действие «обжиться, обзавестись хозяйством» переосмысливается через глагол физиологического состояния, обозначающий действие «отрастать, увеличиваться в размерах».

В значении «обзаводиться семьей, хозяйством» в уральских говорах также употребляются глаголы *обвязаться, обложиться*, которые в прямом своем значении относятся к глагольной группе с общим значением действия, направленного на субъект.

Охарактеризованные выше ГМ относятся к глаголам бытия (существования), отражающим характер, особенности протекания семейной жизни как проживания. Большинство ГМ этой подгруппы образуются на семантическом уровне: в них актуализируется смысловой компонент глагольного значения, словообразовательные модели реже участвует в рождении метафоры: *накорпЕться* – натерпеться, в основе ГМ – переосмысление действия, названного глаголом в прямом значении (*корпеть* – «усердно работать») как действия «натерпеться», общий компонент – характер действия (оба действия требуют терпения).

ГМ, в основе которых лежит предметный образ: он может быть одушевленным – 4 ОЛЕ (*сиротАть* – жить одиноко, не имея родственной поддержки, *засолдАтеть* – стать солдаткой), но чаще используются неодушевленные – 7 ОЛЕ (*летовАть* – вести домашнее хозяйство и присматривать за детьми во время летних сельскохозяйственных работ, *набЕдовать* – испытать много бед, намучиться). По уровню образования эти ГМ отнесены нами к семантико-словообразовательным.

МостИться. Устраиваться, «моститься». Бутк. *Мальчик – девичий обманщик, на колесах катицца, соловацца ладицца. Мостицца, моститицца – под мосточек угадал* (Бутк., Катарач). В основе ГМ лежит предметный образ – «мост», моститься – то есть «налаживать мосты», отношения, приспособливаться.

КопотЕть. *экспр.* Хлопотать, жить в заботах. *От мужа осталась з десятими, вот и копочу сама фторой десяток.*

Действие «хлопотать, жить в заботах» уподобляется действию «покрываться копотью». Метафорический перенос осуществляется через предметный образ – «копоть» (словно покрываться копотью).

Отдельную ЛСГ в тематической группе ГМ социального поведения составляют метафоры, относящиеся к *народной духовной культуре*. Она отличается своей немногочисленностью (16 ОЛЕ), образные единицы, входящие в ее состав, в целом повторяют особенности ГМ социального поведения, не выделяясь среди них специфическими чертами.

Наблюдение за материалом обнаруживает, что метафорический потенциал глагольной лексики в русских говорах Среднего Урала достаточно разнообразен, составляет значимую часть диалектной языковой картины мира. Образная глагольная лексика свойственна многим диалектным системам народного говора Среднего Урала, в особенности богаты ГМ такие частные диалектные системы, как: Верхотурская, Туринская, Каменская, Алапаевская. Здесь в большей степени актуализируются метафорические возможности лексической единицы, нежели в других районах распространения говора, что свидетельствует об особом свойстве мышления диалектоносителей этих территорий, которое можно определить как тяготение к наглядной, зрительной образности. В говорах Среднего Урала метафорическому переосмыслению подвергаются действия различных сфер окружающего мира: природа, человек, трудовая деятельность и т.д. Особенно интересна специфика образования ГМ, свя-

занных с человеком. Они представлены различными тематическими и лексико-семантическими группами, среди которых выделяется группа социального поведения человека. Здесь образному переосмыслению поддаются социальные действия и характеристики человека, природа которых является вторичной, поскольку целиком и полностью зависит от человека, его качеств и особенностей, как психологических, так и биологических. В основе переосмысления лежат конкретные образы, связанные с жизнью человека, что свидетельствует о преобладании антропологической модели в процессе метафоризации.

ГМ народного говора характеризуют не только действие как таковое, но в процесс образного осмысления вовлекаются самые разные компоненты ситуации – внешние признаки, аспекты действия, структурные элементы ситуации действия такие, как: субъект, объект, инструмент действия, образное переосмысление которых очень часто является основой метафоризации глагольного значения. Все это свидетельствует о сложной организации самой ГМ, как диалектной, так и общезыковой, которым свойственна семантическая двуплановость, сближение сущностей разных порядков (действие – предмет).

Литература

Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. – М., 1967.

Казарин Ю.В. Семантическое расстояние и семантическое пространство русского глагола // Проблемы варьирования языковых единиц. – Екатеринбург, 1994.

Кузнецова О.Д. Слово в говорах русского языка. – М., 1994.

Кузнецова Э.В. Глагол и имя // Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987.

Мельникова А.А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности. – М., 2003.

Радченко О.А., Закуткина Н.А. Диалектная картина мира как идиоэтнический феномен // Вопросы языкознания. – 2004. – № 6.

Резанова З.И., Мишанкина Н.А., Катунин Д.А. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: ключевые аспекты. – Воронеж, 2003. – Ч. 1.

Русская глагольная лексика. – Екатеринбург, 1999.

Словарь русских говоров Среднего Урала. Вып. 1-6. – Свердловск, 1964-...

Склярская Г.Н. Метафора в системе языка. – СПб., 1993.

Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М., 2002.

© Демидова К.И., 2005

© Овчинникова Л.Н., 2005

**Когнитивные модели осмысления пространства
и их фразеологическая репрезентация**

В рамках когнитивной парадигмы фразеологические единицы (далее – ФЕ) рассматриваются как способ концептуализации и категоризации внеязыковой действительности.

Изучение концептов, отраженных во фразеологической картине мира как частном фрагменте языковой картины мира, представляется нам перспективным, поскольку, являясь знаками вторичной номинации, фразеологизмы в силу образности, диффузности, оценочности их значения избирательно отражают окружающий нас мир.

Одним из таких концептов является концепт *пространство*.

Пространство, как и время – один из ключевых концептов культуры – не случайно представляет собой важнейшую категорию ряда гуманитарных и точных наук: философии, математики, физики, социологии и т.п.

В современной философии пространство определяется как форма бытия материи, наделенная такими свойствами, как протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие [Сpirкин 1988: 120].

В.Н.Топоров выделяет два подхода к пониманию пространства, идущие от Ньютона и Лейбница [см. Яковлева 1994]. Согласно первому, пространство представляет собой нечто первичное, самодостаточное, не зависящее от материальных объектов. Согласно второму, пространство – нечто вторичное, зависящее от находящихся в нем материальных объектов.

Для фразеологической картины мира характерно второе представление о пространстве. В ней пространство определяется относительно человека, его представлений об окружающем мире: *рукой подать* ‘совсем близко, неподалеку’, *перед глазами* ‘в непосредственной близости, рядом’, *на каждом шагу* ‘повсюду, везде’, *под носом* ‘рядом, близко’.

Во фразеологической картине мира отражается мифологическое представление о пространстве как многослойном сакрально неоднородном образовании. Согласно этому представлению, границы вселенной расходятся концентрическими кругами все дальше от человека. Структура концепта *пространство* во фразеологической

картине мира образуется тремя ядерными фреймами: ближнее, промежуточное и дальнее пространство.

Фрейм «ближнее пространство» отражает первоначальное представление человека о пространстве, которое мифологически осмысливается как ближний по отношению к человеку круг, как «свое» пространство. Его образует сам человек, его дом: *за плечами* 'в непосредственной близости, рядом', *под боком* 'очень близко', *стенка в стенку* 'в непосредственной близости, рядом', *в двух шагах* 'близко'.

Важную роль в формировании этого фрейма играет соматическая лексика и лексика, называющая элементы дома: *плечо*, *бок*, *стенка* и т.п.

Выбор этой лексики в качестве пространственных координат закономерен: с ее помощью образно вербализуется представление о обжитом, замкнутом, освоенном пространстве, внутри которого человек чувствует себя независимым и защищенным. Вместе с тем границы этого обжитого, «своего», пространства четко очерчены в рамках данного фрейма: *на пороге* 'совсем близко', *с порога* 'сразу после прихода', *дверь в дверь* 'в непосредственной близости', *у дверей* 'близко, рядом'.

В русских фразеологизмах слова *порог*, *дверь* имеют символическое значение. Они олицетворяют границу между двумя мирами: «своим» и «чужим». Не случайно с ними связаны различные суеверия: через порог нельзя здороваться, на него нельзя садиться, нечистая сила не может переступить порог без разрешения хозяина дома.

Фрейм «промежуточное пространство» представлен немногочисленной по составу группой фразеологизмов. В нем пределы «своего» пространства расширяются от границ своего двора до границ своей земли, своей родины: *на дворе* 'на открытом воздухе, вне дома', *двор о двор* 'совсем рядом, по соседству', *на свежем воздухе* 'вне помещения, на улице', *на лоне природы* 'вне города, в поле, в лесу', *на отшибе* 'в стороне, в некотором отдалении'.

Поскольку человек начинает выходить за пределы ограниченного домом пространства, расширяется сфера его познания, меняется и система координат: вместо частей тела человека для пространственной характеристики активно используется зрительный канал: *насколько хватает глаз* 'в какой степени доступно зрению, как далеко можно увидеть', *в поле зрения* 'пространство, обозреваемое

глазами', куда глаза глядят 'не выбирая пути, без определенного направления'.

Данный фрейм характеризует освоенное человеком пространство, находящееся на некотором отдалении от него, но в поле его зрения, что является первым шагом на пути формирования отвлеченного представления человека о пространстве.

Концепт *пространство* в этих двух фреймах, как показывает языковой материал, осознается применительно к человеку – строению его тела, способности перемещаться в пространстве. Части тела человека по отношению к другим материальным объектам выступают в качестве своеобразной эмпирически выверенной оси координат, квалифицирующей пространство по горизонтали: *под рукой* 'довольно близко, рядом', *нос к носу* 'близко, рядом', *куда ноги несут* 'в неопределенном направлении двигаться', *на расстоянии вытянутой руки* 'рядом, близко' – и вертикали: *в головах* 'в том месте или около того места, куда ложась кладут голову', *в ногах* 'в том месте или около того места, куда ложась кладут ноги', *с головы до ног* 'целиком, полностью', *вверх ногами* 'в перевернутом положении'.

Фрейм «дальнее пространство» в русской ментальности связан либо с неосвоенным: *куда Макар телят не гонял* 'очень далеко, в самые отдаленные места', *куда ворон костей не заносил* 'очень далеко', *за тридевять земель* 'очень далеко', либо с «чужим», часто враждебным для человека пространством, в котором обитает нечистая сила: *у черта на рогах*, *к черту на кулички* 'в отдаленные глухие места'.

В данном фрейме пространство находится за пределами досягаемости человека, оно не имеет четких границ, что способствует во многом дальнейшему формированию абстрактного, обобщенного понятия о концепте *пространство*.

Концепт «пространство» во фразеологической картине мира получает свою вербальную реализацию в различных когнитивно-ономасиологических моделях. Существование подобных моделей создает благоприятную почву для появления новых наименований данного концепта. В основу выделения когнитивно-ономасиологических моделей нами положен характер когниции, т.е. тип знания, лежащий в основе той или иной модели [Кубрякова 2004].

Как показывает анализ языкового материала, наиболее продуктивными ономастическими моделями, по которым образуются ФЕ с пространственным значением, являются модели, обобщающие эмпирический опыт народа.

К таким моделям относятся:

1. Измерение пространства с помощью частей тела человека: *из-под носа; лицо в лицо; лоб в лоб; за спиной; под боком; рукой подать*.

Данная модель продуктивна для обозначения ближнего пространства, соматически измеряемого, образно репрезентированного с помощью соматической лексики и лексики, обозначающей части дома: *лицо, лоб, дверь, окно*. В ней отражается архаическое конкретное представление о пространстве, описываемом с позиции наблюдающего за миром вещей человека.

2. Определение пространства в опоре на место, пейзажную атрибутику и ее обитателей: *на свежем воздухе; с высоты птичьего полета; медвежий угол; на лоне природы; не за горами; за морями, за долами; на пороге; у дверей*.

Эта модель специализируется на характеристике пространства, находящегося за пределами дома, в некотором отдалении от него. Своеобразие данной модели проявляется в том, что она имеет четкие лексические маркеры: *море, горы, угол, природа*.

3. Зрительное измерение пространства: *насколько хватает глаз, конца-краю не видно*.

Третья модель чаще используется для наименования удаленного от человека пространства. Когниции этой модели структурируются с помощью ассоциативного ряда: *глаз – видеть – находиться в пределах видимости – в поле зрения*. Ср.: *поле зрения* 'пространство, охватываемое глазом'; 'восприятие видимого посредством глаз' [РСС Т.3: 112].

Таким образом, фразеологические единицы с пространственным значением представляют собой один из важнейших фрагментов языковой картины мира. Их своеобразие обусловлено антропоцентричностью отражения пространства во фразеологической картине мира. Анализ концепта *пространство* во фразеологической картине мира позволяет проследить этапы его формирования от конкретного, «своего», обжитого пространства до абстрактного, обобщенного представления о пространстве в целом.

Литература

Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М., 2004.

- Русский семантический словарь* / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – М., 2003. Т.3.
Спиркин А.Г. Основы философии. – М., 1988.
Яковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия). – М., 1994.

© Зуева Т.А., 2005

Н.И.Коновалова
Екатеринбург

**Ономасиологическое моделирование как инструмент
лингвокультурологической интерпретации знака**

«Язык и этнос», «язык и культура», «язык и национальная ментальность» – вот далеко не полный перечень аспектов исследования проблемы, в обобщенном виде сформулированной еще В. фон Гумбольдтом, который выдвинул идею внутренней формы языка, превращающей язык в «зеркало мира». Народное мировидение, отраженное в языке, ярко проявляется в номинациях объектов конкретных денотативных сфер, описание которых должно дать комплексное представление о внутренней форме языка в гумбольдтовском понимании, т.е. представление о том, как внешняя действительность преломляется в языке народа, в его картине мира. В лингвистике последних лет особо подчеркивается многомерность параметров языковой картины мира: антропоцентричность (В.И.Карасик, Ю.Н.Караулов, Г.В.Колшанский, Е.С.Кубрякова, М.М.Маковский); отраженный характер вербального означивания, позволяющий говорить о языке как о «смысловом двойнике мира» (А.Я.Гуревич, С.Е.Никитина, Е.В.Урысон); константность и динамичность (О.А.Корнилов, Ю.Е.Прохоров, А.А.Мельникова); способность отображать реальное и ирреальное ментальные пространства (В.Г.Гак, В.В.Красных, А.Р.Лурия, В.Ф.Петренко); национальная специфичность (Н.Н.Кириллова, М.М.Копыленко, В.Н.Телия, С.Г.Тер-Минасова, А.Д.Шмелев); символичность и культурная обусловленность (А.Вежбица, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, А.Ф.Лосев, Ю.С.Степанов, С.М.Толстая, Н.И.Толстой); универсальность и специфичность ономасиологических ориентиров в языковой картине мира в целом и в частных ее фрагментах (Е.Л.Березович, Т.И.Вендина, Т.А.Гридина, М.Э.Рут, Е.С.Яковлева) и т.д. Отмеченные параметры языковой картины мира предполагают возможность обращения к разным характеристикам этого феномена, существенным для выявления интерпретационной вариативности языка в членении внеязыковой действительности. Учитыва-

вая сказанное, можно отметить следующие методологически значимые для описания языковой картины мира и отдельных ее фрагментов подходы:

1. Прагматико-функциональное исследование смыслового наполнения номинативных единиц, описывающих определенное денотативное пространство: достоверность языковой картины мира обусловлена ориентацией ее создателя на отражение объективных характеристик окружающей внеязыковой действительности и прагматически значимой для индивидуума и социума оценкой означиваемого (рациональной и / или эмоциональной).

2. Системно-структурное описание единиц, составляющих определенные семантические общности: целостность языковой картины мира в совокупности всех фрагментов достигается ее системностью (иерархичностью, наличием разного рода смысловых и формальных оппозиций, ядерно-периферийной организацией номинативного континуума; взаимообусловленностью всех элементов номинируемого денотативного пространства в сознании носителей языка).

3. Когнитивно-ономасиологический подход к описанию языковой картины мира в ее фрагментах ориентирован на мотивационные и номинативные модели, воплощающие во внутренней форме названий определенного класса информацию об обозначаемых объектах. Особым аспектом при таком подходе к описанию языковой картины мира должно стать выявление причин вариативности номинации и особенностей восприятия ("считывания") информации через внутреннюю форму слова. Вопреки мнению о том, что мотивация не значима для функционирования слова, что в процессе употребления стирается «образ», положенный в основу наименования, исследования синхронного восприятия внутренней формы показывают, что мотивированность небезразлична для носителей языка. По сути дела именно осознание внутренней формы слова, мотивационная рефлексия есть одно из генетически заданных направлений актуализации представлений об обозначаемом.

4. Динамический подход к описанию языковой картины мира: диалектическое единство статики и динамики языковой картины мира заключается в наличии константных, ядерных компонентов создаваемой модели и интерпретационного, вариативного компонента, связанного с изменчивостью ментальных стереотипов и языковых форм их выражения в пространстве и времени.

5. Лингвокультурологический подход к анализу содержательной структуры единиц семантических общностей, организующих фрагменты языковой картины мира: базовым при таком подходе является понятие культурной коннотации – «интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры» [Телия 1996: 214]. В этнокультурную коннотацию включается широкая информация, связанная с мифологическими и религиозными воззрениями народа, с традиционными обрядами и ритуалами, народным календарем природы. Такая информация может фиксироваться не только народной идиоматикой, этикетными ритуальными формулами, фольклорными текстами, но и внутренней формой наименований определенной семантической общности.

Для интерпретации «культурноносного» языкового знака особое значение имеют контексты, выявляющие «показания языкового сознания говорящих» [Блинова 1989] и позволяющие сделать выводы о динамике информативной функции внутренней формы слова. При этом следует иметь в виду избирательность отражаемой контекстом информации: особо значимыми для говорящего являются лишь те объекты внеязыковой действительности, которые вписаны в этнокультурный «сюжет».

В современных работах по лингвокультурологии используются разные способы представления культурной информации в единицах языка: «через культурные семы; через культурный фон; через культурные концепты; через культурные коннотации» [Опарина 1999: 34-35]. Представляется необходимым добавить к отмеченным способам ономаσιологическую интерпретацию внутренней формы, поскольку исследование типов ономаσιологических структур в аспекте их когнитивной ориентации дает возможность выявления специфики традиционного народного мировидения.

Под ономаσιологической структурой мы, вслед за Т.А.Гридиной, понимаем совокупность существующих в системе языка моделей номинации, с разной степенью абстракции воплощающих представления говорящих о возможностях обозначения объектов определенного класса. Ономаσιологическая структура включает в себя представления о возможных принципах номинации, средствах номинации и способах номинации.

Так, принцип номинации отражает типовые основания для обозначения объектов определенного класса (см., например,

типовые для класса растений принципы номинации по запаху, цвету, вкусу, целебным свойствам; типовые для обозначения демонологических персонажей принципы номинации по месту обитания, специфическим действиям, времени появления и т.п.); типовые средства номинации «показывают, с помощью каких конкретных языковых средств наиболее регулярно обозначаются объекты разных классов при установке называющего на определенные принципы номинации» [Гридина 1982: 32]; способ номинации представляет собой механизм воплощения мотивировочного признака прямым или опосредованным (метафорическим или метонимическим) способами. Эти механизмы также в известной степени основываются на существующих в сознании номинатора «стереотипах ... ассоциативного соотнесения какого-либо признака называемого типа объектов с конкретным названием» [Гридина 1982: 32].

Ономасиологическая структура, таким образом, представляет собой многокомпонентное образование, содержащее как константные, так и вариативные параметры потенциального означивания объектов определенного денотативного класса. Ономасиологическая структура включает в себе знание о свойствах объекта, что определяет выбор мотивировочного признака и принципа номинации, знание о принятых в данной номинативной системе средствах и способах воплощения мотивировочного признака.

Ономасиологические структуры, выступая своего рода модели-ми-стереотипами «обеспечивают известный автоматизм процесса номинации, выступая в качестве его ориентирующих статических компонентов. Наличие таких моделей позволяет во многих случаях предсказать возможность выбора наименования того или иного типа. Однако, если мы хотим постичь функционирование моделей в живом языковом общении, иначе их реализации, если мы хотим объяснить появление конкретного наименования, необходимо в каждом отдельном случае опираться на специальный ономасиологический контекст, который предшествует возникновению данной номинативной единицы, является ее смысловой и материальной базой» [Гридина 1982: 32-33]. Базовым компонентом воплощенной (реализованной) ономасиологической структуры конкретного наименования, безусловно, является внутренняя форма слова, которая может быть рассмотрена как когнитивная составляющая восприятия информации об обозначаемом. Отражая специфику воплоще-

ния мотивировочных признаков определенного класса объектов в языковой картине мира, внутренняя форма одновременно выступает и как источник возможных вариативных интерпретаций связи между признаком, положенным в основу наименования, и свойствами обозначаемого объекта, возникающих в процессе функционирования мотивированного слова, его синхронном осмыслении носителями языка (диалекта). В этом плане интересны мотивационные контексты, «объясняющие» происхождение названия, отражающие динамику языкового сознания и позволяющие выявить причины интерпретационной вариативности восприятия внутренней формы слова [см. об этом: Гридина, Коновалова 2001]. Мотивационные контексты, порождаемые спонтанно или спровоцированные информатором в ситуации объяснения (толкования) фитонима диалектоносителями, есть свидетельство того, что толкование названия через его внутреннюю форму можно считать когнитивной процедурой, так как через «прочтение» внутренней формы говорящий обнаруживает собственное понимание мотива номинации. При этом интерпретатор опирается, во-первых, на знания о свойствах обозначаемого; во-вторых, на знания о функционировании слова в соответствующей системе номинаций, например, знание о наличии синонимов, номинативных вариантов, дублетов, гиперонимов и гипонимов в конкретной лексико-семантической системе (микро-системе); в-третьих, на знания о принципах номинации определенного рода реалий, принятых в соответствующей этнокультурной среде.

Проанализированные нами мотивационные контексты позволяют выделить несколько типов ономаσιологических структур в аспекте их когнитивной ориентации:

1. Ономаσιологические структуры, представляющие знания об объекте номинации в метафорическом «образе» (через метафорический мотиватор). Ярким примером подобных ономаσιологических структур является модель представления болезней в традиционной народной культуре преимущественно в антропоморфном (чаще всего в виде женщины) или зооморфном облике (в виде собаки, кошки, свиньи, птицы, гадов и т.п.). Например, такие демонологические персонажи могут получать имена собственные по источнику или симптому болезни: *грудная жаба* 'болезнь, причиной которой является проникновение жабы в тело человека во время питья из открытого водоема', Глу-

хей, Огня, Ломя, Тряся и др. ‘названия сестер-лихорадок, насылающих на человека болезнь, симптом которой обозначен внутренней формой имени’. Такие номинации могут актуализировать при восприятии названия представление о разных признаках обозначаемого, соотносительных с одним и тем же образом, отраженным внутренней формой слова. Так, название растения *щучка* интерпретируется на основе двух разных мотивационных контекстов в соответствии с принципом номинации по цвету (*щучка рябенька травка*) и по месту произрастания (*где волгло любит*). Оба мотивационных признака соответствуют метафорическому образу, заключенному во внутренней форме слова, «покрываются» им (ср. ‘растение, похожее по цвету листьев на цвет чешуи щуки’ и ‘растение, которое, подобно рыбе = щуке, любит воду’).

2. Ономасиологические структуры, допускающие двоякое – метафорическое и метонимическое – осмысление мотива номинации. Например, внутренняя форма фитонима *ястребинка* интерпретируется носителями диалекта на основе принципа номинации растений по их целебным свойствам: *Этой естребинкой скотине глаза ладят* (‘растение используется для лечения глазных болезней’). Ономасиологическая структура наименования фиксирует знание о лечебном эффекте использования растения через образное представление признака ‘улучшать зрение, делать зрение таким же хорошим, как у ястреба’. Другая интерпретация внутренней формы фитонима *ястребинка* основана на метонимической связи: растение это якобы ‘занесено на луга ястребами, которые им питаются и от этого имеют отличное зрение’. Отсюда выводится представление о полезном воздействии растения на зрение. Отношения между признаками ‘корм для ястребов’ – ‘ястребиная зоркость’ осмысляются как причинно-следственные. Вопрос о том, какая мотивационная версия соответствует исходной, однозначно решить трудно, ибо оба направления интерпретации внутренней формы соотносительны с существующими в русском языке принципами номинации растений.

3. Ономасиологические структуры, допускающие равновероятностное осмысление связи названия со свойствами обозначаемого ввиду многозначности использованного при номинации лексического мотиватора. В качестве примера приведем контексты, объясняющие моти-

вационный признак, положенный в основу фитонима *яснотка*: *Глаза есноткой промывают от зною* (Ивдельск.) // *Яснотка, потому что в ясных местах любит расти* (Ревд.). В первом случае мотиватор ‘ясный’ воспринимается в значении ‘здоровый, чистый’ (применительно к глазам, зрению) и соответственно соотносится при осмыслении внутренней формы фитонима с принципом номинации растений по их использованию в лечебных целях; во втором случае мотиватор ‘ясный’ воспринимается в значении ‘чистое, открытое пространство’, что позволяет носителю языка (диалекта) актуализировать свои знания (представления) об объекте на основе принципа номинации травы по месту ее произрастания. Ср. также функциональную множественность использования в народной медицине, в магии, в бытовых ритуалах *выворотня* ‘дерева, вырванного с корнями бурей’. Считалось, что выворотень – знак действия нечистой силы, поэтому использование такого дерева в домашнем хозяйстве может привести к разным несчастьям, поскольку нечисть так же перевернет все в доме и в судьбе. С другой стороны, с помощью выворотня можно было избавиться от болезней, порчи, сглаза ‘вывернуть боль’, ‘вернуть мужа, если его кто своротил’ и т.п. Такие разные действия осмысляются по связи с разными значениями лексического мотиватора названия ритуального дерева *вывернуть(ся)*: ‘вынуть, крутя’, ‘перевернуть внутренней стороной наружу’, ‘ловко повернувшись, выскользнуть, освободиться’.

4. Ономасиологические структуры, заключающие в себе информацию о сакральных мотивах номинации, забвение которых приводит к реинтерпретации внутренней формы названия носителями языка (диалекта): сакральная оценка предмета, явления, действия, заключенная во внутренней форме слова, обобщается и, как правило, сводится к профанному (утилитарному) восприятию свойств обозначаемого объекта. Так, ономасиологическая структура фитонима *юрьева роса* изначально фиксирует сакральный мотив номинации растений, с которых собирали росу в день святого Георгия (Юрия), вследствие чего эта роса считалась целебной; по метонимическому принципу целебные свойства *юревой* росы переносятся на растения, получающие соответствующую номинацию. В сознании современных диалектоносителей фитоним *юрьева роса* соотносится с положительной утилитарной оценкой свойств весенней травы, идущей на корм скоту. Когнитивный про-

цесс осмысления мотивации названия можно представить в виде связи признаков 'трава, собираемая весной (в Юрьев день), – молодая, сочная, полезная для скота'. Актуализация связи названия с лексическим мотиватором *Юрьев день* по причине забвения обряда сбора росы получает уже не сакральную, а хронологическую привязку, указывая на время появления первой весенней травы. О десакрализации названия свидетельствуют многочисленные контексты, в которых оно употребляется в утилитарно-прагматическом смысле: *Первый раз на поскотину выгоняю, когда юрьева роса с-под снега вылазит* (Камышл.) // *Юрьева роса на Юрьев день поев-лется* (В.Пышм.). Другим примером такого рода ономасиологических структур может быть название обряда *ряжения*, первоначально означавшего 'установление другого порядка путем перехода действующего лица из одного ряда (статуса) в другой с использованием приемов изменения внешнего вида, в частности, переодевания'. Обряд считался греховным, после его окончания исполнители должны были пройти обряд очищения. Замена изначальной связи *ряжение – ряд* 'порядок' более актуальной для современного языкового сознания ассоциативной связкой *ряжение – наряжаться* демонстрирует реинтерпретацию сакрального мотива номинации, закрепленного во внутренней форме названия обряда.

5. Потенциально вариативные ономасиологические структуры, фиксирующие свойства обозначаемого посредством лексического мотиватора, допускающего равновероятную замену синонимичным эквивалентом. Контексты, отражающие мотивационную рефлексию говорящих над внутренней формой таких наименований, нередко содержат этот потенциальный «эквивалент» или номинативный вариант, представленный в системе названий соответствующей лексико-семантической системы. Например, *юбочка – 'колокольчик'*: *Юбочкой называют, он дудочкой висит* (Туринск.). Внутренняя форма фитонима *юбочка* осмыслена через потенциальный номинативный эквивалент (*дудочка*), отражающий признак обозначаемого через ассоциативно соотносительный образ (ср. мотивационные значения 'цветок, похожий по форме на юбочку' – 'цветок, похожий на дудочку'). Актуализация «смежного» образа при восприятии внутренней формы названий растений отражается мотивационными контекстами, в которых представлены синонимичные фитонимические номинации (наряду

с актуализацией использованных при обозначении растений мотиваторов). Например: *Щелкуха*. См. *Хлопчики*. *Щелкухой ребята все забавляются, она так сильно щелкат, как словно бы хлопнушки* (Артем.) // *Шшэлкуху еишо хлопчиком зовут: когда цветок срывааш, он шшолкат* (Новолял.). Актуализация подобных синонимических отношений при интерпретации мотивированности наименования есть отражение когнитивного опыта говорящих, основанного на способности представлять и опознавать один и тот же признак обозначаемого через разные «образы», ощущения, эмоции. Так, в данном случае наличие в уральских говорах фитонимов *щелкуха* и *хлопчики* для обозначения одного и того же растения и одновременная актуализация их внутренней формы в приведенных мотивационных контекстах свидетельствует о закреплённости в языковом сознании диалектоносителя разных «звукообразов», соотносительных с одним и тем же мотивировочным признаком ('характерная реакция растения на внешние раздражители'). Ср. также широкие вариативные ряды для обозначения демонологического персонажа, живущего в доме. Принцип номинации по месту обитания представлен несколькими конкретизирующими моделями: *домовой, подпечник, запечник, голбешник, подполяник, подишесток* и др.

Перечисленные типы ономаσιологических структур, безусловно, не исчерпывают всех аспектов возможной интерпретации и вариативности восприятия мотивированного наименования. Однако, как нам представляется, анализ предложенных типов подтверждает мысль о познавательной направленности номинативного акта. Определение ономаσιологической структуры, таким образом, закономерно включает в себя понятие когнитивного базиса – типа знания об объекте номинации, которое именно в рамках определённой номинативной техники получает свое воплощение. По сути, восприятие внутренней формы есть именно осознание мотива, несущего в себе актуальную для говорящих информацию об обозначаемом. Корреляция этих знаний со способами их представления в номинативной системе конкретного языка носит вариативный характер, что уже изначально задаёт интерпретационную многомерность внутренней формы слова в аспекте ее восприятия.

Литература

Блинова О.И. Языковое сознание и вопросы теории мотивации // *Язык и личность*. – Томск, 1989.

Гридина Т.А. О моделировании ономастической лексики // *Слово в системных отношениях*. – Свердловск, 1982.

Гридина Т.А., Коновалова Н.И. Внутренняя форма слова как отражение языкового сознания интерпретатора: мотивационная вариативность ономастических структур // Говорящий и слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения. – СПб., 2001.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1972.

Опарина Е.О. Лингвокультурология: методологические основания и базовые понятия // Язык и культура. – М., 1999.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996.

© Коновалова Н.И., 2005

Ю.Н.Михайлова
Екатеринбург

Семантическая сфера *религия* и типы словарей

Системный характер языка, в частности, его словарного состава, уже со времен античности так или иначе отражался в описательных нормативных грамматиках и в различных словарях – синонимических, антонимических, словообразовательных, идеографических, толковых и др. Толковый словарь фиксирует опыт определенного языкового коллектива на определенном этапе его развития, дает нам не только информацию о языке – он может стать источником несобственно лингвистической информации: культурологической, в том числе идеологической. Являясь общими словарями литературного языка, толковые словари включают в себя различные семантические сферы, которые отражают наивную картину мира.

Религия вычленяется исследователями как семантическая сфера, т.е. понятийная область, связанная с соответствующей сферой жизни, деятельности людей [Скляревская 1996], или как один из «социальных институтов», наряду с правом, образованием, литературой, искусством (Р.Халлиг и В. фон Вартбург) [см.: Караулов 1976: 256-257]. Семантические сферы вычленяются на основе социально-коммуникативного признака, т.е. соотносятся с определенной областью коммуникации. При таком понимании семантическая сфера сближается с понятием «дискурс»: она находит отражение в том или другом участке лексической системы, обслуживающем специфическую сферу коммуникации. Для нас важным оказывается то, что дискурс создает особый «ментальный мир», он соотносен со специфическими сферами общественной деятельности.

В настоящее время типология дискурса в лингвистике базируется на двух основных критериях. Первый критерий основан на понимании дискурса как способа использования языка для выражения

особой ментальности [Степанов 1995: 38]. В рамках этого подхода исследователь пытается определить единый концепт, вокруг которого продуцируется дискурс. Вторым критерий восходит к идее Ч.Морриса о том, что специализация языка зависит от сферы его использования и употребляемых в этой сфере языковых знаков [см.: Карасик 2002]. С учетом указанных факторов выделяются разные типы дискурса: деловой, научный, политический, поэтический, педагогический, медицинский, религиозный, риторический, мифический и др. Идея о разграничении видов дискурса на основе их различных функционально-прагматических характеристик была удачно дополнена предложенным М.Фуко понятием институционализации, то есть некой направляющей дискурс регулярности, фиксированности и нормативности, проистекающей из связи данного дискурса с каким-либо социальным институтом [Фуко 1996]. Особое место в этой типологии занимает дискурс религиозный.

Сфера религии в нашем обществе – это сфера деятельности Русской Православной Церкви; «это определенная совокупность тем, отражающих смысл и содержание коммуникации в данной области социального взаимодействия» [Гольберг 2002: 5]. В последнее время сфера религиозной коммуникации заметно расширила свои границы, она активно проникает в современную жизнь, становясь частью повседневного общения. И можно, вероятно, говорить о двояком представлении сферы религии: условно говоря, «изнутри», т.е. с позиций религиозного дискурса, и «извне», т.е. с позиций светского дискурса.

Активизируется понятийная сфера «религии», но при этом названная семантическая сфера получает разное преломление: в рамках религиозной картины мира и в рамках светской картины мира. Как отмечает И.М.Гольберг, для дискурса религиозного характерна особая наивно-языковая этическая картина мира, отличная от соответствующей картины мира светского дискурса [Гольберг 2002]. Это проявляется в особом наборе и специфике функционирования лексических единиц, соотносимых с моральными концептами. В рамках церковно-религиозного стиля можно найти лексемы, соотносимые с этическими понятиями, существующими только в религиозном дискурсе и не характерными для картины мира бытового языка (например, *трезвение*, *немолитвенность*, *нецерковность*). В границах данного стиля существует также большое количество лексем, которые могут функционировать и в религиозном, и в свет-

ском дискурсах. При этом одно и то же слово, как правило, соотносится с разными концептами и, следовательно, имеет два значения – религиозное и светское. По характеру соотношения светского и религиозного значений все лексические единицы могут быть разделены на две группы. К первой группе относятся слова, светское и религиозное значения которых различаются по ряду признаков (например, *терпение, осуждение, упорство, скука*). Ко второй группе относятся функционирующие в светском и религиозном дискурсах лексемы, значения которых не только различаются по ряду признаков, но и содержат противоположную оценку называемого понятия (например, *гордость, самолюбие, мечтательность, смех, спор*). Как отмечает И.М.Гольберг, сама структура религиозной и светской этических картин мира принципиально различна. Так, этическая система религиозного дискурса выстроена достаточно четко. Большинство понятий имеют здесь однозначную оценку и на основании этого примыкают либо к грехам, либо к добродетелям. В светском дискурсе нельзя найти практически ни одного понятия, имеющего однозначную оценку [Гольберг 2002]. С учетом такого противопоставления можно сделать вывод о том, что один и тот же религиозный концепт будет иметь разное истолкование в словарях, обслуживающих светский дискурс, и словарях, обслуживающих религиозную сферу.

Различия между религиозной и светской картинами мира проявляются не только в восприятии моральных концептов, но и в лексических единицах с другой семантикой. Так, например, ключевое слово *небо* в религиозном дискурсе осмысливается, в первую очередь, как «преимущественное место обитания Бога и ангелов» [Полный церковно-славянский словарь (далее – ПЦСС): 339] и только потом в физическом смысле – как пространство, окружающее нашу землю. В светском дискурсе, напротив, материалистическое понимание «видимое над Землей воздушное пространство в форме свода, купола» [МАС Т.2: 422] является единственным.

Сопоставление единиц, имеющих специфическое значение в разных дискурсах, приводит к выводу о существовании дискурсивно-семантических вариантов, т.е. формально тождественных номинативных единиц, различающихся своим содержанием в зависимости от сферы употребления. Таким образом, семантическая сфера *религия* наполняет как религиозный, так и светский дискурсы.

Вследствие этого данная семантическая сфера оказывается по-разному представленной в лексикографических источниках.

В нашем исследовании предпринята попытка систематизировать толковые словари, отражающие семантическую сферу *религия*, по типу дискурса и по типу адресата.

Адресат словаря условно понимается как «сознание, с которым автор вступает в диалог», сознание, включающее в себя «бытовое, философско-религиозное и художественное мышление» [Рымарь 1991: 65]. Исследователями выделяются следующие типы адресата: конкретный характеризованный; максимально-обобщенный, нехарактеризованный и размытый [Купина, Битенская 1994: 218-219].

Соотнеся тип адресата и тип дискурса, мы выделили 4 группы толковых словарей:

	I	II	III	IV
Дискурс	Религиозный	Светский	Светский	Светский
Адресат	Конкретный, характеризованный (православное сознание)	Конкретный, характеризованный (сформированное атеистическое сознание)	Массовый, с формирующимся атеистическим сознанием	Массовый, с формирующимся свободным отношением к религии

I. Словари, обслуживающие религиозный дискурс, ориентированные на конкретный характеризованный тип адресата – людей с православным мировоззрением. В современной лексикографии таких словарей немного: «Полный церковно-славянский словарь», составленный священником Г.Дьяченко (1898, переиздание – 1993); «Словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в молитвослове»; «Библейский словарь школьника» Н.В.Давыдовой (2000); «Библейская энциклопедия» (2002); «Библейско-биографический словарь, или жизнеописание всех лиц, упоминаемых в священных книгах Ветхого и Нового Заветов и других, имевших какое-л. влияние на распространение Церкви Божией на земле» /сост. П.Я.Благовещенский (1999); «Кто есть кто в Ветхом Завете. С апокрифами. Словарь» /сост. Дж.Комэй (1998).

II. Словари, появившиеся в результате политики и идеологии советского государства: «Карманный словарь атеиста» [Новиков 1975], «Настольная книга атеиста» /Под общ. ред. С.Д.Сказкина (1985). Они рассчитаны на конкретного характеризованного адресата с воинствующим атеистическим мировоззрением и обслуживают светский дискурс.

III. Словари, адресованные массовому читателю с формирующимся атеистическим сознанием (обобщенный специализированный тип адресата) и обслуживающие светский дискурс. Основные лексикографические труды в этой группе: «Толковый словарь русского языка» / Под ред. Д.Н.Ушакова (СУ); «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова (СО); два академических словаря – «Словарь русского языка» в 4-х т. (МАС) и «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти т. (БАС).

IV. Словари, обслуживающие светский дискурс и ориентированные на адресата с формирующимся свободным отношением к религии. Основные лексикографические труды в этой группе: «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой (СОШ); «Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения» Г.Н.Скляревской.

Особое место среди лексикографических источников занимает «Словарь православной церковной культуры» Г.Н.Скляревской (2000), отвечающий в равной мере потребностям и светского, и религиозного дискурсов, но ориентированный на адресата с формирующимся свободным отношением к религии.

Охарактеризуем каждую группу словарей в отдельности.

I. Полный церковно-славянский словарь издан Московским патриархатом в 1993 году, однако составлен этот словарь в 1898 году. Составители словаря обосновывают необходимость данного издания следующим образом: во-первых, в настоящее время нет **полного** (выделено автором. – Ю.М.) церковно-славянского словаря. Последнее издание подобного словаря («Церковный словарь» прот. Алексеева) датировано концом позапрошлого столетия (1773-1776); во-вторых, церковь обеспокоена тем обстоятельством, что в последнее время появилось большое число сектантов и раскольников, которые, не понимая языка библейских и церковно-богослужебных книг, извращают их смысл и ложно толкуют в свою пользу известные слова и выражения; в-третьих, замечается подъем интереса к религиозно-нравственной жизни, к православию, к русским древностям и жизни славян, и издание такого лексикографического труда необходимо для всех православных, которые хотят понимать все, что происходит и произносится во время богослужения. Составители преследовали следующие цели: во-первых, объяснить самым подробным образом все малопонятные слова и обороты речи, встречающиеся в церковно-славянской Библии, церков-

но-богослужебных и церковно-назидательных книгах; во-вторых, дать возможность читать и понимать памятники древнерусской письменности как духовной, так и светской, оригинальные и переводные. Однако данный словарь намного шире, чем традиционный толковый. Многие слова объяснены еще и с этимологической, и с исторической точки зрения. Некоторые слова, которые казались авторам особо важными для культурной жизни славяно-русского народа, объяснены с «особенной подробностью и всесторонностью» [ПЦСС: Предисловие, XX]. Словарь содержит около 30 000 слов. В предисловии сказано, что словарь предназначен для «объяснения как всех церковно-славянских слов, древнего и нового периода, встречающихся в библейских и церковно-богослужебных книгах и прочих памятниках духовной и светской письменности, так и всех наиболее важных по значению и затруднительных по пониманию древнерусских слов, относящихся к культурной жизни славяно-русского народа» [Там же], поэтому в словаре встречаются не только библейские или церковно-богослужебные слова и термины, но и историко-археологические, этнографические, географические, относящиеся к славянской мифологии и т.д. Предназначается данный словарь в первую очередь пастырям церкви, всем преподавателям русского и церковно-славянского языка, а также всем читающим русские летописи и древние старопечатные книги и просто интересующимся читателям. Этот словарь можно также отнести к энциклопедическим словарям, так как в нем содержатся наименования географических объектов; собственные имена. «Полный церковно-славянский словарь» – единственное издание в своем роде, которое покрывает **весь** религиозный дискурс.

Несколько слов необходимо сказать и об адресанте словаря. Адресант – это прежде всего носитель ортодоксальной православной культуры, который живет в рамках религиозного дискурса. В 20 веке словарь, подобный этому, не издавался. Все словари, которые были изданы в более позднее время и описывали семантическую сферу религиозного, отражали лишь **фрагменты** религиозного дискурса, в частности, основные библейские события, нравственные категории и понятия [Давыдова 2000]; малопонятные слова, встречающиеся в канонических текстах [Словарь малопонятных слов при Молитвослове]. Данный словарь преследует ту же цель, что и полный церковно-славянский словарь – помочь людям в истолковании и понимании непонятных церковных слов. При молит-

ве человек должен понимать и чувствовать все, что он произносит, однако это невозможно, так как абсолютное большинство людей не знает церковно-славянского языка. Именно поэтому составляются такие краткие словарики. Помимо совершенно незнакомых слов в словарики включены церковные слова, значения которых отличаются от аналогичных светских слов. Например: *весь* = село; *доброта* = красота; *живот* = жизнь; *прелесть* = обольщение; *язык* = народ и др.

II. Атеистический словарь создан в противовес религиозному словарю. М.П.Новиков в предисловии к словарю выделяет четкого адресата: пропагандисты, лекторы, организаторы атеистической работы. Словарь предназначен для «атеистического воспитания», он имеет образовательную цель – просвещение пропагандистов, поэтому в него включены наиболее употребительные понятия, с которыми пропагандистам приходится иметь дело в процессе атеистического воспитания. Словарь охватывает все мировые религии: христианство, буддизм, иудаизм, ислам; язычество. С помощью данного словаря проводится антирелигиозная (атеистическая) языковая политика – формируется отрицательное отношение к религии. Так, в состав словаря включены специальные словарные статьи: *религиозная идеология*, *атеистическое воспитание* и под. В сами толкования включены модальные слова (*якобы*, *будто* – словарные статьи **брак**, **церковный**, **грех**) и оценочные словосочетания: *чувствуя шаткость опоры на «священное писание»* (словарная статья **богопознание**), *реакционная идея о бессмертии оказывает отрицательное влияние на умы людей. Она вселяет иллюзорную веру в потустороннее существование и тем самым парализует творческую и социальную активность личности* (словарная статья **душа**), *таинство елеосвящения служит одним из средств психологического воздействия на верующих, с помощью которых церковники стремятся опутать, пронизать религией всю жизнь человека от рождения до его смерти* (словарная статья **елеосвящение**), *церковь дает верующим извращенное представление о моральной ответственности* (словарная статья **исповедь**, **покаяние**) и под. Особенность словаря заключается в том, что он имеет отсылочный характер к религиозному дискурсу. В частности, каждая статья имеет отсылку, маркирующую «чуждость» религиозных представлений для обыденного сознания: *в христианском вероучении, в современных религиях, в католической церкви*. По своей сущности это

энциклопедический словарь: словарная статья включает много религиозно-философской, культурологической информации; раскрывает историю явления и, главное, приводит положения марксистской теории, разоблачающие «реакционную, социальную роль религии» с позиций науки и идеологии.

III. Третья группа – толковые словари, ориентированные на массового читателя с формирующимся атеистическим сознанием и обслуживающие светский дискурс. В этих словарях отражается сфера религиозного, но достаточно фрагментарно, поскольку в толковых словарях ни одна из семантических сфер не может претендовать на полноту описания, так как бытие любой социально-коммуникативной области не ограничивается наивными представлениями. Все сферы лексики отражены с той или иной степенью полноты в зависимости от объема и задач словаря. Толковые словари, рассчитанные на массового адресата, освещают только участок религиозного дискурса, причем с атеистических позиций.

Это можно объяснить разными причинами: во-первых, лексикографическими (толковые словари литературного языка, в силу экономии места, содержат лишь активную частотную лексику каждой из семантических сфер), и, во-вторых, идеологическими (в советское время религиозная лексика была в значительной степени табуированной).

Словарь, в какое бы время он ни создавался, является проводником языковой политики государства, другими словами, словарь отражает языковую идеологическую ситуацию в определенное время. В советское время, когда господствовал тоталитаризм, возник тоталитарный язык, который зафиксирован в толковых словарях тех лет. Толковый словарь под редакцией Д.Н.Ушакова – это первый советский лексикографический труд, в котором достаточно полно отражен словарный состав русского литературного языка советской эпохи (до 30-х гг. XX в.). В предисловии к словарю находим: «История словарей показывает, что каждый из них является отражением классовых интересов своей эпохи» [СУ 1935-1940 Т.I: 3]. СУ – попытка отразить процесс целенаправленной идеологической переработки словарного материала в эпоху пролетарской революции и указать установившиеся идеологические нормы употребления слов. Составители старались придать словарю характер образцового, чтобы он помог усвоить образцовый, правильный язык. Но в понятие *правильность*, наряду с орфоэпической, орфо-

графической, стилистической нормативностью, включается еще и идеологическая правильность. Фактически можно говорить об особом типе нормы – идеологической норме, кодифицированной толковым словарем. Идеологическая норма – система догм, однолинейное направление мысли, оценки, однонаправленное помещение предмета, понятия в строго определенное культурное (фактически – идеологическое) пространство.

В первых изданиях толкового словаря русского языка С.И.Ожегова (1953) также отражена идеологическая норма, а следовательно, и антирелигиозная политика государства. Об этом можно судить, например, по таким замечаниям, сделанным автором: «Однотомный словарь русского языка является руководством к правильному употреблению слов...» – и далее: «Русский язык... является источником новых понятий и терминов социалистической культуры, политики подлинного демократизма и прогресса» [СО 1953: 3-4].

Академический «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти т. явился наиболее полным толково-историческим и нормативным словарем литературного языка XIX-XX веков. Представляя словарный портрет эпохи, академический словарь не мог не отразить идеологических установок этой эпохи, которые выявились и в толкованиях, и в стилистических пометах, и в иллюстрациях. Составители словаря руководствовались следующим положением: «Словарь должен с необходимой полнотой отражать политическую жизнь страны Советов, представляя лексику и фразеологию, созданную и принятую в письменном и разговорном литературном языке эпохи диктатуры пролетариата, в условиях советского строительства и нового социалистического производства» [Цит. по: Виноградов 1977: 198-199]. Поэтому в системе толкований слов религиозной сферы, в характере ограничительных помет, в подборе цитат (в частности, в насыщении словарных статей цитатами из классиков марксизма), как и в словаре Д.Н.Ушакова, нашли отражение идеологизация словаря, поляризация оценок, воплощающая антагонизм социалистической и капиталистической систем, неприятие любой религии, и православной – в особенности.

IV. Последняя группа словарей также обслуживает светский дискурс, однако отличается от предыдущей группы типом адресата – это массовый читатель с формирующимся свободным отношением к религии. Самые авторитетные труды в этой группе – «Толко-

вый словарь русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой; «Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения» Г.Н.Скляревской. Здесь семантическая сфера *религии* также отражена частично, но толкования лексических единиц религиозной сферы даются с принципиально иных, просветительских позиций.

Так, в Толковом словаре русского языка 1997 г. под редакцией Н.Ю.Шведовой, как показывают наблюдения, тенденциозная советская идеологизированность, зафиксированная в более ранних изданиях словаря, в значительной степени снимается. Атеистическое мировоззрение уже не навязывается адресату, который является свободным гражданином и вправе самостоятельно решить вопрос о свободе совести.

«Словарь православной церковной культуры» Г.Н.Скляревской, как уже было сказано, обслуживает и светский, и религиозный дискурс; предназначен специализированному и массовому адресату с формирующимся православным сознанием. Это единственный светский словарь, который по охвату религиозного дискурса может сравниться с «Полным церковно-славянским словарем» прот. Г.Дьяченко. «Словарь православной церковной культуры» – это толково-энциклопедический словарь, в котором большую часть занимают культурные сведения. В словаре описываются лексические единицы, связанные с православием: основные понятия христианского вероисповедания, элементы и предметы богослужения, таинства, наименования церковной иерархии, облачения, элементы церковного календаря, православные праздники. Как отмечает автор, «цитаты из текстов Нового Завета, из просветительской религиозной, а также светской литературы выполняют разные функции: дополняют и углубляют толкование, представляют разнообразную информацию о церковной культуре, вводят в круг церковного чтения» [Скляревская 2000: 6]. Данный словарь адресован широкому кругу читателей: прежде всего – всем православным, а также людям, желающим ознакомиться с основами православия; специалистам в области культурологии; лингвистам, исследующим лексику духовной сферы, а также государственным и общественным деятелям, обращающимся к темам православия и духовности. Адресант этого словаря не богослов, а лингвист-лексикограф, и это обстоятельство составляет главную отличительную особенность этого труда: «лексика православия впервые представлена и описана не

только как принадлежность замкнутой (церковной) сферы употребления, но главным образом как составная часть *современного* (выделено автором. – Ю.М.) русского языка» [Скляревская 2000: 4].

Таким образом, для словарей разных типов даже при очевидном сходстве целей характерна принципиально различная идеология и принципиально разный подход к отражению семантической сферы *религия*. Сопоставим лексикографическое представление лексемы *Бог* – центрального понятия религиозного дискурса – в словарях всех описанных групп.

Бог – ‘Творец неба и земли. Бог есть существо вечное, независимое, всесовершенное, свободно действующее, самовластно господствующее, всевысочайшее, препростое, духовное, неизменное, единое, всеведущее, всемогущее, премудрое, всеблагое, пресвятое, самодовольное, бесконечное, непостижимое, преблаженное, вина всех вещей’ (ПЦСС).

Бог – ‘Основное религиозное представление. В современных религиях это, как правило, верховная сущность, наделенная высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившая мир и управляющая им. По христианским понятиям Бог — это истина, добро и красота’ (Карманный словарь атеиста).

Бог – ‘По религиозно-мистическим представлениям: мифическое верховное существо, якобы управляющее миром или (при многобожии) одно из таких существ’ (СО).

Бог – ‘1. В религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром или (при многобожии) одно из таких существ.

2. (Б прописное). В христианстве: триединое божество, творец и всеобщее мировое начало — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой’ (СОШ).

Различие обнаруживается уже в выборе идентификатора. Для религиозного сознания *Бог* – это *творец*, создавший видимый и невидимый мир. Именно это слово приводится как идентификатор, обязательно с прописной буквы, иногда с определением *всевышний* в всех словарях первой группы.

В толковых словарях третьей и четвертой групп (для массового адресата с формирующимся сознанием) идентификатором регулярно выступает имя *существо*, достаточно неопределенное по своему значению – ‘живая особь, человек или животное’ [СОШ: 782]. Здесь явно ощущается связь с мифологическим сознанием, «мифическим способом представления, превращающего все существа в

личности, все отношения в действия» [Мюллер 2002: 119]. В светском сознании религиозное и мифическое часто отождествляются, однако для собственно религиозного сознания это разные системы и способы мировосприятия. Бог не соотносится с человеком: он выше человека, он всем управляет и над всем властвует. Поэтому, в частности, «в Библии нет описания Бога, но есть Его слово» [Давыдова 2000: 23].

Словари атеистической направленности были предназначены для пропаганды материалистического мировосприятия, поэтому Бог мог быть осмыслен только как идеальная сущность, присутствующая в сознании в форме наивного *представления*. Именно это слово выбирается как собственно идентификатор. Все другие номинации родового понятия, приводимые в словарной статье (*сущность, истина, добро, красота*), являются отражением “чужого” (нематериалистического) мировоззрения.

Существенные различия в семантизации концепта *Бог* словарями разных групп наблюдаются при выделении дифференциальных признаков понятия. Так, в словарях религиозного дискурса Бог обладает многими уникальными качествами: он *вечен, всемогущ, вездесущ, всеблаготворителю, являющий любовь к людям, милосердие и всепрощение; вседержитель, владыка, независимый, всесовершенный, свободно действующий, самовластно господствующий, всевысочайший, претворитель, неизменный, всеведущий, премудрый, претворитель, самодовольный, бесконечный, непостижимый, претворенный, вина всех вещей*.

Все словарные определения утверждают абсолютное совершенство и абсолютное знание, которым обладает Бог. Не случайно многие из приведенных определений имеют приставку *пре-* со значением «высшая степень качества» или префикс *все-* со значением «исчерпывающей полноты качества или свойства, выраженного второй частью слова». Однако, как указывают авторы церковных словарей, и при таком разностороннем перечне свойств «собственное определение Бога» никогда не бывает полным.

В толковых словарях третьей и четвертой групп фиксируется значительно меньше дифференциальных признаков. Указаны признаки Бога как существа, стоящего над миром и людьми: *верховное, всемогущее*. В «Словаре православной церковной культуры» и в «Толковом словаре современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия» ряд дифференциальных признаков уве-

личивается за счет введения в толкование характеристик из религиозного дискурса, подчеркивающих абсолютность Бога: *обладающий высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, абсолютным знанием, являющий людям любовь, милосердие и всепрощение*.

Для атеистического мировоззрения понятие «Бог» – это абсолютная абстракция, поэтому в нем невозможно выделить дифференциальные признаки, что и находит отражение в словарях второй группы. Все включенные в словарную статью признаки Бога отмечены как принадлежащие иному, религиозному дискурсу.

В последнее время в лексикографии намечаются новые подходы, связанные с общими тенденциями в лингвистике. Ученые говорят о несовершенстве имеющихся словарей и предлагают варианты реконструкции толковых словарей старого образца. В основном критикуется отсутствие унификации при описании сходных объектов, фрагментарный, дискретный показ дифференциальных признаков, наличие семантических «кругов» и «цепочек» в толкованиях, тавтологические определения и т.п. Главный вопрос, который, по мнению лексикографов, необходимо решить, – это вопрос об информативной недостаточности толковых словарей. Однако описание такой специфической сферы, как семантическая сфера *религиозное*, требует большой осторожности и выверенности не только с лексикографической, но и с идеологической точки зрения.

Литература

Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М., 1977.

Гольберг И.М. Религиозно-проповеднический стиль современного русского литературного языка: моральные концепты. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2002.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002.

Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М., 1976.

Купина Н.А., Битенская Г.В. Сверхтекст и его разновидности // Человек – текст – культура. – Екатеринбург, 1994

Мюллер М. От слова к вере. Миф и религия. – М., 2002.

Рымарь Н.Т. Поэтика: Художественная деятельность – структура произведения // Проблемы деривации: Семантика. Поэтика. – Пермь, 1991.

Склярёвская Г.Н. Русский язык конца 20 века: версия лексикографического описания // Словарь. Грамматика. Текст. – М., 1996. С. 463–473.

Степанов Ю.С. Альтернативный мир. Дискурс, факт и принцип причинности // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995.

Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996.

Словари

- Давыдова Н.В. Библийский словарь школьника. – М., 2000.
Карманный словарь атеиста / Под ред. М.П.Новикова. – М., 1975.
МАС – Словарь русского языка: в 4-х томах. М., 1981–1984.
ПЦСС – Полный церковно-славянский словарь / Сост. прот. Г.Дьяченко. – М., 1993.
Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. – СПб, 2000.
СО – Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1953.
СОШ – Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1997.
СУ – Толковый словарь русского языка: в 4 т. под ред. проф. Д.И.Ушакова. – М., 1935–1940.

© Михайлова Ю.Н., 2005

Е.К.Саматова
Екатеринбург

Специальные наименования как носители и хранители этнокультурной информации (на материале лексики русской псовой охоты)

Возникновение той или иной профессиональной области определяется прежде всего экстралингвистическими факторами, необходимостью означить новое знание соответствующими языковыми единицами. В специальной лексике своеобразно сочетаются два вида связей: понятийные и языковые. Но именно понятийные связи являются организующими, именно они определяют развитие и эволюцию языковых форм. Поскольку терминосфера контролируется понятием, то внутренние импульсы при формировании систем специальной лексики малодейственны. Большее влияние на состав терминологии, ее динамику оказывают импульсы внешние.

Профессиональная лексика кинологической сферы своим «рождением» обязана древнейшему человеческому ремеслу – охоте. Именно этот вид профессиональной деятельности стал тем «внешним импульсом», который определил ее характер и специфику. Являясь фрагментом общезыковой картины мира, специальная лексика формирует специфическую языковую сферу, свою «профессиональную картину мира», отражающую культурно-исторический опыт народа.

Специальные наименования (далее – СН) профессиональной сферы человеческой деятельности аккумулируют в себе национальную и культурную специфику, которая выражается в этнокультурной маркированности терминологических единиц. Эта культур-

ная маркированность обусловлена узуальностью СН, соотносённостью с культурно маркированными стереотипами, фоновыми знаниями, культурной спецификой прототипических структур базового уровня, которые являются ориентирами и конкретизаторами будущих понятий.

В функции опорного слова для специальной номинации в исследуемой группе терминологических единиц могут выступать различные по своей тематической принадлежности лексемы общенародного языка, отражающие этнокультурные реалии (артефакты, явления и пр.). Так, внешний вид человека становится мотивом номинации специального понятия. В ономаσιологической модели «человек – животное» существенным оказывается структурно-формальное отождествление: сходство формы элементов волосяного покрова лица человека и шерстного покрова на морде («лице») собаки или сходство анатомического строения определенной части тела. Ср.: *Брыли* – ‘тяжелые, мясистые или отвислые губы’*. Ср.: *брыли, брылястый* – ‘толстогубый, толсторылый, с большими отвислыми губами’ [Даль Т.1: 132]. *Чуб* – ‘густо растущая между ушами шерсть’. Ср.: *чуб* – ‘хохол, вихор, взбитый или отрощенный клочок волос’ [Даль Т.4: 611]. *Борода* – ‘украшающий волос на морде’. Ср.: *борода* – ‘волосы, растущие у мужчин на нижней части лица’ [Ожегов: 24]. *Брови* – ‘жесткая щетинистая шерсть над глазами’. Ср.: *брови* – ‘дугообразная полоска волос над главною впадиной’ [СРЯ Т.1: 279]. *Усы* – ‘украшающая шерсть на верхней губе собаки’. Ср.: *усы* – ‘волосы над верхней губой у мужчин’ [Ожегов: 471]. *Баки* – ‘густая шерсть на морде, торчащая в разные стороны’. Ср.: *баки* – ‘часть бороды по щекам и до ушей’ [Даль Т.1: 228].

Идентичность внешних признаков человека и животного становится эталоном, согласно которому идет познание окружающей среды.

Тематический арсенал концептуальных сфер достаточно широк, но имеет разную степень продуктивности. Так, наибольшей активностью в терминотворчестве обладают следующие номинативные модели: а) название домашнего/дикого животного – название элемента экстерьера собаки; б) название элементов одежды – название шерстного (кожного) покрова животного.

* Все примеры кинологических номинаций приводятся по: [Саматова 2000].

Остановимся подробнее на каждой из приведенных выше моделей.

1. Название домашнего/дикого животного – название элемента экстерьера (статей) собаки.

Баранья голова – ‘напоминающая по форме голову барана’. *Выдровая голова* – ‘специфическое строение головы бордер-терьера’, ‘напоминающее по форме голову выдры’. *Баранья морда* – ‘узкая, заостренная к концу морда’. *Щучий щипец (нос)* – ‘такой же, как у щуки, широкий и плоский’. *Орлиный нос* – ‘с горбинкой в области носовых хрящей’. *Конистая шея* – ‘шея, своей формой напоминающая шею коня’. Ср.: *конистый* – ‘к коням относящийся, им принадлежащий, свойственный’ [Даль Т.2: 155]. *Свиная морда* – ‘загнутая вниз от глаз до кончика носа’. *Сайгачья морда* – ‘напоминающая по форме морду сайгака: загнутая вниз, с небольшой горбинкой в области носовых хрящей’. *Ястребиные глаза* – ‘янтарного или желтого цвета, обычно имеющие суровый, жесткий вид’. *Волчий разрез (глаз)* – ‘косой разрез глаз, как у волка’. *Свиной (пороссячий) глаз*. Ср. узуальное фразеологическое сочетание: *свиные глазки* – ‘маленькие подслеповатые глаза’ [ССРЛЯ Т.13: 369]. *Бараний нос* – ‘форма морды, при которой спинка носа относительно прямая, за исключением области носовых хрящей, которая опущена вниз’. *Уши конем* – ‘острые, стоячие и т.п., как у коня’. *Медвежьи уши* – ‘с очень закругленными кончиками’. *Бычья шея* – ‘силовая шея с мощным развитием мышц’. *Гусиная (лебединая) шея* – ‘вытянутая трубообразная, одинаковой толщины по всей длине’. *Куриная грудь* – ‘узкая, мелкая, плоская, с сильно выдающейся вперед грудной костью’. *Коровий постав (коровина)* – ‘постав задних конечностей с «ввернутыми» внутрь скакательными суставами, напоминающий постав задних ног у коровы’. *Лапа заячья (русачья)* – ‘овальная по форме с очень плотно сомкнутыми сводистыми пальцами; сочетается с удлиненной, слегка наклонной пястью’. *Кошачья лапа* – ‘по форме круглая, с плотно сомкнутыми пальцами, часто сочетающаяся с короткой отвесной пястью’. *Слоновья лапа* – ‘лапа с сухой, рыхлой, хронически трескающейся кожей’. *Хорьковая лапа* – ‘с длинными узкими довольно плоскими ступнями’. *Медвежья шерсть* – ‘грубая с обильным подшерстком, волнистая’. *Беличий хвост* – ‘направленный вперед под острым углом к спине’. *Выдровый хвост* – ‘толстый у основания, суживающийся к концу, в сечении круглый, с пробором, разделяющим

шерсть на нижней стороне'. *Жало пчелы* – 'хвост пойнера, относительно короткий, сильный, прямой и постепенно сходящий на нет'. *Крысиный хвост* – 'у основания толстый, далее сужающийся, с редким волосом хвост ирландского спаниеля' и др.

Зооморфизмы – наиболее представленный в лексике русской псовой охоты слой номинативных единиц. Зооморфная метафора – один из древнейших способов отражения действительности. Все используемые в качестве образов-конкретизаторов виды животных широко известны носителям языка и ориентированы на реалии, сопутствующие человеку в его обыденной жизни и профессиональной деятельности. При анализе зооморфных ономастологических структур можно, на наш взгляд, говорить о той концепции животного, которая существует в сознании номинатора и отражается в создаваемых специальных наименованиях. Так, использование образов домашних животных в качестве опорного представления свидетельствует об ориентации на реалии, сопутствующие человеку в его «бытовой», эмпирической сфере деятельности. Интересен факт наличия в кинологической лексике группы наименований статей собаки, но основанных на аналогии со строением тела гуся (курицы). С их помощью можно почти полностью охарактеризовать внешний вид (статус) собаки. Ср.: *гусиная шея, гусиный щипец, гусиная (куриная) грудь, гусиный крестец, гусиная походка и др.*

Думается, что привлечение в качестве «прообразов» профессиональных понятий названий диких животных, связано с одним из самых древних промыслов человека – охотой. Все «присутствующие» в ономастологических структурах названия животных представляют собой объект охоты (*выдра, хорек, заяц, белка, медведь и др.*). Поскольку неотъемлемым «атрибутом» охоты чаще всего была собака, то вполне вероятно, что признаки в строении и форме частей тела «объекта охоты» переносились на «атрибут охоты» (*выдровый хвост, заячья лапа, медвежьи уши и т.п.*). Интересны использования названий птиц (*сокол, ястреб, орел*), которые также связаны с охотничьим бытом, поскольку первоначально охота велась с ловчими птицами: *постав, акулья пасть*.

Следует отметить пейоративные метафоры, которые чаще всего эксплицируют знание о том, какой не должна быть собака. В этом проявляется их эвфемистичный, табуированный характер, отражающий восходящее к мифологическому сознанию стремление не

называть прямо, «в лоб» дефекты, пороки и болезни, а «придумать» для них имена-иносказания.

2. Название элементов одежды – название шерстного (кожного) покрова животного.

Ср.: *Карман* – ‘складка ненатянутой кожи, нависающая над выступом скакательного сустава’. *Спущенный чулок* – ‘складки кожи над коленным суставом’. *Шапочка* – ‘густая шерсть на голове, подстриженная в форме шапки’. *Рубашка* – ‘шерстный покров собаки’. *Брюки, штаны, портки* – ‘длинные волосы на задней части бедра и голени’. *Воротник* – ‘украшающий волос вокруг шеи’. Ср.: ‘Часть пришивной одежды, обнимающая шею’ [Даль Т.1: 251]. *Фартук* – ‘длинная шерсть на шее и передней части груди у длинношерстной колли’. *Носки* – ‘белые отметины, охватывающие ступни и плюсны (если выше, до предплечий – *чулки*)’. *Ремень* – ‘более темная, чем основной окрас линия вдоль спины’ и др.

Видимо, такое широкое использование подобных образов-прототипов связано с общим представлением о шерстном покрове собаки как об «одежде». Ср., например, профессиональные терминологические словосочетания: *хорошо одетая* – ‘собака в полной псовине, т.е. с густой, блестящей, обильной шерстью’; *плохо одетая* – ‘о животных, находящихся в процессе линьки, или о больных, с сухой, редкой, тусклой шерстью’.

Достаточно продуктивны и ономаσιологические структуры, отражающие бытовую, хозяйственную сферу деятельности человека (модель: *название реалии или ее фрагмента* – *название элемента экстерьера*). Например: *подушка* – ‘очень толстая верхняя губа’; Ср.: *подушка* – ‘мешок, набитый пухом, перьями, соломой’ [Даль Т.3: 213]. *Кувшин* – ‘голова борзой собаки, широкая в основании и суживающаяся по направлению к кончику носа’. Ср.: *кувшин* – ‘Высокий, суживающийся сверху сосуд с ручкой и носиком’ [СРЯ Т.2: 191]. *Седло* – ‘провислая, впалая, вогнутая спина’. Ср.: *седло, седловина* – ‘сидение для верховой езды, состоит из двух луков и двух лавок, обтянутых кожей’ [Даль Т.4: 183]. *Бочка (бочковатые ребра)* – ‘грудная клетка собаки, обрамленная излишне округлыми ребрами’. Ср.: *Бочковатый* – ‘у кого или чего выдавшиеся, выпуклые бока’ [Даль Т.1: 121]. *Кисточка* – ‘пучок шерсти на хвосте в виде кисти’. Ср.: *кисточка* – ‘Пучок, связка чего-либо, связанная с одного конца’ [Даль Т.2: 347]. *Щетка* – ‘шерсть на хвосте у грубошерстных пород’. Ср.: *щетка* – ‘Скрепленный пучок щетины или

крупная щетинистая кисть' [Даль Т.4: 671]. *Очки* – 'контрастирующий с окрасом морды темный или светлый цвет шерсти вокруг глаз'. Ср.: *очки* – 'Два стеклышка в станочке насаживаемые на переносе против глаз' [Даль Т.2: 664]. *Полено* – 'прямой хвост, имеющий в сечении круглую форму, покрытый ровной густой шерстью одной длины'. Ср.: *полено* – 'Кусок распиленного и расколотого бревна для топки' [Ожегов: 579]. Ср. также названия формы хвоста у различных пород: *крюк, перо, серп, метелка, ухват, щетка* и др.

Обращает на себя внимание специфика отражаемых реалий: домашняя утварь (*кувшин, ухват, седло*), орудия труда (*щетка, кисточка, метелка, серп*), предметы быта (*подушка, очки, штопор, крюк*). Выбор образа-прототипа связан с обыденностью, эмпиричностью человеческого опыта, а возможно и с некоторым консерватизмом сознания, поскольку отражаемые реалии связаны с давно знакомыми и понятными для носителей языка сферами деятельности, обусловленными опытом предыдущих поколений, который реализуется в ономасиологических моделях.

Менее продуктивны ономасиологические структуры, связанные, например, с природными объектами и строениями. Например:

1. *Названия географических (природных) объектов*: *бугорчатые* (зубы) – 'представляют собой площадку с бугорком'. Ср.: *бугорок* – 'небольшое возвышение, холм' [Ожегов: 54]. *Степь* – 'ровная, плоская спина борзой собаки'. Ср.: *степь* – 'Безлесое, ровное, покрытое травянистой растительностью пространство' [СРЯ Т.1: 360]. *Грядки* – 'соски кормящей суки'. Ср.: 'Череда, цепь, вдольное возвышение' [Даль Т.1: 403]. *Проточина* – 'полоса другого цвета от мочки носа до лба'. Ср.: *проточина* – 'Промытое водой отверстие, проход' [Ожегов: 534].

2. *Названия природных явлений*: *капля, брызги* – 'мелкие отметины другого, часто белого цвета на темном окрасе'. *Звездочка* – 'отметина на лбу другого окраса, чаще белого, чем основной цвет шерсти'. Ср.: *звезда* – 'небесное тело, видимое глазу в форме светящейся точки на небе' [Ожегов: 197].

Видимо, для описания «живого» существа подобные аналогии были неактуальны.

Псовая охота в России всегда была «забавой» русского дворянства. Именно дворяне содержали большие своры охотничьих борзых и легавых собак, занимались их разведением. В связи с этим

представляется перспективным рассмотрение лексики русской псовой охоты как элемента субкультуры русского дворянства. Думается такой подход позволит проследить динамику функционирования представленных выше ономазиологических моделей.

Об определяющем влиянии дворянства на формирование русской кинологической лексики свидетельствуют прежде всего экстралингвистические факторы. Так, например, в XVIII – начале XIX вв. французские эмигранты, поляки, русские офицеры, воевавшие в Западной Европе, наконец, многочисленные пленные “Великой Армии” Наполеона I способствовали еще большей известности ружейной охоты и разведению различных пород охотничьих собак в России. Появление в начале XIX специальной кинологической литературы (статьи и заметки известных русских заводчиков гончих и борзых собак Н.Н.Ермолова, П.М.Губина, И.С.Романова, Н.И.Кутепова, Н.Н.Воронцова-Вельяминова и многих других), а также организация в Костромской, Орловской и Нижегородской губерниях питомников (заводов), в которых выводились национальные русские породы охотничьих собак, организация первых выставок способствовали накоплению терминологического фонда и дальнейшей специализации профессионального языка. Влиянием дворянской субкультуры можно объяснить и появление в XIX – начале XX века специальных наименований-галлицизмов, заимствованных из альтернативных терминосистем Англии и Франции. Ср.: *Жабо* – ‘пышная шерсть на груди’. *Манжеты* – ‘особым образом стриженная шерсть на нижней части конечностей’. *Вуаль* – ‘часть челки собаки, свисающая на глаза’. *Шаль* – ‘неполная грива или воротник тибетского спаниеля, покрывающие часть спины и плечи’. *Маска* – ‘частичная зачерненность морды, часто сочетающаяся с зачерненностью вокруг глаз’. *Мантия* – ‘темно окрашенная область шерстного покрова, покрывающая спину, шею, плечи и бока’. *Плюмаж* – ‘свисающая по бокам шерсть на хвосте’. *Помпон* – ‘пучок волос округлой формы на конце хвоста пуделя, подшерсток’. *Чиппендейл* – ‘специфическое строение передних конечностей, при котором локти довольно широко расставлены, предплечья, наклоненные к центру, а пясти и ступни выгнуты наружу’ (ср. английский стиль в изготовлении мебели («чиппендейл»), характеризующийся довольно прихотливо изогнутыми ножками столов и стульев).

Таким образом, специальные наименования лексики русской псовой охоты выступают как средство хранения и источник культурно значимой информации, отражают различные аспекты концептуализации и категоризации культурного знания. Являясь частью языковой картины мира, специальная лексика «вбирает» в себя и этнокультурную специфику, которая обусловлена:

- достаточным набором образов-прототипов, выступающих как фрагменты тематических областей, отражающих этнокультурные особенности народа. Именно из этих сфер для номинации специальных понятий «притягиваются» концептуальные и номинативные средства;

- генетической спецификой лексических ресурсов (используется общеславянский и исконно русский тезаурус).

Отметим также, что в лексике русской псовой охоты в качестве СН продолжают функционировать многие лексические единицы, которые в общенародном языке фактически перестали употребляться (ср., например, названия хвостов у гончих собак: *кормило, правило* и др.).

Словари

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х тт. – М., 1989.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1986.

Саматова Е.К. «Борзыми ногами спеть по зверю...»: Словарь кинологической лексики. – Екатеринбург, 2000.

Современный словарь русского литературного языка. – М.-Л., 1956-1965.

© Саматова Е.К., 2005

Т.Н.Астафурова, А.В.Олянич
Волгоград

**Репрезентация властной языковой личности
в англосаксонском лингвосомиотическом пространстве**

Феномен власти – это один из важнейших видов социального взаимодействия, специфическое отношение между членами социума, один из которых подчиняется распоряжениям другого; в результате этого подчинения властвующий субъект реализует свою волю и интересы. Методами власти выступают убеждение, принуждение, насилие. Процесс управления представляет собой процесс реализации властной воли для достижения цели властителя [Краснов 1994].

Одно из наиболее распространенных представлений о власти – понимание ее как принуждения. Как считает М.И.Байтин, власть, безотносительно к формам своего внешнего проявления, в сущности, всегда принудительна, ибо так или иначе направлена на подчинение воли членов данного коллектива господствующей или руководящей в нем единой воле [Байтин 1972]. Наивысшей формой принуждения является *абсолютная власть*, отличительными признаками которой выступают:

- *верховенство*, т.е. обязательность ее решений для всего общества, для всех других видов власти. Она может ограничить влияние других форм власти, поставив их в разумные границы, либо вообще устранить их;

- *легальность*, т.е. правовое оправдание использования силы и других средств волеизъявления в пределах страны;

- *моноцентричность*, т.е. существование монарха и системы властных органов принятия решений;

- *вездесущность*, т.е. проникновение во все сферы деятельности социума:

- *широчайший спектр* средств, используемых для завоевания, удержания и проявления / реализации власти.

Основными элементами власти являются ее субъект, объект и средства (ресурсы). Субъект власти воплощает в себе ее активное, направляющее начало. Им может быть личность или орган власти; для реализации властных отношений субъект должен обладать

рядом таких качеств, как желание властвовать и воля к власти. Помимо этого, субъект власти должен знать состояние и настроение подданных. Отражением первостепенной роли субъекта в отношениях власти является широко распространенное отождествление власти с ее носителем. Так, говорят о решениях власти, о действиях властей, о произволе власти и т.п., подразумевая под властью управленческие органы или отдельных лиц.

Субъект определяет содержание властного отношения через: 1) приказ (распоряжение) как властное повеление подчиниться воле субъекта власти; 2) подчинение как подведение частной воли под всеобщую волю власти; 3) наказание (санкции) как средство воздействия на отрицание господствующей воли; 4) нормирование поведения как совокупность правил в соответствии с всеобщим интересом.

От приказа, характера содержащихся в нем требований во многом зависит отношение к нему объекта (исполнителей) – второго важнейшего элемента власти. Власть – всегда двустороннее взаимодействие субъекта и объекта. Власть немыслима без подчинения объекта – где нет объекта, там нет власти. Осознание зависимости субъекта власти от покорности населения нашло свое практическое выражение в акциях гражданского неповиновения как средства ненасильственной борьбы. Масштабы отношения объекта к субъекту власти простираются от ожесточенного сопротивления, борьбы на уничтожение до добровольного, воспринимаемого с радостью повиновения. В сущности, подчинение также естественно присуще человеческому обществу, как и правление.

Логика властной организации общества в целом векторизована в интервале «безграничная – ограниченная власть». Безграничная власть вбирает многочисленные усложненные модификации политико-государственного абсолютизма от моно- до полидержавности. Абсолютизм (самодержавно-тиранический строй) как разновидность апостольства представляет самовластное всевластие, произвол феодально-монархических правителей. Характерные предпосылки абсолютизма как простой формы власти проявляются в слиянии законодательных и исполнительных структур, организующих и контролирующих институций, узурпации власти одним лицом (группой лиц), незаконном ущемлении прав и свобод подвластных. Ярким историческим примером реализации абсолютной

власти в Великобритании XV-XVI в.в. явилось правление двух представителей королевской династии Тюдоров – Генриха VIII и Елизаветы I, которые усовершенствовали механизм абсолютизма, упростив форму правления до концентрации в одних руках всех видов власти, включая религиозную. Сущностные характеристики властной языковой личности раскрываются в соответствующей лингвокультуре через лингвосемиотическое пространство, разноразрядные властные номинации и дискурсивные параметры – *знак, слово, текст*.

Семиотический уровень репрезентации англосаксонской властной языковой личности фиксируется в специфических *артефактах* – символах могущества, в вещах, в более или менее явной форме отсылающих к магическому воздействию на мир и на других людей. Предметы власти отражают усложнение иерархических отношений в социальной реальности, в значительной мере порождаемых интерпретациями объектов, приближенных к власти. Знаки власти (*regalia* – регалии) интересны тем, что на архаических этапах правления схожи во многих культурах своей функциональной простотой и формой: железные меч, щит, шлем как символы воинского старшинства – личное оружие, ношение которого издревле, безотносительно к возможности его применения, уже является символом власти как способности к правлению. Оружие демонстрирует внутреннюю воинственную природу самого правителя. Символом власти было как наступательное, так и оборонительное личное оружие. Из наступательного оружия уже в античности символом власти был меч: при коронациях англо-саксонские короли опоясывались мечом, как это делалось при коронациях римских императоров. После совершения ритуала коронации выезжали верхом на вершину холма и там размахивали мечом на все четыре стороны. Это был символ готовности отражать врага, с какой бы стороны он не наступал на королевство.

Оборонительное оружие (доспехи, щит) являло собой своеобразную «книгу», в которой были «записаны» власть и мощь правителя, причем акцент на оборонительном оружии в монархических ритуалах носил трагический оттенок: так, у англосаксов государственный щит выносили только при похоронах правителя. Оружие как простейший знак власти символизировало первичные (простые) ценности социума того времени – честь и достоинство его владельцев.

Корона тесно связана со шлемом, единственной функцией которого была защита воина во время битвы. Шлем предстает в качестве магического предмета, на котором часто укреплялась геральдическая фигура, указывающая на связь вождя и рядового воина с божественными силами. Постепенно функция шлема усложняется, и король в шлеме предстает не только как верховный военачальник, но и как верховный правитель, в чем просматривается определенный семиотический синкретизм военной и мирской власти.

В более развитых культурах формы, количественная и символическая значимость знаков власти постепенно усложняются: золотые корона, щит, меч, скипетр, держава, знамя. К регалиям в широком смысле слова начинают также относить трон, порфиру и другие парадные королевские одеяния. Кроме одежды и наград, существенным атрибутом власти становятся трон и стол короля. Последние восходят к «жертвеннику» как к обычному месту принесения даров, который с развитием культуры получил усложненное символическое значение «престола» как указания на близость к Богу и божественное происхождение королевской власти.

Важным символом королевской власти становятся личные средства перемещения: простая способность древних властителей к перемещению верхом на коне трансформировалась в способность к динамической мобильности на более сложных и престижных средствах передвижения, особо отличающих именно властителя, правителя. Поэтому в древности властителя часто изображали верхом на коне, или – в колеснице, а в эпоху абсолютизма – в карете как особым символом власти, который использовался в особо торжественных случаях для демонстрации мощи англосаксонской государственности, как презентационный инструмент властного воздействия.

По мере расширения пространства и разветвления форм власти создаются знаки монаршего правления, усложненные по линии хронотопических параметров. Таким знаком власти становится держава как символ владычества над землей: шар державы олицетворяет модель мира. Изображения римских императоров на монетах показывают, что держава как символ императорской власти была использована уже в Риме: на монетах императора Августа изображены шары, на которых начертано соответственно EVR (Европа), ASI(Азия), AFR (Африка). В дальнейшем римские императоры часто использовали шар с изображением богини Победы, которое у англосаксонских королей впоследствии заменено крестом.

Со временем перенасыщенное, усложненное смысловое содержание системы символов англосаксонской власти утрачивает свои комплексные функции и упрощается за счет усложнения презентационных форм и ритуалов, проявляющихся преимущественно во временных (*хроносемиотических*) и пространственных (*топосемиотических*) компонентах властного поведения. Так, монарх не управляет (*rule*), а правит (*reign*), т.е. выполняет презентационные функции; должность шерифа, как представителя англосаксонской королевской власти на определенной территории, в настоящее время утратила свою многофункциональность в связи с фактическим исчезновением института шерифства и упростилась до презентационной функции (*High Sheriff = the chief officer of the King or Queen in a county with mostly ceremonial duties* – LDELС). Первоначальная значимость символов власти как индикаторов могущества (*scepter, orb, crown*) упрощается, а социальная значимость коронации как ритуала легитимного подтверждения власти, дарованной Богом, сводится к театрализованной церемонии, в которой изначальное многокомпонентное и усложненное содержание заменяется пышной формой.

Лексический уровень репрезентации властной языковой личности в англосаксонской лингвокультуре отмечен широкой представленностью лексем, номинирующих субъекты и объекты власти, ее инструменты и ресурсы, властные действия, состояния и процессы, характеризующие этапы «зарождения, жизни и смерти» власти в целом. *Субъекты* королевской власти представлены такими лексическими единицами, как *king, queen, rex, regina, sovereign, monarch*. *Объекты* королевской власти составляют иерархию персоналий, которая имеет четыре уровня приближения к трону монарха: 1) персоны, приближенные к соверенам по крови и родственным связям (*prince, princess, duke, grand duke, archduke, duchess*); 2) титулы и звания, дарованные совереном своим вассалам в качестве привилегий (*count, countess, baron, baronet, baroness, marquis, marquess, marchioness, earl, viscount*); 3) должности, даруемые совереном своим подданным (*councillor, privy councillor, sheriff, justice, marshal, archbishop, bishop, prelate, archdeacon, deacon*); 4) королевские слуги (*lady in waiting, maid of honour, personal attendant, valet, master of ceremonies, master of heraldry*).

Инструменты и ресурсы власти обозначают методы и средства, при помощи которых происходило обретение, проявление и удержание абсолютной власти: 1) инструментальные номинации – имена

документов, связанных с властным процессом (*prescript, decree, edict, act, rescript, ordinance, ultimatum, verdict, injunction, statute, mandate, query, request, petition, bill, solicitation, precept, order, command, dictate, article*); 2) ресурсные номинации: а) экономические – дарование земель и королевского содержания, освобождение от налогов и службы в армии, субсидии на свадьбу и похороны (*inheritance on payment, entire knight's 'fee', the land entrusted, the land granted, 'release from scutage', a reasonable 'aid', etc.*); (*the land granted, 'release from scutage'; posts and positions in office, privileges, freedom grants, ranks and titles; The Order of the Garter, The Order of the Bath, The Order of Merit, The Order of the Golden Fleece; Privy Council, courts, the army, fleet, navy; pageants, public executions*); б) социальные – титулы, звания, награды, ордена (*posts and positions in office, privileges; freedom grants, ranks and titles; The Order of the Garter; The Order of the Bath; The Order of Merit; The Order of the Golden Fleece*); в) политико-силовые – тайные советы, суды, шерифы, армия, флот, гвардия, подчиненные королю (*Privy Council, courts, the army, fleet, navy, guard*); г) информационные, используемые для идеологических целей, таких как разъяснение политики короля, отвлечение внимания масс от непопулярных властных действий (*spectacles, pageants, public executions*).

Властные действия, состояния и процессы номинируются глаголами власти, которые представляют собой особую сферу лексических номинаций англосаксонского властного лингвосомиотического пространства. В число властных номинаций О.В.Анненкова включает лексемы, в семантической структуре которых зафиксированы маркеры «власти» (*authority, force, influence, might, power, right, strength*), и которые наиболее ярко репрезентируют богатую палитру властных действий и процессов на основных этапах власти. Эти этапы приобретают дифференциальную атрибутику в смысловом содержании лексем, образующих четыре лексико-семантические группы (ЛСГ) глагольных властных номинаций – «обретение власти», «проявление власти», «удержание власти» и «свержение власти» [Анненкова 2005].

Доминантой ЛСГ, «Обретение власти» выступает лексема *establish = to introduce and put a law into force; to make a state institution of (a church)*, значение которой в наиболее общем виде передает процедуру обретения власти, которая уточняется комбинацией семантиче-

ских признаков «мирное – насильственное», «легитимное – нелегитимное», «явное – скрытое».

Так, *мирная* процедура обретения власти номинируется глаголами *authorize = to grant authority or power to smb; to give permission for smth; sanction; attain = to succeed in peaceful obtaining authority or power; heir = to inherit or be entitled by law or by the terms of a will to inherit the estate of another. Насильственное* обретение власти отражено в семантике *arrogate = to take or claim for oneself without right; appropriate; defeat = to get the better of an adversary or opposition to power; usurp = to seize and hold the power or rights of another by force and without legal authority; to take over or occupy without right.*

Скрытое обретение власти выявляется в семантике следующих глагольных лексем: *supplant = to usurp the place or position especially through intrigue or underhanded tactics; influence; encroach = to take another's possessions or rights gradually or stealthily. Явное* обретение власти, с одной стороны, коррелирует преимущественно с мирным и представлено в семантике лексических единиц *en/crown = to put a crown or garland on the head of; to invest with regal power; enthrone; to confer honor, dignity, or reward upon; en/throne = to invest with sovereign power or with the authority of high office.*

Легитимное и *нелегитимное* обретение власти в глагольных лексемах коррелируют с мирным и насильственным дифференциальными признаками: *appropriate = legislate for some specific purpose or use; claim = to demand a legitimate or asserted right on something; constitute = to establish according to law or provision.*

Доминантами ЛСГ₂ «Проявление власти» выступают лексемы *rule = to exercise control, dominion, or direction over; govern; to dominate by powerful influence; to decide or declare authoritatively or judicially; decree* и *command = to direct with authority; give orders to; to have control or authority over; to exercise authority or control.* Их семантика покрывает разнообразие властных действий монарха, использующего разнообразные ресурсы власти: привилегии, статуты, ответственность. Данная группа является самой многочисленной. В нее входят лексемы, обозначающие действия англосаксонских sovereignов во всех сферах общественной жизни, включая религиозную: *adopt = to vote to accept; to choose as standard or required by authority; allow = to permit to have or possess; amend = v.t. to alter a legislative measure formally by adding, deleting, or rephrasing; v.i. to reform; amerce = (Law) to punish by imposing an arbitrary penalty; annihilate = to nullify or ren-*

der void; *abolish*; conscribe = to draft for military or naval services; consecrate = to *declare as sacred (a church)*; to *sanctify* (bread and wine) for use in Communion; distribute = to *give out land or privileges* in portions or shares; dominate = to *control, govern, or rule by superior authority or power*; levy = to impose or collect a tax; to draft into military service; to declare and wage a war;

ЛСГ₃ «Удержание власти» конституируется глагольными лексическими единицами, смысловое содержание которых отражает в первую очередь насильственные (пенитенциарные, репрессивные и карательные) способы борьбы власти с инакомыслием. Семантическими доминантами группы являются лексемы *punish = military*) to subject to a penalty for an offense, a sin, or a fault и *execute = to put to death, especially by carrying out a lawful sentence*.

Наконец, глагольные лексемы ЛСГ₄ «Свержение власти» номинируют процедуры утраты власти, которые коррелируют с семантическими признаками ЛСГ₁ «Обретение власти» (мирное – насильственное, легитимное – нелегитимное, явное – скрытое), однако имеют противоположную векторную направленность властных действий: *de/dis/un/crown (dethrone) = cause to abdicate, force to resign*; *abdicate = to relinquish power officially without resistance* и т.д.

Дискурсивный уровень репрезентации властной языковой личности в англосаксонской лингвокультуре представлен системообразующими признаками властного дискурса: институциональностью, авторитарностью, властными речевыми жанрами, дистанцированностью, риторичностью и т.д. *Институциональность* характеризуется авторитарными правилами и ритуализованными рамками функционирования, поскольку власть как социальный институт реализуется в разного рода нормативных процедурах и организационных формах представленного в них уровня проявления власти.

Авторитарность характеризуется безальтернативными дескриптивами (*just, rightful, supreme*), прескриптивами (*ought to be, shall be accepted and reputed*), репрессивами (*shall have full power and authority to repress*), референтными номинациями лояльности субъекту верховной власти (*is recognized by the clergy, corroboration and confirmation by convocations*), наличием явных и скрытых форм авторитарного воздействия через прямые и косвенные речевые акты давления и нажима на подданных (уничтожение, угрозы, возведение в абсолюта права совершена судить, наказывать и миловать), которые реализуются указанием на божественное происхождение королевской

власти и статусную неравноценность права наследования, дарования привилегий и вынесения приговоров инакомыслящим / нелояльным.

Так, в речах Елизаветы I преобладают акты прямой угрозы: духовенству (*"Proud Prelate, you know what you were before I made you what you are. If you do not immediately comply with my request, I will unfrock you, by God!"*); членам парламента (*"I desire, these errors, troubles, vexations and oppressions done by these varlets and lewd persons not worthy of the name of subjects **should not escape without condign punishment**"*); послам и дипломатам при своем дворе (*"And as for your alliance with the House of Austria by which you set so much store, let it not escape your memory that there was one of that house, who attempted to wrest the kingdom of Poland from your King. For the other matters which are too numerous to be dealt with here and now, you shall wait until you hear what is considered by certain of my counsellors appointed to consider them"*).

В речах королевы также содержатся поучения и увещания, маркируемые менторскими номинациями, вербализующими более высокий образовательный статус соверена (*"As for yourself, you give me the impression of having studied many books, but not yet of having graduated to the books of Princes, rather remaining ignorant of the dealings between Kings. As to the law of nature and of nations of which you make so much mention, know that the law of nature and of nations is thus: when war is declared between Kings, either may cut the other's lines of supply, no matter where they run from and neither may they make it a precondition of their losses that these be made good. This, I say, is the law of nature and of nations"*).

В речи короля Генриха VIII от 24 декабря 1545 г, произнесенной перед членами британского парламента, ярко проявляются признаки авторитарной манипулятивности субъекта верховной власти. Как отмечает свидетель этого выступления, «these words bring Henry VIII's personality to life – at times belligerent, then coaxing, mixing flattery and threats. Unlike his descendants, Henry had few problems with parliament; his **domination** of its members was legendary». Его выступления изобилуют речевыми актами: позитивной самооценки (*"I, whom God has appointed his vicar and high minister here"*; *"How have I governed since my reign? I need not to use many words, for my deeds do try me"*); негативной оценки подданных, их деятельности и компетентности (*"My people look to you for light and you bring them darkness"*); угрозы (*"Amend these crimes, I exhort you, and set forth God's*

word truly, both by true preaching and giving a good example, or else, I, whom God has appointed his vicar and high minister here, will see these divisions extinct, and these enormities corrected, according to my true duty, or else I am an unprofitable servant and an untrue officer”); иронии (“*I see and hear daily that you of the clergy preach against each other without charity or discretion. Some are too stiff in their old 'Mumpsimus', others are too busy and curious in their new 'Sumpsimus'”*); издевки (“*How can the poor souls live in concord when you preachers sow amongst them in your sermons debate and discord? ”*); просьбы-приказа (“*Meanwhile hold your Peace and loyalty”*).

Разнообразие проявления авторитарности находит свое отражение в жанровой специфике англосаксонского властного дискурса – в трех типах властных жанров: повелевающем (*edict, act, rescript, ordinance, ultimatum*), регулирующем (*verdict, injunction, statute, mandate, query, request, petition, bill, solicitation*) и предписывающем (*precept, order, command u dictate*), реализуемых в письменном и устном формате, в которых своеобразно варьируются признаки «мирная / насильственная, явная / скрытая, легитимная / нелегитимная» реализация власти.

Параметры дистанцированности власти отчетливо обнаруживаются во властных паремиях, анализ смысловой структуры которых позволил выявить идеологемы – особый тип вербально закрепленных идеологических предписаний, сознательно культивируемый властью в сознании подданных всеми средствами воздействия [Купина 1995]. Идеологема, формируясь в культуре от официального верха к массовому низу, реализуется в виде пяти логем, т.е. фиксируемых в паремиях логико-семантических структур оценки (преимущественно негативной) проявления власти: 1) репрессивность власти (*Kings have long arms; Whosoever draws his sword against the prince must throw the scabbard*); 2) вседозволенность власти (*Might is right; He is right who has rights*); 3) двуликость власти (*Power corrupts; The road to hell is paved with good intentions; The law for the rich, and another for the poor*); 4) легитимность власти (*Every land has its own law; New lords, new laws*); 5) мудрость власти (*The king can do no wrong; Divide and rule*).

Англосаксонский властный дискурс предстает как конгломератный жанр, включающий признаки институциональной, риторической и ритуальной коммуникации со специфической композиционной структурой: 1) зачин, или набор этикетных формул приветствия,

обращения, апелляции совершена к подданным; 2) вступление, или введение в тему, которое может одновременно являться средством установления контакта с аудиторией, представленной разными условиями, привлечения их внимания и интереса; 3) главная часть выступления, состоящая из тематических блоков; 4) заключение. Каждая из композиционных частей выступления монарха выполняет определенные функции дискурса: фатическую, информационную, воздействующую и инспиративную.

Тематическая направленность властного дискурса изучаемой эпохи связана со свержением религиозной власти римской католической церкви и утверждением англиканской церкви, во главе которой встал монарх, подавлением инакомыслия. Лингвостилистический анализ выступлений Тюдоров свидетельствует о высоком искусстве публичной речи монархов, отправным пунктом которого является знание законов риторики, умение оратора использовать широкий спектр лингвостилистических приемов, поддерживать у аудитории интерес к обсуждаемой теме и оратору на протяжении всего выступления, поскольку власть не только подчиняет объекты ее приложения, она активно «заигрывает» с ними, создавая иллюзию диалога между субъектом и объектом власти, в котором происходит двустороннее общение. Публичные выступления англосаксонских монархов могут быть отнесены к диалогизированному монологу, отличающемуся высокой степенью апеллативности, т.е. призывом к действию.

Лингвостилистический анализ дискурса англосаксонской властной языковой личности позволяет выявить наиболее частотные приемы, используемые монархами в публичных выступлениях: наиболее частотным приемом фонетического уровня является аллитерация, лексического уровня – метафора, эпитет и метонимия; синтаксического уровня – антитеза, параллелизм, полисиндетон, градация, повтор, аллюзия, инверсия, авторский и риторический вопросы.

Литература

Анненкова О.В. Лексико-семантическая группа англосаксонских властных номинаций // Профессиональная коммуникация: проблемы гуманитарных наук. – Филология, лингвистика, лингводидактика. – Межвузовский сборник научных трудов. – Волгоград, 2005. – Вып. 1(1).

Байтин М. И. Государство и политическая власть. – Саратов, 1972.

Краснов Б.И. Власть как общественное явление. // Социально-политический журнал. – 1994. – № 7.

Купина Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. – Екатеринбург-Пермь, 1995.

Act of Supremacy (1534), *The Oath of Supremacy*, *2nd Act of Supremacy* (1559), *Act of Parliament* (1536), *Elizabeth's Act of Uniformity* (1559), *The Thirty Nine Articles*, *Thirty Nine Articles*: www.wikipedia.com

Collins Cobuild English Dictionary. – L.: Collins Pbl., 2000 (CCED)

Henry VIII's Speech before Parliament, 1545: www.primarysources.com

Queen Elizabeth's Quotes: www.elizabethregina.uk

The Concise Oxford Dictionary of the English Language. – OUP, 2003 (COD)

The Longman Dictionary of English Idioms. L.: Longman, 1997 (LDEI)

The Microsoft Bookshelf Encyclopedia on CD-ROM, 1998.

The Oxford Concise Dictionary of Proverbs. – Oxford: OUP, 1996 (OCDP)

© Астафурова Т.Н., 2005

© Олянич А.В., 2005

И.М.Волчкова

Екатеринбург

«Смеховая культура» в контексте современного политического дискурса

Восприимчивость к культуре, культурным ценностям, которая выражается в умении анализировать, критически относиться к фактам, событиям, реалиям, есть признак цивилизованности. Поскольку в нашей работе речь идет о «смеховой культуре», то признаком восприимчивости является не только сам факт смехотворчества, но и способность отстраняться от реалии и видеть её как бы со стороны, то есть уметь обнаруживать комическое в суеде и повседневности жизни. Это и свидетельство возрастания нашей общей речевой культуры. Общество обнаруживает «смеховые» элементы во всем, даже такой серьезной области, как политика. Эта область доступна для наблюдения в основном в своем дискурсивном варианте. Смешное в речевой практике политических деятелей, политической элиты или тех, кто стремится занять это место, становится смешным только как озвученное, опубликованное и растиражированное. Накоплению подобного материала в основном способствуют журналисты, обладающие высоким уровнем речевой культуры.

Важным элементом «кода адресации», по М.Бахтину, являются так называемые идеологемы. В оппозиционной прессе идеологемы, помимо своей прямой функции, часто выполняют и функцию эмоционального воздействия, потому что, как правило, носят торжественный, патетический характер. В той же функции в этого рода текстах выступают традиционные русские библеизмы и фольклоризмы. В либерально ориентированной прессе те же самые средства используются иронически. Идеологические баталии происходят

на поле сегодняшней языковой культуры. И главным оружием опять, как и раньше, становится смех. Ирония как универсальный прием взаимодействия СМИ и власти, СМИ и масс рассматривается сегодня многими авторами.

Ирония не возникает просто так. Ее появление означает серьезные проблемы в обществе, с которыми не справиться за короткий промежуток времени; означает, что были предприняты неоднократные попытки для разрешения ситуации, но они не увенчались успехом, и все, что остается в сложной ситуации, это смеяться над ней. Авторы единодушны в оценке нравственной составляющей иронического смеха (Поляков, Вайль, Генис, Шендерович и др.): ирония приличного человека предполагает прежде всего самоиронию (подчеркнуто нами – И.В.). Это как бы нравственное условие, дающее право смеяться над другими, точнее – и над другими. Этот маленький союзник «и» имеет огромное моральное, этическое значение! Потеряй его – и тогда можно иронизировать, а вернее, уже глумиться над чем угодно, даже над тем, что, по крайней мере в христианской этике, табуировано, например, над смертью, пусть даже врага...

Ирония, издеваясь над действительностью, безжалостно высмеивает её. Но не знает, какой эта действительность должна быть. Ирония, не зная правды, учит тому, как без правды жить. Иронией автор маскирует незнание того, что он мог бы сказать напрямую. Кошунство иронии – в её пустоте. Это маска, под которой нет лица. Ирония смеется не над чем-то, а над всем, в том числе и над собой. Когда автору нечего больше сказать, он иронизирует. Но при этом ироническое поле, созданное писателем, порождает самостоятельное содержание. Может быть, даже не содержание, а метод, взгляд, мировоззрение. Андрей Синявский размышляет: «Ирония – неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кошунства» [Вайль, Генис 2005: 692]. Итак, место открытого, свободного смеха сегодня, как отмечают авторы [Поляков 2004: 33; Вайль 2005: 364; Мокриенко 1996: 31], заняла ирония. Ирония вкупе с самоиронией была средством психологической, нравственной самозащиты от нелепого жизненного устройства. Но за последние годы ирония из средства самозащиты превратилась в важный и весьма агрессивный элемент государственной идеологии. Если оттолкнуться от лозунговой классики, то

можно сформулировать так: «Капитализм есть частная собственность плюс иронизация всей страны» [Поляков 2004: 33].

Современная общественная жизнь выдвинула новый тип журналиста, который, отказавшись от пафосного стиля старшего поколения, ироничен, позволяет себе поиздеваться над всем и вся даже в информационном материале. Новый тип общения проявляется и в манере речевого поведения, и в самом стиле, который у каждого журналиста в то же время индивидуален. Если в советское время авторская ирония не смела бы коснуться первой – официальной полосы, то в наши дни, каким бы официальным сообщение ни было, оно может быть пронизано авторской иронией, не скрывающей субъективного взгляда. С возмущением об этом факте говорит писатель и журналист Ю.Поляков: *«При социализме у нас было очень серьезное телевидение. Юмор строго дозировался, точно критические абзацы в партийном докладе. Да, это было телевидение со сжатыми зубами. Сегодня мы имеем зубоскалящее телевидение. Что лучше, не знаю... Ну почему, например, я должен выслушивать последние вести из уст дикторши, которая кривит эти самые уста в саркастической усмешке? Мне нужна информация, а не личное отношение к этой информации служащего(ей) ТВ. Оно меня абсолютно не интересует, как не интересует, что думает о жизни и политике кассир Сбербанка, куда я ношу мои деньги.*

Если б я писал статью специально об иронизации ТВ в рамках иронизации всей страны, то я, конечно, остановился бы подробно на появлении особого типа телеинтервьюера, которому важно не выпросить «гостя студии», а высмеять его. Зачем? Старший приказал. Эти журналисты отличаются друг от друга лицом, полом, интеллектом, но есть неизменно общее: ангажированность под видом правдолюбия и хамство под видом ироничности.

Превращение иронии в госидеологию (выделено нами – И.В.), точнее, в идеологию правящей политической партии, ведет, в конечном счете, какие бы цели оно ни преследовало, к снижению нравственности в обществе. От насмешки над чужой смертью до бессмысленного убийства случайного прохожего не так уж и далеко. Ирония – это форма инакомыслия, свойственного человеку. У нас в стране за последние годы ирония превратилась в форму борьбы с инакомыслием. Причем осмеянию подвергается не суть инакомыслия, а сам его факт [Поляков 2004: 40].

Во многом соглашаясь с оценкой качественного характера иронии как проявления «смеховой культуры» в нашем обществе, позволим себе продолжить тему. Ирония представлена, как это ни кощунственно звучит, сегодня в двух вариантах: том самом, государственном, разрешенном, и самостоятельном, пусть даже – виртуальном. Даже оппозиционные власти издания и каналы в дозированном виде иронизируют, иногда на грани допустимого в этическом плане, что превращает иронию из тонкой насмешки в ерничество. С другой стороны, ощущение реальности не теряется, если мы читаем или слышим достойные произведения Виктора Шендеровича, Владимира Войновича и др. Пример такого достойного, на наш взгляд, подхода к созданию портрета политического деятеля высшего ранга являют книги Андрея Колесникова «Я видел Путина» и «Путин видел меня» (2005). Журналист А.Колесников (политический обозреватель ИД «Коммерсантъ», журналист «кремлевского пула», победитель в номинации «Пресс-Элита» национальной премии «Элита») использует известные иронические приемы и средства, не преступая грани этически допустимого.

«Доминантой «смеховой культуры» последнего десятилетия становится депатетизация патетизмов, т.е. стремление языковыми средствами разрушить тот слой «слов-фантомов» (Б.Норман), который был призван идеологизировать массовое сознание. Такое разрушение в целом осуществляется путем мощного нагнетания экспрессии в потерявшие экспрессивность языковые клише» [Мокиенко 1996: 16]. «Пафос плохо сочетается со смехом: смех уничтожает патетику. Герои могут смеяться, но лишь отдыхая от подвигов», – вторят другие авторы [Вайль, Генис 2005: 614]. Этот процесс «разрушения патетики» подчиняется общему эстетическому принципу «осцилляции смысла», сформулированному представителем пражской школы Я.Мукаржовским: чем удаленнее друг от друга стилистические полюса, приводимые текстом во взаимодействие, тем мощнее осцилляция» (волнообразное колебание) и производимый ею стилистический эффект. Языковая механика этого процесса не отличается особой оригинальностью. Собственно, приемы депатетизации сводимы к арсеналу средств юмора, в различных аспектах описанных как лингвистами, так и литературоведами. <...> Создание такой напряженности – задача сугубо эстетическая и поэтому индивидуально творческая [Мокиенко 1996].

Смех в контексте политической культуры, как мы знаем, присутствовал всегда. Демократические установки ориентированы если не на развенчание политической фигуры, то на снижение его имиджевого уровня. Свидетельство тому – многочисленные анекдоты о речи современной политической элиты, о казусах в их высказываниях, просчетах в их поступках. Важным является сам факт обращения к языковым неправильностям, способность замечать и анализировать. Характерно, что «перлы» из речи политической элиты передаются не только устно, но и фиксируются в газетных изданиях. Так, несколько примеров подобного рода, опубликованных на последней странице оппозиционной газеты «Завтра» (№ 52, 2003) в редакционной подборке «И смеф, и грэф...» под заголовком «Народ все еще смеется».

«Антология Бориса Круткова «Антология политического юмора современной России» вышла в изд-ве «Буридан». Это пространное, довольно любопытное и порой слишком наукообразное исследование, посвященное игровому, гротескному аспекту актуальной политики. Но почему, спросите вы, «политический юмор», а не сатира? Сам автор во вступительном слове отвечает, доказывая, что сегодня классическая сатира, обличающая пороки современного общества, уступила место сарказму и «юродству» (форме смеховой культуры, принятой на Руси издавна)». Автор комментирует материал по разделам.

Из раздела «Народ упорствует», «Русский экстрим», «Кривая речь» и др. «...следует отметить прискорбный факт: большинство россиян в душе не приняло практику реформирования и модернизации России по западному сценарию. Так, образ последовательного реформатора, первого президента РФ, БНЕ, этой неоднозначной, но безусловно, мощной политической фигуры, преломляется в зеркале «народной души» весьма своеобразно». Следуют примеры из данной книги.

«Ельцин, одеваясь утром, шарит по карманам своего пиджака:

– Паспорт здесь, пенсионное удостоверение здесь, пропуск в Кремль здесь. Так, на сегодня работа с документами закончена»;

«Уходя в отставку, БНЕ решил сделать широкий жест и отдал половину своих резиденций детям. А вторую половину – внукам...»;

«– Господин мэр, почему вы даже зимой в кепке?

– Пробовал шапку – горит...»;

«Колхоз «Путь Ленина» переименован в «Лень Путина».

Обратим внимание, что анекдотичная ситуация, давшая возможность сложиться материалу в законченный текст, спровоцирована СМИ: бесконечные эвфемизмы – работа с документами и т.д., отношения внутри властных структур среди представителей политической элиты. Подобные подборки текстов имеют явно компрометирующий характер, но их разрушительная сила невелика, как невелика сила анекдота, уже не воздействующего на сознание, поскольку он превращен временем в факт народного творчества.

Речь политической элиты также обнаруживает новое в дискурсе. Речевой облик современной эпохи бесконечно многообразен и противоречив. Одной из многочисленных сфер реализации речевых потенций является речь политической элиты. Наблюдение за речевым поведением известных сегодня деятелей, растиражированное радио и ТВ, дает возможность сформулировать некоторые тенденции, определяющие стереотипы статусно-ролевого поведения. Внимание к этой области языковой культуры закономерно, а интерес мотивирован тем разочарованием в услышанном (и увиденном), которое связано с моментом ожидания, отражающимся на признании статусно-ролевого принципа в общении, то есть того, что языковая личность будет соблюдать речевые нормы, свойственные ее положению в обществе, и определяемым характером взаимоотношений с собеседником (И.Н.Горелов, К.Ф.Седов). Все, что так или иначе выходит за рамки нормативности, вызывает реакцию непонимания, недоверия, смеха.

Настроение и разочарование определяются изменившимся в обществе отношением к понятию «политическая элита». Изменилось социально фиксированное «лицо» политика, воспринимаемое в большинстве общественных групп крайне негативно. Если на «заре перестройки» в политику шли в основном представители интеллигенции, выступления которых являли собой образцы устной речи, глубоко продуманной, мотивированной, то в настоящее время «псевдоученые», «новые» интеллигенты, банкиры «из молодых», члены многочисленных депутатских блоков обращаются с языком достаточно вольно. Исследователи (см. В.Шапочников, В.Колесов, и другие) расценивают процесс вульгаризации речи как прямое отражение и продолжение вульгаризации поведения. Как правило, политики наиболее креативны в той области языка, которую обычно называют канцеляритом. Но, как показывает жизнь, в период крупных перемен политики оставляют спокойную заводь канцеля-

ризмов и говорят на том языке, который соответствует новым, активно формируемым ими отношениям. В интервью газете «Форбс» один из авторов удивительной российской реформы, Чубайс, откровенно признался: *«У нас был выбор между криминальным переходом к рыночной экономике и гражданской войной»* (Литературная газета, 20.10.00). То есть героизм и самопожертвование реформаторов заключалось в том, что, дабы уберечь народ от кровавых столкновений, реформаторы, приватизировавшие созданное этим народом, позволили ему тихо и спокойно угасать на нищенскую пенсию. Очевидно, руководствуясь программой действий, столь умело озвученной А.Чубайсом в западной прессе, российские политики осваивают русский язык в основном в плоскости уголовного жаргона (Т.Шкапенко, Ф.Хюбнер). Его удельный вес в речевой активности политиков необычайно высок. Ерничество и стеб были своеобразной культурной самообороной. Феномен ерничества – стеб – род интеллектуального ерничества, состоящий в снижении символов через демонстративное использование их в пародийном контексте. Хотя к канцеляризмам политикам также приходится прибегать, так как данный лексический пласт всегда представлял собой незаменимое средство придавать имидж конкретики отсутствию реальной деловой активности, что всегда отмечается наблюдательным читателем и слушателем, вызывая негативное отношение к говорящему и, как правило, смеховую реакцию.

Кроме того, политикам нет равных в области нонсенс-афористики, в связи с чем их высказывания участвуют в необъявленных конкурсах средств массовой информации на афоризмы, наиболее «далекие от мысли». *«Бандитов надо «мочить» везде, где за ними тянется кровавый след, во всех сортирах, независимо от места расположения»* (Б.Немцов). Вообще разговор на фене становится нормативным тоном: *«И я воспринимаю это как накат»* (В.Путин), *«Президент, как всегда, загасил премьера»* (М.Леонтьев). Вот она, афористика без мысли: *«Я иду с ним на короткий контакт. И он идет со мной на короткий контакт. А два коротких контакта дают не замыкание, а хорошую отдачу»* (Б.Ельцин); *«Это очень такой важный момент. Ну, это мое мнение. Я так считаю. Думаю, здесь надо. Один плюс-минус роли не играет. Абсолютно никакой. Только в положительном плане»* (В.Черномырдин о взаимоотношениях с МВФ); *«Мэр Москвы обладает многими выдающимися качествами. Не хотелось бы гово-*

рить об этом за глаза. Лучше б в лицо» (С.Ястржембский); *«Вопрос поставлен настолько в лоб, что на него нельзя ответить»* (Е.Строев)*.

Вульгаризация как обобщение многих существенных черт современного устного речетворчества явилась следствием тех глубинных процессов, которые характеризуют общество в целом. Вступление его в эру «постмодернизма», которая, по мнению М.Эпштейна, достигла сегодня наивысшей точки, обнаружило «интеллектуальную усталость XX века от самого себя...», что во многом объясняет «пародийный» характер современного политического дискурса, в том числе, скорее отсутствие всякого стиля, чем признание этого стиля, существование особого «типа культуры как образа жизни, как стиля». Но оправдывает ли это небрежное, более того, пренебрежительное отношение к языку со стороны тех, кого мы считаем политической элитой? Безусловно, нет.

Не связывая напрямую социо- и лингвистические движения, мы не можем отрицать возникновение особого языкового страта в виде престижной формы спонтанной повседневной полуофициальной коммуникации.

Как отмечают исследователи, значительная часть политического дискурса на русском языке характеризуется «прокурорской позицией» – жесткостью оценок поведения противников, негативной экспрессивностью по отношению к тому, с чем автор не согласен. На фоне явно ощущаемой агрессивности, нетерпимости к противнику, к журналисту, задающему вопрос, прослеживается скованность и закомплексованность говорящего, объясняемая неустойчивостью политической позиции, боязнью потерять имидж, созданный нелегким трудом.

Как отмечает В.В.Колесов, происходит «утрата внутреннего лада между человеком и его языком. Восстанавливая его, подстраиваясь под становящийся нормой жаргон, личность неминуемо изменяется в силу обратной связи: мы говорим, как думаем, и думаем, как говорим» [Колесов 2001: 94].

С одной стороны, авторы речевых фрагментов демонстрируют раскрепощенность, свободу речевого поведения, которая выражается в насыщении речи экспрессией за счет введения разговорных,

* Использованы примеры из книги «Русский «тусовочный» как иностранный» [2003], а также примеры из архива автора.

просторечных, часто жаргонных выражений. Речевой материал часто фиксируется как «пограничный», люмпенизированный и криминализированный, отражающий нормы отношений в обществе, «моделью которых послужили отношения лагеря, зоны» [Колесов 2001]. Действует антиномия логико-рационального и эмоционально-экспрессивного. Тенденция ясна: боязнь невыразиться, стремление любым способом закрепить высказываемое. Свидетельством подобного процесса служит огрубление речи, «житейская идеология», речетворчество на уровне языковой игры: *Какие тут прогнозы? Надо кое-кому врезать как следует, всех поставить на место, привлечь людей, поставить хозяина – и вперед!* (В.Черномырдин); *Шмаков вечно боится за девственность пролетариата, а мы свое дело делаем и будем делать* (В.Анпилов).

С другой стороны, отмечаются такие элементы характеристики речи, как ее эвфемизация, перифрастичность, цитатность, излишняя метафоричность: *Старая истина гласит: если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно* (С.Кириенко). *Дело в том, что, как я уже неоднократно говорил, страна беременна конституционной реформой* (О.Морозов). *Не будем понимать вихрь в стакане воды* (А.Лукашенко). В большинстве случаев цитатность, прецедентные тексты (как элемент субкультуры) используются неумело, исчезает смысл символических слов, что ведет к отсутствию конструктивной мотивированности, к информативной ущербности и свидетельствует, во многих случаях, об интеллектуальной бедности говорящего, как утверждает Ю.Поляков. Складывается впечатление, что стремление всякий раз подкрепить свой поступок цитатой – удобная форма освободиться от личной ответственности. Что-то вроде коллективной безответственности. И «как бы» недоверия к читателю, перестраховки или знака гражданской робости (Н.Комлев). Цитатность (в том числе отсылка к референтным, аллюзивным текстам) связывается с ретроспективностью и репродуктивностью современной культуры, её вторичностью. Цитатность как факт современного сознания – следствие отсутствия конструктивной мотивации, при котором речь, особенно СМИ, становится самодовлеющим плетением словес (В.Шапошников). Равновесие логико-рационального и эмоционально-экспрессивного в текстах устных выступлений явно нарушается в сторону второго.

Частое использование конъюнктурных штампов, соединение однозначных слов-понятий, как-то: *вливание инвестиций*, а также

усиленное именование, устранение субъекта, обезличивание ведет к дублированию, к демонстрации отсутствия творческого мышления и – в результате – потере смысла высказывания. Личное отношение к высказываемому часто оказывается важнее смысла, что выражается в «косноязычии власти» (В. Колесов), политическом пустословии.

Язык стремится принять ситуацию как данность, отсутствие нормы – как саму норму. Но подобная «свобода слова» расценивается обществом как имеющая временный характер. «Пока не поздно, нужно собирать и издавать произведения «смеховой культуры», которая была оборотной стороной тоталитарной эпохи. <...> Мудрый смех, утверждавший приоритет человеческой индивидуальности над коллективным идиотизмом», – так завершает один из своих очерков Л. Столович [Столович 1997: 230], мнение которого для нас очень важно.

Литература

- Колесов В.* Русская речь. Вчера, сегодня, завтра. – СПб., 2001.
Мокиенко В. Депатетизация патетизмов в современном тексте // Тез. докладов. Русское художественное слово. – СПб., 1996.
Поляков Ю. Порнокрапия: Сб. статей. – М., 2004.
Столович Л. Смех против тоталитарной системы // Звезда. – 1997. – № 7.
Шапошников В. Русская речь 1990-х. – СПб., 1998.
Шкапенко Т., Хюбнер Ф. Русский «тусовочный» как иностранный. – Ростов-на-Дону, 2003.
Эшттейн М. Идеология и язык // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6.
© Волчкова И.М., 2005

**Н.А.Купина
Екатеринбург**

Живые идеологические процессы и проблемы культуры речи

«Культура речи – это такой набор и такая организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» [Культура русской речи 1996: 13]. Специфика предложенного понимания культуры речи характеризуется отходом от атомарности (концентрации внимания на отдельных речевых ошибках и погрешностях), поворотом к авторскому произведению речи, которое рассматривается в единстве целенаправленно отобранных и определенным образом организованных элементов

языка (1); в преодолении лингвистического нормоцентризма: языковые нормы стоят в одном ряду с этическими и коммуникативными (2); в признании коммуникативного целеполагания организационным стержнем культурно-речевых механизмов (3).

В соответствии с предложенным определением выделяются три аспекта культуры речи: нормативный, этический и коммуникативный [Ширяев 1998: 15-17]. Нам представляется, что этот ряд можно продолжить, опираясь на идею Е.Н.Ширяева о современном состоянии русского языка, которое, по его словам, «определяется двумя взаимосвязанными характеристиками. С одной стороны, по сравнению с тоталитарно-административной эпохой, когда русский язык находился в железных руках новояза, происходит демократизация языка, преодоление новояза <...>. С другой стороны, демократизация языка перерастает в своеобразную языковую вседозволенность со всеми ее негативными процессами» [Ширяев 2000а: 13-14]. Из данного тезиса следует, что культурное состояние языка может регулироваться языковой политикой [Беликов, Крысин 2001: 13, 263]. Действительно, что означает «железная рука новояза» для культуры речи? Прежде всего – жесткую регламентированность отбора средств языка, способов речевого выражения мысли. Функционирование всех (без исключения) текстов книжных стилей речи в эпоху тоталитаризма стало невозможным без идеологически маркированной составляющей. Идеологизация, хотя и в значительно меньшей степени, охватила речь разговорную. Так, коммуникативные партнеры контролировали идеологическую правильность и уместность собственной речи в том случае, если бытовой разговор велся в присутствии молчащего наблюдателя. Например, жильцы коммунальной квартиры могли предполагать, что такой наблюдатель окажется за стеной: угроза доноса заставляла участников разговора переключаться на идеологический регистр.

Операционной единицей мышления стала идеологема как навязанная к обязательному употреблению догма. В узком смысле идеологема – это вербальная единица, непосредственно связанная с идеологическим денотатом (*социализм, оппозиционный*) или получившая устойчивую идеологическую замешанную на лжи добавку [Скляревская 1995: 68], фиксируемую нормативными толковыми словарями (*шатание, разъяснительная работа*). Ключевыми становились прежде всего идеологемы, семантика которых отражала понятия коммунистической доктрины (*диктатура пролетариата,*

буржуазный, партия, демократический централизм и др.). Эта группа идеологем составляла ядро концептосферы тоталитарного языка советской эпохи. Для построения текстов дня отбирались также слова и словосочетания продленного момента (*троцкистский прихвостень, развитой социализм, ликвидировать как класс*). Таким образом, основанная на идеологических предписаниях система регламентаций прежде всего затрагивала принципы отбора языковых единиц.

Идеологема могла функционировать лишь в лексически и стилистически соответствующем контексте. Для идеологем сакрализованных низкий контекст оценивался как недопустимый, а нейтральный и высокий – как нормативный. Идеологемы, входившие, например, в сферы «вражеское», «антисоветское», допускали сочетаемость с элементами стилистически сниженного типа. Система регламентаций затрагивала принципы построения, организации идеологически правильного высказывания, причем идеологизация проникала во все семантические сферы языка [Купина 1995: 15-43] и становилась одним из критериев правильности.

Единонаправленность языковой политики выдвигала на первый план общественного восприятия идеологически правильные апологетические тексты влияния. Именно такие тексты (например, сталинская конституция, «Краткий курс ВКП», «Стихи о советском паспорте» В.Маяковского) служили культурно-речевыми образцами. В учебных пособиях по русскому языку как родному и как иностранному в качестве дидактического материала использовались преимущественно идеологически правильные тексты, служившие базовой основой формирования вкуса как категории речевой культуры [Костомаров 1999: 29-30].

В соответствии с идеологическим критерием и учётом «злободневности» речь регулярно оценивалась с точки зрения соблюдения идеологических норм (идеологически правильная / неправильная речь), с точки зрения соблюдения коммуникативных качеств речи (идеологически точная/неточная, ясная/сложная, недоступная для адресата, чистая/идейно чуждая). Таким образом, идеологический критерий был обязательным при интерпретации хорошей речи [Хорошая речь 2001].

Незыблемость «фундаментального лексикона» [Добренко 1990] обеспечивала устойчивость идеологической парадигматики и, следовательно, стабильность идеологических норм; изменения линии

партии, сопровождающиеся волнами идеологизации, стимулировали динамику норм этого типа.

Идеологически правильное речевое поведение поддерживалось стереотипами. Идеологическая стереотипность освобождала носителя языка от необходимости аналитического восприятия смысла высказывания, обеспечивала высокую степень предсказуемости речевых реакций, вырабатывала примитивные представления о должном и позволительном в речевом общении, а также формировала взгляд изнутри на качества образцового текста.

Стереотипы идеологически правильного речевого поведения вытеснили многие стереотипы русского национального поведения. Произошло значительное отчуждение советской речевой культуры от речевой культуры европейской. Маркированное идеологическими стереотипами речевое поведение советских людей, говорящих по-русски, в диалоге культур [Прохоров 1999: 21] воспринималось как «чужое», а слова *русский*, *советский* в контексте межкультурной коммуникации осознавались как полные синонимы.

Внутри тоталитарной культуры идеологический критерий становится ведущим в системе культурно-речевых оценок отбора, сочетаемости единиц, построения высказывания и текста.

Рассмотрим с точки зрения соответствия идеологическим предписаниям речь М.А.Горького на Первом съезде советских писателей 17 августа 1934 г. [Горький 1953: 296-297].

На уровне отбора элементов наблюдается тенденция к предпочтению единиц наиболее стабильной ядерной сферы системы идеологем. Так, слово-идеологема *пролетариат* употребляется в тексте, состоящем из 225 знаменательных слов, 4 раза. Значимость идеологического смысла подчеркивается синонимическими параллелями: *трудящиеся*, *рабочие* (по одному употреблению). Напротив, слова, которые должны были бы составить тематический центр текста, обладают меньшей активностью: *литература* (3 употребления); *литераторы* (3 употребления – из них 2 в составе номенклатурной номинации *съезд литераторов Союза советских социалистических республик*); *писатели* (1 употребление в составе номенклатурной номинации *Оргкомитет Союза писателей*), *творческий* (1 употребление). Эти слова опираются на конкретную поддержку идеологических партнеров и, получая семантические приращения, идеологизируются. В тексте речи Горького всего 10 абзацев. Из них 5 начинается с местоимения *мы*; один абзац – с местоименной формы

наша: Наша цель – организовать литературу как единую, культурно-революционную силу. Приведенное высказывание-абзац прямолинейно наделяет словесное искусство идеологической функцией. Местоимение замещает словосочетание *советские писатели* – то есть ‘литераторы, призванные пролетариатом и партией отстаивать в своих произведениях идеи победившей революции, приближать гибель буржуазного мира’. Именно такая добавка сопровождает смысл местоименных форм *мы* (6 употреблений), *нам* (2 употребления), *наш* (7 употреблений). Форма *наш* благодаря наличию семы притяжательности антропологизирует идеологическую добавку, делает ее личностной, а идеологическую ложь – убедительной. Все формы множественного числа поддерживают идеологемы единения и коллективизма. Ср.: *Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм – революционного пролетариата <...>.*

Единение советских писателей (*съезд, союз, мы*) возможно лишь на базе единения писателей и пролетариата, писателей и партии, писателей и вождя. Такое единство мыслится как условие существования литературы: *Мы (писатели) выступаем в стране, где пролетариат и крестьянство, руководимые партией Ленина, завоевали право на развитие всех способностей и дарований своих...*

Процесс идеологизации деформирует не только этические нормы, но и коммуникативную ситуацию. Коммуникация стремится к идеологическому результату: цель говорящего – убедить адресата в партийности и идейности своей позиции. Адресат – это прежде всего партия и ее вождь, позволившие писателям объединиться в союз, определившие направление литературной деятельности: *Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина.* Нетрудно заметить, что гиперболическое восхваление здравствующего вождя противоречит правилам (нормам) русской национальной этики, однако соответствует этическим нормам тоталитарной речевой культуры, отличающейся ролевой иерархизированностью и допускающей панегирические высказывания, адресованные лицу, занимающему вершинную ролевую позицию. Инициальные высказывания, подобные приведенному, прогнозировали определенную реакцию адресата подтекстного интенционального диалога [Ширяев 2000б: 176] с вождем.

Идея коллективистского начала всякой деятельности, в том числе литературной, поддерживает избранный Горьким «мы»-стиль изложения. В тексте лишь один раз употребляется местоименная форма *я*. Это позволяет автору соблюсти ритуал скромности, исключить впечатление индивидуалистичности интерпретации, оперировать лишь устоявшимися идеологическими структурами. Образ автора речи формируется в дозволенных пролетарской и партийной этикой границах. Ролевой статус [Крысин 2003: 21], обозначенный в начальном абзаце речи (...я – по праву председателя Оргкомитета Союза писателей – разрешаю себе сказать несколько слов о смысле и значении нашего союза), трансформируется: писатель добровольно берет на себя роль идеолога – проводника и защитника идей революционного пролетариата, партии, вождя. Идейность и партийность – неперменные качества устной публичной речи советского лидера.

Речь Горького проникнута революционным пафосом, боевитостью, непримиримостью ко всему буржуазному. Так, в качестве контекстных партнеров слова-идеологемы *буржуазия* используются эмоционально-экспрессивно маркированные единицы, включенные в однородные ряды: *Мы выступаем в эпоху всеобщего одичания, озверения и отчаяния буржуазии, – отчаяния, вызванного ощущением ее идеологического бессилия, ее социального банкротства.*

Апологетический текст речи Горького оценивался современниками как образцовый: он отличался идеологической правильностью и выверенностью, точностью оформления идеологической позиции, ясностью (недвусмысленностью формулировок и их доступностью), непримиримой критикой чуждых идеологических предпочтений и, следовательно, идеологической чистотой, а также лаконизмом и выразительностью. Речь знаменитого писателя демонстрирует влияние процесса идеологизации языка на культуру речи: идеологический принцип, лежащий в основе организации текста, коренным образом меняет представление о должном, уместном и позволительном, подчиняет систему коммуникативных качеств речи принципу идеологической целесообразности.

Очевидное подчинение коммуникативных задач и этических норм идеологическому диктату вызывало протест, который проявлялся в разных формах языкового сопротивления [Купина 1999]. Языковое сопротивление, в свою очередь, усиливало идеологиче-

ский контроль, оправдывало существование идеологического аспекта культуры речи.

Вернемся к рассуждениям Е.Н.Ширяева о культурном облике современного русского языка. Из этих рассуждений следует, что культуру речи в постсоветский период нельзя оценивать вне связи с периодом тоталитарным, ибо демократизация языка – это и «преодоление новояза», и, одновременно, «вседозволенность со всеми ее негативными процессами». «Преодоление новояза» связано с процессом деидеологизации речи, несущим избавление от искусственных идеологических добавок и деформаций. Этот процесс, приводящий к дестереотипизации общественного сознания, проходит на наших глазах. Как влияет он на культуру речи? Чем компенсируется утрата идеологических опор? Ответить на эти вопросы можно с помощью включения в предложенный Е.Н.Ширяевым трехчленный ряд аспектов культуры речи аспекта идеологического. Мы обратим внимание на некоторые последствия процесса деидеологизации, важные для культуры речи.

1. Деидеологизация развивается как отторжение советской системы ценностей и признание системы традиционных русских ценностей. Это способствует возрождению собственно национальных культурных традиций [Прохоров, Стернин 2002: 39], или правил речевого поведения, одобряемых в дореволюционной России. В постперестроечное время разрушилось свойственное тоталитарному сознанию деформированное представление времени, движение которого осуществляется относительно великой революции (дореволюционное время – революция 1917 г. – продолжающаяся революционная эпоха – коммунистическое будущее). Миф о революции, перевернувшей время вспять, не актуален для современного бытового сознания, способного охватить и глубокую ретроспекцию, и реальное настоящее (прогнозирование реального будущего пока затруднено). Реальное видение исторического времени облегчает естественное обращение носителей современного русского языка к историческим культурно-речевым традициям. Возрождение прерванных традиций (при наличии упрямства советских речекультурных традиций) требует поддержки со стороны школы и других влиятельных институтов [Карасик 2000: 299-343].

2. Деидеологизация в условиях открытого общества развивается как «признание другой системы ценностей» [Бойм 2002: 276], возникающее, в частности, на фоне влияния инокультурных моделей

речевого поведения. Происходит реорганизация ценностных, в том числе речеповеденческих предпочтений, размывание культурно-речевого русского типа. Для поддержки последнего желательно тиражирование (например, с помощью средств массовой информации) авторитетных национальных культурно-речевых моделей поведения.

3. Следствие деидеологизации – перестройка аксиологического сознания: свойственная тоталитарной картине мира аксиологическая бинарность конкурирует с аксиологическим плюрализмом. Этот процесс благотворно влияет на речь, способствует совершенствованию ее содержательности и логичности, стимулирует свободу варьирования форм речевого выражения.

4. Десакрализация ключевых идеологем тоталитарного языка сопровождается погружением этих идеологем в профанную контекстную среду. Такое соединение сакрального и профанного начал приводит к карнавализации [Бахтин 1965: 35, 180] речевого существования. Активизируются разные формы языковой игры, свидетельствующие о развитии творческих речевых способностей носителей современного русского языка; усиливается индивидуально-авторское начало речи.

В то же время карнавал имеет негативные следствия для культуры речи:

- установка на эффект коммуникативного удовольствия ослабляет контроль за правильностью речи; употребление нелитературных элементов остается незамеченным, т.е. происходит переоценка ведущих коммуникативных качеств речи (правильность не всегда считается обязательным свойством хорошей речи);

- карнавализация становится почвой для формирования идеологического цинизма (пренебрежительного отношения к идеологии как системе идей). Это приводит к обеднению содержательности речи, утрате ментально значимой духовной составляющей речевого взаимодействия;

- карнавализация способствует сдвигам в нормативной стилистической сочетаемости, нарушению стилистической гармонии, приводит к возникновению ложной образности.

5. Деидеологизация сопровождается перестройкой идеологического фонда современного русского языка: перемещением идеологем советского времени в пассивный запас языка [Склярская 2001: 186]; переходом части идеологем в тот или иной политиче-

ский субъязык; переработка тоталитарных идеологем в новых социальных условиях. Это приводит к неупорядоченности идеологического пространства и – соответственно – к идеологической растерянности носителя современного русского языка. Высказывания и тексты нашего времени нередко характеризуются идеологической неуместностью, неясностью, эклектизмом.

6. Обвальность процесса деидеологизации обострила идеологический скептицизм, нежелание осваивать новоидеологемы, «спускаемые сверху». Новые волны идеологизации пока не обладают достаточной силой влияния на языковое сознание. Вместе с тем в идеологической сфере коммуникативного пространства наблюдаются изменения, существенные для речевой культуры. К ним можно отнести процесс прагматизации идеологической семантики, проявляющий себя, в частности, в приращениях типа ‘выгодный’, ‘прибыльный’, ‘имеющий денежное выражение’ (*рынок идей, рынок лидеров, партия халявы; политическая выгода* и др.). Прагматизация идеологии, не свойственная русскому национальному образу мира, влияет на культурное состояние языка. Идеологический прагматизм размывает ментальную специфику русской речи.

7. Процесс деидеологизации затронул парадигму текстов влияния. На периферию культурного восприятия постепенно отошли идеологически образцовые тексты всех функциональных разновидностей; упал интерес и к текстам протеста, актуальность которых ощущалась в период перестройки. Идеологическая усталость носителей современного русского языка способствует успеху массовой литературы в ее многочисленных жанровых разновидностях. Книгу постепенно вытесняют зрелищные формы массового искусства. Утрачивается литературоцентричность русской культуры, следовательно, снижается уровень общей культуры наших современников.

8. Парадигмы прецедентных текстов сокращаются: прецедентные идеологические знаки уходят из активного употребления. Исключения составляют случаи их игрового использования – преимущественно в низкой культурной среде. Опознаваемость этих знаков уменьшается, т.к. молодые люди уже не знакомы с соответствующими текстовыми источниками. По нашим наблюдениям, новым источником прецедентных текстов становится реклама, не способствующая совершенствованию речевой культуры, но поддерживающая прагматизацию языкового сознания.

9. Языковое существование советского времени было наполнено ритуалами, утверждающими торжество официальной идеологии (прием в пионеры, собрание, политзанятие, съезд партии, праздничные демонстрации). Ритуалы не только отшлифовывали формулы идеологически правильного речевого поведения, но и воспитывали человека предсказуемого, верного традициям, умеющего вести себя по сценарию, не выбивающегося из общего ряда. Процесс деритуализации сократил количество обязательно реализуемых общественно значимых культурных сценариев, программирующих одобряемые речеповеденческие действия. Образовались культурные лакуны, обусловившие рост массового чувства речевой неудовлетворенности. Будучи принадлежностью коллектива, советский человек привык к общественной значимости речевой деятельности. Деритуализация резко уменьшила спрос на освоенные в советское время формы речевого поведения по сценарию, сделала коммуникативно ущербными носителей тоталитарной речевой культуры.

Попытаемся фрагментарно проследить взаимодействие лингвоидеологического и культурно-речевого начал, используя подробные ответы А.И.Солженицына на вопросы калужан (встреча состоялась в 1998 г. во время краткого пребывания писателя в Калуге). Ответ на каждый вопрос представляет собой развернутое мнение писателя по одной из ключевых проблем современности [Общая газета 1998]. С одной стороны, конкретный ответ Солженицына – это диалогическая реплика-реакция; с другой стороны, – завершенная содержательная и модальная целостность, то есть текст, для которого характерна форма я-изложения. Коммуникативная рамка в целом отражает обретенную свободу устного публичного сообщения.

Солженицын сам определяет свою статусную ролевую позицию.

– *Что бы вы сделали, будь вы самим президентом России?*

– *Я – писатель и быть президентом никогда не собирался. Не нормально даже то, что я столько говорю о политике.*

В новых социальных условиях стремление оставаться самим собой выглядит естественно. Автор речи предстает в диалоге не только как писатель, но и как мыслитель, моралист, а также как человек, на долю которого выпали жизненные потрясения. *Я говорил старшеклассникам: вы кончаете школу во враждебных условиях. Все сделано для того, чтобы испоганить вашу душу, а вас рас-*

топтать. Но если вы будете держаться за свой характер, вы все это преодолеете (ролевая позиция моралиста); Но в течение 70 коммунистических лет у нас уничтожали всякого, кто хоть немного понимал и думал больше других <...> (ролевая позиция мыслителя); Я – с фронта, только что вывел из окружения батарею; Мне дали восемь лет, а могли дать сколько угодно; Я 55 лет жил в России, принципиально отказываясь от Москвы и крупных городов; Когда меня выслали, мы с женой жили невольно за границей; Когда я возвращался, мне много проектов предлагали (событийный ряд, отражающий мену соединительных ролей незаурядного человека, не желающего подчиняться навязанным жизненным схемам).

Адресат речи укрупняется: это не только присутствующие на встрече с писателем калужане, не только человек, задавший отдельный вопрос, но и весь народ.

Слово-идеологема *народ* – одно из ключевых у Солженицына, однако оно было и ключевой идеологемой тоталитарного языка. Именно поэтому автор, стремясь очистить слово от искусственных добавок, неоднократно обращается к истории, ищет в прошлом корни народных традиций: *...у русского народа было это свойство самоорганизовываться. И в XVI веке, и в Смуте мы проявили его – без бояр, без царя, без вождей. Сам народ от деревни к деревне, от города к городу собирался, чтобы спасти Россию, сам установил народную власть.*

Оперируя собственно русскими идеологемами, Солженицын добивается точности и доступности их толкования: *Надо самоорганизовываться, строить самоуправление, земство – замечательное понятие, происходящее от слова «земля», «земляки», от помощи друг другу, чтобы жизнь человека зависела от тех, с кем он рядом живет на земле.*

От идеологом тоталитарной культуры Солженицын решительно отказывается, подчеркивает их принадлежность советскому субязыку, а не языку и ментальности русского народа. Отвечая на один из вопросов, он дает понять, что автоматизм восприятия советских стереотипов должен быть заменен поиском собственно национальных понятий в обновленных формулировках, но сам наталкивается на языковые препятствия:

– Какая нужна организационно-политическая работа, чтобы противостоять власти денег?

<...> *Надо говорить не об «организационно-политической работе» (термин большевистского времени), а о народном самопроизвольном движении.*

Вряд ли выражение *народное самопроизвольное движение* можно отнести к речевым находкам писателя. Стремление уйти от штампа новояза, обновить языковую форму обозначения важного понятия, актуального для современной жизни, не всегда удается даже мастеру слова, который не замечает лексической неточности (*самопроизвольный* – ‘возникающий сам собой, стихийно, нерациональный’), громоздкости, невыразительности собственных идеологических замен и включает их в основополагающие тезисы. Например: *Только народное самопроизвольное движение и может сплотить ее (интеллигенцию) в деятельную силу.*

Отношение к обозначаемому и слову, несущему идеологический смысл, нередко сливаются. Причем отторжение идеологемы сопровождается аксиологическим максимализмом: *Я ко всем до единой партии отношусь отрицательно; Всякая партия антинародна; А партия Жириновского <...> партия переметных сум, партия бессовестности и обмана.*

В отдельных случаях Солженицын погружает идеологему в низкую контекстную среду, способствующую мене коннотаций: *А то, что наши власти делают с Дальним Востоком, это разве не для того, чтобы он куда-нибудь, к чертовой матери, отделился, пропал, и не думать больше о нем.*

Солженицын видит свое назначение в том, чтобы указать народу путь праведный. Он ощущает себя выразителем правды народной, абсолютной истины: *Когда я говорю истину, мне неважно, кто ее может использовать и каким образом.* Нежелательное для реализации точности речи смещение сочетаемости (нормативная синтагма – *говорить правду*) акцентирует отличие между русскими концептами *правда / истина* [Шмелев 2002: 185-199] и тем самым укрепляет позицию провозвестника, моралиста, стоящего выше разных правд.

Отталкиваясь от общих этических категорий, Солженицын использует универсальные оппозиции, стараясь подчеркнуть личностную значимость нравственного. Внутреннее ощущение этических принципов и норм должно, как ему представляется, вытеснить из сознания человека нравственного, наделенного чувством справедливости, образы субъектов и структур политического влияния,

стоящих вне этических норм. Цепочка однородных членов предложения, которое приводится ниже, с обозначениями политических структур и политиков, расположена на линии категорических отрицаний, вытесняющих все политическое из этического пространства, в центре которого находится человек. Таким образом, происходит субституция обратная той, которая была характерна для языка тоталитарного типа: замена этического политическим переходит в замену политического этическим. Механизм идеологизации остается прежним: *Линия, разграничивающая добро и зло, проходит не между партиями: вот эта партия – добро, а эта – зло. И не между кандидатами в президенты. Не между странами и не между системами. Она проходит по сердцу каждого человека, в котором есть элементы добра и элементы зла...*

Опираясь на принцип простого слова, делающий речь ясной, доступной для понимания, писатель-моралист пытается предложить собственные речевые формулировки жизненных предписаний (*жить не по лжи – всегда современно*), пропустить их через шкалу времени и логически обосновать: *Жить по лжи – значит загубить душу свою и своих близких, своих детей. Только формула жизни не по лжи меняется. Тогда я предлагал не поддерживать казенную ложь, которая нам все уши продавала <> Сегодня формула лжи уже другая. Глядя, как лгут по телевидению, как лгут газеты, умейте на это ответить, не повторяя лжи чужой и не сочиняя лжи своей. Ложь – разрушение нашей души. Жить не по лжи – это закон всей человеческой истории, а не того или иного момента.* Императивность, наставительность, бескомпромиссность, высокая степень обобщения – все это свидетельствует о стремлении утвердить всеобщее этическое правило в новой формулировке, определить путь к формулированию национальной идеологии, не зависящей от времени (*закон всей человеческой истории, а не того или иного момента*), идеологии, центром которой должна стать система идей этических, а не политических (*казенная ложь*) идеологии, сохраняющей душу человека и его духовное начало. Так реализуется качество чистоты помыслов, действий, речи в понимании Солженицына.

Анализ показывает, что даже речь убежденного борца с коммунистическим режимом не лишена идеологических стереотипов. Сам Солженицын признается, например, что в молодости *Ленина он боготворил, увлекался диалектическим и историческим мате-*

риализмом, вместе с другом составили... резолюцию № 1 – как бы создали партию ленинского типа. Однако и в 80 лет писатель-антикоммунист опирается в своих рассуждениях на некоторые идеологические штампы: ...нами правит не президент, а олигархия. Те двести человек в тени, одни из которых с миллиардами, а другие на важных постах. Они сговорятся и заставят избрать президентом того, кого хотят <...> мы в руках олигархии административной, законодательной, финансовой. И пока мы не вырвемся из этих пут, не возьмем управление в свои руки, ничего не изменится.

Стереотипы поиска врага, заговора, власти капитала, насильственного захвата власти народом, даже при наличии некоторых лексических замен (например, не буржуазия, а олигархи, не взять власть в свои руки, а взять управление в свои руки) создают впечатление штампованности речи [Ширяев 1997: 19], то есть нарушают ее выразительность.

Такие примеры свидетельствуют о невозможности одномоментного исчезновения расхожих мыслительных и собственно речевых стереотипов и – одновременно – о незавершенности процесса деидеологизации современного языкового сознания.

Всемирно известный писатель, нобелевский лауреат осознает изменение меры влияния собственных текстов в России в условиях не востребованности сопротивления всему официальному: *Когда я боролся с коммунистическим режимом, каждое мое слово гремело <...> В 1990 году я прислал статью «Как обустроить Россию». Еще не поздно было выполнить эту государственную программу. Ее напечатали 27-миллионным тиражом и выбросили. Перед своим возвращением в 1994 году я написал «Русский вопрос к концу XX века», где говорил о том, что надо делать. Книга не распространялась. Когда я выступал после возвращения по телевидению, я думал, что это хоть немного повлияет на власть. Нет, как горох о бетонную стену.*

Ослабление собственного влияния он прямо связывает и с человеческим фактором: *Но что бы ты ни говорил по телевизору, как бы ни взволновал людей, через три часа они уже забыли об этом, поглощены другими новостями.*

Как видим, речевые поиски Солженицына отражают общие тенденции культурно-речевых обретений и утрат, обусловленных деидеологизацией языка, связанной с крушением тоталитарного режи-

ма, ослаблением и неупорядочением языковой государственной политики. Речевой опыт Солженицына свидетельствует также о новых попытках идеологизации языка, основанной на механизмах этических законов.

Продолжающаяся демократизация российского общества [Ширяев 1997: 17] сопровождается процессом деидеологизации языка, который по своей силе во много раз превосходит вялый процесс идеологизации. Последнему препятствуют: распад характерных для тоталитарной культуры идеологических норм; прагматизация общественного языкового сознания; проявление скептицизма, растерянности, усталости, цинизма как существенных признаков идеологического речевого поведения. Высокая степень языковой свободы, обусловившей возможности возрождения национальных речевых традиций, естественную реализацию коммуникативной способности говорящих, открывшей перспективы широкой вариативности языковых средств, формирует новый образ русской речевой культуры начала XXI века.

Литература

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социоллингвистика. – М., 2001.

Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. – М., 2002.

Горький А.М. Вступительная речь на открытии Первого всесоюзного съезда советских писателей 17 августа 1994 года / Горький А.М. Собр. соч.: в 30 т. – М., 1953. – Т. 27.

Добренько Е. Фундаментальный лексикон: Литература позднего сталинизма // Новый мир. – 1990. – № 2.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002.

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. Изд. 3-е. – СПб, 1999.

Крысин Л.П. Проблемы социальной и функциональной дифференциации языка: Введение // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л.П.Крысин. – М., 2003.

Культура русской речи и эффективность общения / Отв. ред. Л.К.Граудина и Е.Н.Ширяев. – М., 1996.

Кутина Н.А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. Екатеринбург – Пермь, 1995.

Кутина Н.А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. – Екатеринбург, 1999.

Общая газета 4-10 июня 1998. – № 22 (252).

Прохоров Ю.Е. Национально-культурные стереотипы речевого общения в диалоге культур // Русский язык в контексте культуры / Отв. ред. Н.А.Купина. – Екатеринбург, 1999.

Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русское коммуникативное поведение. – М., 2002.

Скляревская Г.Н. Прагматика и лексикография // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. – М., 1995.

Скляревская Г.Н. Слово в изменяющемся мире: Русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы // Исследования по славянским языкам. – 2001. 6. Корейская ассоциация славистов. Сеул, 2001.

Хорошая речь / Под ред. М.А.Кормилицыной и О.Б.Сиротининой. – Саратов, 2001.

Ширяев Е.Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках // Культурно-речевая ситуация в современной России / Отв. ред. Н.А.Купина. – Екатеринбург, 2000 а.

Ширяев Е.Н. Структура интенционального диалога в разговорном языке // Активные языковые процессы конца XX века. Тезисы международной конференции. IV Шмелевские чтения, 23-25 февраля 2000 г. – М., 2000 б.

Ширяев Е.Н. Общие процессы в развитии русского языка в 1945-1995 гг. // Русский язык / Под ред. Е.Н.Ширяева. – Орел, 1995.

Ширяев Е.Н. Современная теоретическая концепция культуры речи // Культура русской речи / Отв. ред. Л.К.Граудина и Е.Н.Ширяев. – М., 1998.

Шмелев Д.Н. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. – М., 2002.

© Купина Н.А., 2005

О.А.Михайлова
Екатеринбург

Вербализация региональной идентичности в культурном пространстве современного уральского города

Категория идентичности, т.е. субъективное переживание человеком своей индивидуальности является «средством объединения с одними и дистанцирования от других» [Рябов 2001: 34], при этом противопоставление *свой/чужой* создается не только объективными данными, но и их субъективным отражением в сознании. В основу региональной идентичности положен территориально-географический, или земляческий, фактор в соединении с общей моделью концептуализации бытия. В структуре феномена региональной идентичности, кроме когнитивного компонента (знание о собственном регионе), выделяются оценочный (условно говоря – чувство регионального достоинства) и волевой (представление о региональных интересах, которое имплицитно содержит в себе готовность действовать в направлении их реализации). Все компо-

ненты региональной идентичности имеют свою символическую составляющую, создавая своеобразный феномен символической интерсубъективности [Новикова 1998]. У современных жителей Урала в значительной степени развито чувство принадлежности к Уральскому региону. Об этом свидетельствуют данные статистических сборников «Российские регионы после выборов-96» (1997), «Регионы России» (1999), результаты этносоциологического опроса 1998 г.

Региональная идентичность современных жителей Урала – уральцев – формируется под влиянием мифологем, которые создают особый культурный ландшафт как среду обитания повседневности. Собранные в городе Екатеринбурге материалы показывают, что рефлексы предшествующего культурного опыта, сохраняясь в коллективном подсознании, могут оживать в номинативной деятельности, и существует несколько мифологических линий, которые имеют разную историческую глубину и транслируются в современном обществе с той или иной степенью интенсивности. В конструировании и внедрении мифа и релевантных для него ценностей в современную культуру значительная роль принадлежит масс-медиа, язык которых стратегически ориентирован на мифологию массового сознания. Источником трансляции сложившихся мифов являются также а) «язык улицы», представленный наружной рекламой, плакатами, граффити, вывесками; б) различные товарные знаки продукции, производимой на Урале; в) естественная устная и письменная речь, функционирующая внутри коммуникативно-культурного пространства. Попытаемся показать трансляцию разных линий региональной мифологии в современном культурном пространстве Урала/Екатеринбурга.

Первая мифологическая линия – столичная – связана с представлением о Екатеринбурге как столице Уральского края. Несмотря на то что Екатеринбург исторически был уездным городом Пермской губернии (с 1796 г., до этого времени – завод-крепость), он всегда позиционировал себя как столица, центр горнозаводской промышленности. Этому способствовало также то обстоятельство, что в Екатеринбурге размещалось Уральское горное управление. В XX веке мифологема «*Екатеринбург – столица*» надолго утратила актуальность, но на рубеже XX–XXI вв. она вновь активизировалась. Благоприятствовали этому следующие факторы: идея губернатора о создании Уральской республики со столицей в Екатерин-

бурге; новый реальный статус города Екатеринбурга как центра Уральского Федерального Округа. Так, в городской газете «Уральский Рабочий» (далее – УР) Екатеринбург называют только *уральской столицей*. Ср.: *Уральская столица переживает сейчас настоящий застроечный бум* (УР, январь 2004). *Рекордное количество высших учебных заведений уральской столицы примет участие в выставке* (УР, май 2004). *Российско-германские культурные встречи начались в уральской столице* (УР, май 2004). Регулярно используется эта мифологема при обозначении главы города Екатеринбурга: *Комментарий дал глава уральской столицы. Сообщил мэр уральской столицы*. Мифологема в этом случае, помимо собственно идентифицирующей функции, выполняет еще и функцию укрупнения личности.

Таким образом, мифологема *столица*, исторически самая ранняя, присутствует в современном региональном языковом сознании, но не относится к числу популярных.

Главную мифологическую линию, которая формирует региональную идентичность современных жителей Урала и, в частности, Екатеринбурга, а также образует своеобразный духовный стержень уральской региональной культуры, представляет корпус мифологем, пришедших из сказов П.П.Бажова (1879–1950). Образ Урала и Екатеринбурга, созданный П.П.Бажовым и прочно укоренившийся в сознании не только уральцев, но и жителей России вообще, связан с природными особенностями нашего края. Урал – это прежде всего горы. Горный хребет прорезает русские равнины с севера на юг, и в недрах этих гор таятся несметные природные богатства: золото и драгоценные камни, медь и каменный уголь, мрамор и малахит. С этими земляными богатствами были связаны легенды уральских «горщиков», «рудобоев», «рудознатцев», камнерезов, а позднее и сказы П.П.Бажова. Эта мифологическая линия, основанная на представлении об Урале как центре горнодобывающей и металлургической промышленности, центре золотодобычи и о Екатеринбурге как городе-заводе, столице горных заводов, наиболее прочная и достаточно популярная в современной культуре. В последние годы появилась и значительно активизировалась группа слов, производных от словосочетания *горные заводы*, в частности, прилагательное *горнозаводской / горнозаводский*. В региональной прессе Урал именуется не иначе как *горнозаводской край*, промышленность Урала – *горнозаводская промышленность*. От этой

же производящей основы образовано новое существительное *горнозаводцы* – так называет жителей Урала один из местных телеканалов.

Другая мифологема, имеющая также корни в сказах П.П.Бажова, – мифологема *уральский мастер*. Тема мастерства – главная в «Малахитовой шкатулке», цикле сказов о мастерах горного дела, который занимает центральное место в творчестве П.П.Бажова. Слово *мастер* имеет значение «человек, достигший большого умения, мастерства», однако ассоциативный компонент этого слова, как и мифологема *уральский мастер*, включает представление о бажовском Даниле-мастере, который учился у Хозяйки медной горы, занимался огранкой уральских камней и был талантливым камнерезом. Не случайно наряду с *уральский мастер* как синоним выступает *уральский умелец*. Эта мифологема транслируется через название местного пива «*Уральский мастер*», одноименных городских акций, а также нередко встречается на страницах региональных газет:

Уральские мастера изготовили для патриарха настольный прибор: два подсвечника и часы. Ценность подарка заключается в том, что это ручная работа, а сам набор сделан из натурального малахита и драгоценных камней (УР, май 2004). Монтировали оборудование уральские умельцы (Вечерний Екатеринбург, май 2004).

Функционирование сложившихся мифологем можно проследить также на материале «языка улицы», который, обладает мифологической культурной памятью и одновременно продуцирует современные мифологемы, включаясь в механизм процесса региональной идентификации. Образ *уральского*, отличного от других, обнаруживается в номинациях местных реалий: ювелирная фабрика «*Уральские самоцветы*»; развлекательный центр «*Малахит*», спортивная команда «*Изумруд*», банк «*Драгоценности Урала*», магазины «*Каменные вещи*», «*Каменная лавка*», где продают сувениры из уральских камней; конкурс театров кукол «*Малахитовая шкатулка*». Бажовские образы тиражируются в товарных знаках уральской продукции: пиво «*Каменный цветок*», «*Золотой Урал*», шоколад «*Сказы Бажова*». В наружной рекламе бажовская мифология транслируется не только вербально, но и визуально: *Хозяйка медной горы* в витрине магазина.

Мифология, сформировавшаяся на Урале в досоветскую эпоху (XIX – начало XX) под влиянием региональной литературы, возродилась и активизировалась в постсоветское время. Ландшафтные особенности края получают развитие и в новейшей мифологии, но при этом акцентируется необычный, неизвестный ранее признак (появляется новый ракурс в культурном освоении пространства). Урал – это горы, но горы старые и невысокие. Самая высокая вершина Уральских гор не достигает 2000 м. По этой причине признак высоты гор не присутствует в ассоциативном значении слова Урал, и, как следствие, номинация *горец* – «житель гор» – прежде не употреблялась по отношению к жителям Урала. В русском национальном сознании номинация *горец* связана с жителями Кавказа, *горец* – это горячий, темпераментный человек, что, в общем, не свойственно спокойному характеру уральцев. Однако, несмотря на подобную неадекватность характеристики, мифологема *горец* начинает внедряться в сознание благодаря частому тиражированию этого слова на популярном местном TV-канале и в местной прессе: *Сегодня во Дворце спорта состоится большой концерт, на котором Уральских Горцев поздравят рокеры нового поколения* (Вечерние ведомости, сентябрь 2000).

Третья линия мифологизации уральского региона связана с географическим местоположением города. Екатеринбург стоит на рубеже Европы и Азии. Этому всегда придавалось символическое значение, ср., например, название очерка Мамина-Сибиряка «На рубеже Азии» с подзаголовком «Из жизни Среднего Урала».

Урал представлял собой стык индустриальной и аграрной цивилизации, разных жизненных миров, он совмещал в себе черты периферии и границы как открытой контактной и одновременно конфликтной зоны в экономическом, политическом и социально-психологическом смысле. Социокультурное развитие и экономическая география городов Урала имели специфику именно в силу своей пограничности – открытости и закрытости одновременно. В.Каганский исследует символическую значимость географических и культурных объектов, которые по своим функциям концентраторов смыслов, ценностей при разнообразии и сложности оказываются важными элементами не только географического пространства, но и культурного ландшафта [Каганский 2001]. Урал как раз и является одной из «скреп культурного ландшафта». Именно признак пограничности Екатеринбурга в последнее время начинает играть

важнейшую роль в региональной мифологии. Евразийское самосознание является для жителей Екатеринбурга одним из вариантов реализации региональной идентичности. Евразийство становится особо значимым и широко тиражируется и транслируется в культурном пространстве города. Так, новый набор открыток, изданный к юбилею Екатеринбурга, называется *«Екатеринбург – граница частей света»*: *«Екатеринбург всегда был знаковым местом в пространстве и времени всего российского государства. Город на границе частей света. Город – перекресток народов и культур, в котором встречаются Восток и Запад. И в этом смысле такая историческая и географическая граница, как граница Европы и Азии, является наиболее специфическим и привлекательным атрибутом столицы Урала»*. При въезде в город стоит рекламный щит, сообщающий, что Екатеринбург – *первый город Азии*. Слово *первый* выступает здесь сразу в нескольких значениях: *первый* значит «находящийся, расположенный впереди других», от него идет отсчет всех других городов Азии; в то же время *первый* – это «первоначальный, являющийся началом», т.е. с Екатеринбурга начинается другая часть света – Азия; но здесь есть и еще один смысл: *первый* означает «превосходящий всех других себе подобных, высший по своей значимости», т.е. Екатеринбург – главный, первостепенный город евразийского региона.

Положение города на границе Европы и Азии, соединение в нем европейских и азиатских черт обрело такую значимость для Екатеринбурга, что евразийские образы стали определять региональную идентичность. Формальный компонент городской идентичности в значительной степени создается сегодня за счет евразийских метафор и символов. Символизм этой темы заключается в том, что евразийские образы не только содержат в себе информацию об особом территориальном положении Екатеринбурга, но и эмоционально воздействуют на чувства людей.

Городское пространство насыщено евразийскими образами – за период 2004-2005 гг. в городе появилось 23 новых объекта с евразийскими названиями. Горожане сталкиваются в повседневной жизни с предприятиями обслуживания: туристическая фирма *Евразия*, гостиница *Евразия*, компания по автоперевозкам *Евразиякар*, строительная фирма *Евразия Трейд*; с источниками информации: *Уралэкспоцентр-Евро-Азиатский* выставочный холдинг; информационное агентство *Европейско-Азиатские новости*, *Евразия-медиа*

центр; рекламные агентства *Евраз-пресс*, *Реклама Европа-Азия*. Через евразийские названия в культурном пространстве нашего города представлены многочисленные массовые мероприятия: международный конкурс драматургии *Евразия*; фестиваль ледовой и снежной скульптуры *Европа-Азия*; выставка камнерезного и ювелирного искусства *Евразийская тоска*. Тема евразийства была успешно принята горожанами и стала одной из составляющих городской идентичности. Как более современная и подходящая новому облику города эта мифологическая линия постепенно вытесняет собственно уральскую мифологию. Благодаря евразийским образам исчезло стереотипное представление о Екатеринбурге лишь как о промышленном, заводском городе. Екатеринбург начал восприниматься как город, имеющий свою культуру с европейскими и азиатскими корнями.

Таким образом, уральская региональная мифология закрепляется в сознании современников разными вербальными и визуальными образами, создавая некоторую мировоззренческую картину мира – систему взглядов, ценностей, ментальных представлений – и определяя не только индивидуальное сознание каждого носителя языка, но и во многом его региональную идентичность.

Литература

Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. – М., 2001.

Новикова О.С. Национальное самосознание как форма превращения социальных отношений. – М., 1998.

Рябов О.В. «Матушка-Русь»: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. – М., 2001.

© Михайлова О.А., 2005

М.Э.Рут
Екатеринбург

Языковая личность о себе

Языковая личность как категория современной отечественной лингвистики в течение последних двадцати лет неизменно оказывается в центре внимания исследователей. Предлагаются все новые аспекты изучения: разработан статус диалектной личности (В.Д.Лютикова, Е.В.Иванцова), топонимической личности (Л.М.Дмитриева, Е.В.Макарова). Есть основания обратиться к самоощущению языковой личности, попытаться рассмотреть вопрос

о ее статусе «изнутри», глазами ее самой. Именно попытка такого подхода стала нашей задачей.

Поводом для настоящих заметок послужили контрольные работы студентов гуманитарных факультетов (прежде всего филологического) Уральского государственного университета им. А.М. Горького, выполненные ими в ходе изучения курса «Введение в языкознание». Среди других вопросов студентам предлагалось ответить на следующие: какими формами существования языка Вы лично владеете? Каковы, на Ваш взгляд, особенности Вашего идиолекта? Отвечая на эти вопросы, студенты обращались к анализу определенных констант собственной языковой личности, прежде всего в ее отношении к языку.

Материал накапливался в течение последних пяти лет. К сожалению, мысль о его использовании возникла уже после того, как работы были оценены и возвращены авторам, поэтому придется обойтись без точных статистических выкладок.

Рассмотрим варианты ответов на первый из указанных вопросов. Анализируя свою речевую практику, студенты пытались выявить, на какие формы существования русского языка она опирается. Тем самым они в определенной степени решали вопрос о структуре собственного идиолекта, соотношении в нем элементов различных языковых систем.

Подавляющее большинство отвечавших отрицают, что владеют такой формой существования языка как *территориальный диалект*. Очевидно, это утверждение соответствует истине: хотя в речи уральцев ощутимы территориальные фонетические особенности (так называемое «оканье», выпадение интервокального *j* с последующим стяжением в глагольных формах настоящего времени и в окончаниях прилагательных и т.п.), системного владения диалектом у населения в настоящее время нет. Характерно, что указание на диалектные уральские черты в лекциях по русской диалектологии и истории русского языка все чаще вызывает у студентов удивление – они не слышат в окружающей их среде фактов упрощения аффрикат, цоканья-чоканья, отражения *j* как *и*, перехода *а* в *е* между мягкими согласными и т. п.; не знакомы с диалектной уральской лексикой (даже с такими совсем недавно употребительными лексемами как *робить*, *пластаться*, *петаться*, *чавреть*, *няша* и т.п.). Можно говорить о том, что территориальные диалекты как форма существования русского языка незнакома городской молодежи,

причем это касается не только жителей Екатеринбурга, но и обитателей районных центров, рабочих поселков.

Справедливости ради следует отметить, что некоторые указания на местный колорит собственной речи студенты дают, особо обращая внимание на выделение их из среды в других зонах. Частотны высказывания типа: *«Приезжая в Москву (Петербург, Оренбург), я сразу замечаю, что мои московские (петербургские и т. п.) подруги (друзья) говорят несколько иначе»*. Интересно, что в качестве одной из местных особенностей собственной речи студенты указывают прежде всего на «скороговорку, проглатывание слогов, особенно в окончаниях» (возможно, речь идет как раз об утрате интервокального *j*; нет никаких оснований полагать, что «скороговорка» является отличительной уральской чертой).

Охарактеризованная ситуация представляется показательной для определения роли территориальных диалектов в современном функционировании форм существования языка. Долгие годы борьбы с диалектными чертами в речи школьников дали свои плоды: диалектоносители воспринимаются как необразованная, некультурная часть общества, а наличие диалектных особенностей – как серьезное нарушение речевой культуры, недостаток, препятствующий карьере – ср. замечание одной из студенток: *«Меня берут в программу (на местное телевидение. – М.Р.), надо теперь искоренять в себе уральскую речь»*. Кроме того, в городах диалектоносители быстро ассимилируются, теряют диалектные особенности речи (особенно это касается лексики). Контакты с деревенским населением у современной молодежи крайне редки – ср.: *«Я в детстве приезжала к бабушке в деревню, она очень смешно говорила, но теперь я ничего из этого не помню»*. Добавим, что в экспедиционной практике постоянно приходится сталкиваться со своеобразным конфликтом «отцов» и «детей», точнее, «дедов» и «внуков», когда старшее поколение стесняется своего говора, а младшее усугубляет положение откровенными насмешками над произношением и лексикой своих «предков».

Подводя итог, позволим себе утверждать, что территориальный диалект как форма существования языка утратил свои позиции среди молодежи и практически не присущ новому поколению ни в одной из сфер общения. Попадая в диалектную среду, современная молодежь скорее сама оказывает влияние на диалектоносителей, чем испытывает воздействие диалектной среды.

Практически все опрошенные отмечают пользование *литературным языком*. Это кажется совершенно закономерным – ведь именно нормы литературного языка прививаются (по крайней мере, должны прививаться) в школе. В ответах на вопрос отмечаются следующие ситуации пользования этой формой существования языка: *«На литературном языке я пишу сочинения и рефераты, отвечаю на экзаменах»*; *«Литературный язык нужен мне при разговорах с преподавателями, в официальных ситуациях, в письменной речи»*; *«Литературный язык я нахожу в книгах»*; *«Конечно, литературный язык я использую тогда, когда разговариваю с преподавателем, своим научным руководителем или деканом нашего факультета»*; *«Литературный язык необходим при официальном общении, при написании официальных документов»* и т. п. Как видно, сфера бытования литературного языка в речи молодежи весьма ограничена и не предполагает неофициального общения. Многие прочно связывают литературный язык только с письменной речью (ср.: *«Я пишу литературно, вернее, надеюсь, что это так, но в разговоре я использую другие формы существования языка»*). Нормы литературного языка прочно связаны в сознании молодежи с орфографией и пунктуацией (*«Я пользуюсь литературным языком, когда пишу, если это не письма друзьям – там я не думаю о грамотности»*). Между тем в истории русского литературного языка развитие его устной разговорной формы – одно из главных достижений реформаторской деятельности Н.М.Карамзина, А.С.Пушкина и других мастеров русского слова. Сейчас это достижение уходит в небытие, теряется. Кстати, нельзя не отметить, что большинство современных молодых людей явно нуждается в помощи логопеда – их речь невнятна, артикуляции небрежны, интонационные акценты логически не оправданны. Этим грешат даже опытные молодые ведущие местных теле- и радиоканалов. (Знаменательно, что из нашего лексикона постепенно уходит слово *диктор*, и это объясняется не только широким развитием авторского телевидения, но и отсутствием дикторской культуры как таковой.)

Многие студенты не вполне уверены, что владеют нормами литературного языка: *«Я стараюсь писать на литературном языке»*; *«Я пользуюсь литературным языком (по крайней мере, надеюсь, что мой язык можно назвать таковым) ...»*; *«Не знаю, можно ли назвать мой язык литературным, но я стараюсь писать именно на нем»*. Конечно, многие из таких высказываний, с одной стороны,

можно отнести на счет определенного кокетства, с другой – расценить как повышенные требования к литературному языку как общеразговому, однако чаще всего сам текст, не лишенный орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, говорит сам за себя: владение литературным языком действительно с трудом дается пишущему. Заметим, что аналогичную картину дают и вступительные сочинения, и курсовые работы студентов, хотя речь идет о гуманитариях – будущей интеллектуальной элите общества. Устная речь (даже в ситуации семинара, экзамена) изобилует словами-паразитами (прежде всего знаменитым *как бы*), повторами, сбивчива, бедна синтаксически. Все это вынуждает верить в тот факт, что самооценка, звучащая в ответах студентов – печальная, но реальность.

При обсуждении работ вопрос о степени владения литературным языком не раз получал развитие в высказываниях типа: *«На литературном языке говорить скучно и внапряг»*, *«Когда стараешься говорить литературно, мысль уходит»*, *«Вокруг меня практически никто литературно не говорит»* и даже *«Литературный язык – это вымершая форма языка»* (!). К сожалению, в последние пять лет не наблюдается ярко выраженного прогресса во владении литературным языком в течение процесса обучения – если раньше дипломники демонстрировали образцы выверенной литературной речи, сейчас это можно сказать лишь о немногих.

Итак, территориальный диалект ушел из идиолектов молодежи, литературный язык присутствует в них в не вполне адекватной форме, что же стало основой речи студентов? По мнению их самих, основная для них форма существования языка – это *социолект* в той или иной его разновидности.

Все студенты указывают на *молодежный сленг* как на основную присущую им форму существования языка, используемую в наиболее широком кругу сфер общения: дома, в деловой обстановке, в разговорах с друзьями и близкими, в транспорте, на отдыхе и т. п. В работах немало аргументации в пользу сленга: *«Говорить на сленге приятно – слова веселые и нестандартные»*; *«Сленг – разговор для своих»*; *«Если ты еще молод, зачем говорить на языке стариков»*; *«Молодежный сленг – молодежи!»*; *«Сленг прост и понятен каждому, даже взрослым»* и т.п. Другими словами, пользование сленгом признается законным и естественным, коммуникативно «удобным» и допустимым даже в общении с людьми старшего

поколения. В качестве сленговых называют такие слова как *клёвый*, *прикольный*, *тащить*, *напрягаться*, *западать*, *отпад*, *кинуть*, *крыша едет* и т. п. Перечень слов невелик и неоригинален – повторяются, как правило, одни и те же слова общим числом не более десятка (и этот список практически не изменился за последние пять лет), что объясняется, возможно, нежеланием подробно отвечать на вопрос, а не бедностью сленгового лексикона.

Несколько иное отношение к *жаргону* как форме существования языка. Значительной части студентов он представляется более грубым, жаргонные слова не предназначены для ушей преподавателей, родителей, ср.: *«Я владею также жаргоном, но жаргонные слова не привожу, поскольку они неприличны»* (при дальнейшем опросе выяснилось, что студентка отождествляет жаргон и мат); *«При маме я стараюсь не использовать жаргонной лексики, чтобы ее не расстраивать»*; *«На сленге я могу говорить и с преподавателями, на жаргоне только с друзьями, это грубоватый язык, в нем много соленых словечек»* (характерно, что эти студенты говорят о жаргоне вообще, не уточняя, чьим жаргоном они пользуются). Для остальных жаргон – язык общения в определенной сфере занятий: отмечается овладение новым для них студенческим жаргоном, упоминаются жаргоны компьютерщиков, толкиенистов («толкинутых»), спортсменов и др. Жаргоны оцениваются как знак общности интересов, владение жаргоном – как престижное и необходимое в определенной среде (*«Если человек говорит клави и мыло, он кое-что понимает в компьютерах или по крайней мере хочет показать, что понимает»*; *«Школьник говорит училка, а мы – препод. Почувствуйте разницу»*).

Некоторые студенты признались, что имели опыт создания собственных *тайных языков* (для общения с друзьями, сестрами и братьями). К сожалению, опытом создания таких языков никто не поделился.

Подведем некоторые итоги. Современный студент, по его собственному признанию, практически незнаком с территориальными диалектами, неуверен в своем владении языком литературным и поэтому избегает пользования им в большинстве коммуникативных ситуаций. Главной формой существования языка для него является молодежный сленг, который оценивается как наиболее подходящий для общения в наибольшем количестве ситуаций (в том числе и официальных, например, при общении с преподавателями). Наша

коммуникативная практика вполне подтверждает признания молодых людей: не смущаясь ни возрастными, ни служебными рамками, они используют сленг и в спонтанно возникшем разговоре, и в устных ответах на занятиях и экзаменах, например: *«Вот книга, которая будет Вам полезна, можете не торопиться с ее возвратом» – «Супер!»; «За что ж Вы нас так опустили, Мария Эдуардовна!»; «Да не слушайте Вы его, он просто понтуется, дурачок»* и т. п. Единственной непреложной сферой бытования литературного языка остается письменная речь, но и здесь исключение составляет переписка в Интернете и SMS-сообщения, где также царит сленг. К жаргонам отношение различное (хотя всеми признается их использование): одни под жаргоном понимают грубое просторечие, другие – средство неформального общения «по интересам».

Уникальным оказался такой ответ на этот вопрос: *«Если я разговариваю с деканом факультета или с другими высокопоставленными лицами, я, конечно, стараюсь использовать литературный язык, я бы даже сказала – нейтральный, без какой-либо окраски»*. Другими словами, речь идет не об использовании литературного языка, а просто о неупотреблении окрашенной лексики, использовании общеупотребительной лексики языка, ощущении своего языка как общенародного, но в определенных ситуациях отмеченного сленговым наполнением.

Ответы на второй вопрос предполагали самохарактеристику носителя идиолекта. При определении параметров своего индивидуального языка студенты нередко сбивались на характеристику особенностей речи, что при анализе мы учитывать не будем. Большинство студентов продемонстрировали высокую самооценку, постарались представить свой идиолект как индивидуальный язык интересной и оригинальной личности: *«Я интересная и глубокая личность, и это отражается в моем идиолекте»; «Мой словарь богат и разнообразен, я умею просто и одновременно ярко говорить»; «Мой идиолект – это язык интересного и умного человека»; «Моя речь насыщена эмоциями, точна и информативна»*. Можно утверждать, что молодые люди стремились не столько объективно охарактеризовать особенности своего языка, сколько создать модель идиолекта, свойственного человеку идеальному.

Итак, что же идеально в идиолекте с точки зрения его носителя? Подавляющее большинство студентов в той или иной форме указывают на способность личности к лингвокреативной деятельно-

сти, прежде всего к словотворчеству: *«Я люблю создавать новые, необычные слова»*; *«Мне не хватает обычного лексикона, и я легко создаю свои собственные словечки»*; *«Могу с легкостью создать неологизм на любую, так сказать, тему»*; *«Люблю свои особенные слова, которых нет ни в одном словаре – я их сама придумала»*. К сожалению, примеров здесь практически нет (может быть, потому, что это идеальная черта?).

Еще одна лингвокреативная тенденция – тяга к преобразованию прецедентных текстов (пословиц, поговорок, фразеологизмов). Правда, приведенные примеры не отличаются оригинальностью – все они почерпнуты из рекламы, из анекдотов и юмористических передач, нового в примерах не встретилось ни одного. Очевидно, данное идиолектное качество можно переформулировать как широкое включение в лексикон прецедентных текстов, особенно тех, которые являются переделками уже имеющихся (именно такая черта также отмечается рядом студентов). Тем не менее, важна та установка на лингвокреативность, которая просвечивает в формулировке.

Отметим, что и в процедуре словотворчества, и в процедуре перевоссоздания прецедентных текстов проявляется стремление к языковой игре (хотя сам термин студенты-первокурсники пока не используют).

Отмечаемое большинством студентов качество их идиолекта – большое количество эмотивной лексики, экспрессивов, оценочных слов. При этом некоторыми отмечается стремление к использованию экспрессивно окрашенных суффиксов: *«Я не скажу умный, а скажу умничка, умище, не скажу хороший, а скажу хорошастый, хорошастенький»*; *«Люблю к словам добавлять суффикс -ище, даже если таких слов и не бывает: поросятище, учебнище, книжище, городище (вместо город), январище и т.д.»*. Здесь тоже проявляется стремление к словотворчеству, к созданию ни на что не похожего лексикона.

Отмечается и внимание к заимствованным словам, часто используемым включениям из английского языка: *«Я учила английский в спецколле, поэтому могу себе позволить широко употреблять английские слова вместо русских – так получается прикольнее»*; *«Люблю вставить в предложение английское слово, когда пишу, так и пишу его по-английски»*; *«В моей речи очень много заимствований из английского языка, теперь появились и латинские,*

могу сказать что-нибудь вроде *кто не работает, тот не ест*» (*лаборает* – от латинского *laborare* ‘работать’).

Кроме лексикона, в идиолекте некоторыми характеризовался также синтаксис: отмечалась склонность к определенным типам предложений. Например, «*В моей речи мало простых предложений. Кто сложно мыслит, тот и сложно излагает*»; «*Я говорю отрывисто, лаконично, даже простое предложение разбиваю на части, например: Я. Тебе. Говорю*»; «*Синтаксические конструкции у меня всегда очень сложные, такие сложные, что я сама в них запутываюсь*».

Особенности других уровней языковой системы студентами не отмечались.

В целом можно сказать, что студентам собственная языковая личность представляется прежде всего способной к лингвокреативной деятельности, к активной реализации эмотивной функции языка, к высокой информативности. Этот образ не вполне соответствует действительности, однако демонстрирует предпочтения в оценке языковой личности вообще.

Представляется перспективным рассмотреть автопортреты языковой личности в диахроническом аспекте (сопоставление данных по разным временным промежуткам и сопоставление данных первокурсников и выпускников).

© Рут М.Э., 2005

Е.С.Сумина
Шадринск

Вербализация концепта *толерантность* в немецком и русском языках (в сопоставительном аспекте)

Толерантность в качестве важнейшей составляющей духовной культуры нации, в качестве одного из основных принципов демократического общества все чаще становится предметом исследований философов, политологов, психологов, педагогов, социологов, языковедов [ср. Чернова 2001: 313].

Свидетельством этого является ряд международных конференций, проведенных в контексте идеи ООН о провозглашении 1992 года годом толерантности, а также значительное количество научных статей, проблематика которых отражает самые различные интерпретации и вскрывает многочисленные компонентные составляющие концепта *толерантность*.

Интерес лингвистов к различным аспектам проблемы толерантности нашел особое выражение в ряде научно-практических конференций, проведенных в последние годы в рамках Уральского межрегионального института общественных наук: «Лингвокультурологические проблемы толерантности» (2001), «Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности» (2003).

Несмотря на широкий спектр проблем, рассматриваемых лингвистами в отношении концепта *толерантность* (соотношение понятий *толерантность* и *терпимость* [Михайлова 2003]; слово *толерантность* и концепт *толерантность* [Стернин 2001]; толерантность в речевом общении [Стернин 2003]; лексико-семантическая интерпретация концептов *толерантность* и *терпимость* [Дедова 2004]; *толерантность* в творчестве В.Высоцкого [Купина 2003]), в истории лингвистической науки до сих пор не имеется ни одного сопоставительного лингвистического исследования данного концепта, равно как и сопоставительного литературоведческого исследования.

Тем не менее, именно сопоставительное исследование концепта *толерантность* представляется нам наиболее интересным и актуальным, поскольку, как отмечает М.Н.Кожина, «концепты по-разному группируются и по-разному вербализуются в разных языках в тесной зависимости от собственно лингвистических, прагматических и культурологических факторов, а, следовательно, фиксируются в разных значениях» [СЭСРЯ 2003: 182]. Именно сопоставительная концептология позволяет исследователям выявить новые грани, новые компонентные составляющие национально-этнических и культурных концептов, что является важным для их полного понимания.

Эксплицитно либо имплицитно любой концепт всегда является объектом сопоставительного анализа [ср. Воркачев 2001: 38], подразумевающего сравнение: внутриязыковое, когда сопоставляются облик и функционирование концепта в различных «областях бытования» – дискурсах (научном, политическом, религиозном и пр.) и сферах сознания, а также межъязыковое сравнение, когда сопоставляются концепты различных языков.

Р.М.Фрумкина определяет концепт как «вербализованное понятие, отрефлектированное в категориях культуры» [Цит. по: Маслова 2004: 59]. Следуя этому определению, мы поставили перед собой задачу представить интересующий нас концепт толерантности

как вербализованное понятие во всех актуальных для него дискурсах.

Дискурсами, релевантными для понятия *толерантность*, выделенными нами в результате дефиниционного анализа, явились: научный, политический, религиозный, бытовой, законодательный и литературный. По сути, каждый из этих дискурсов обслуживается определенным функциональным стилем.

Соединяя внутриязыковое и межьязыковое исследования, мы рассматривали концепты *толерантность* и *Toleranz* как вербализованные понятия в русском и немецком языках сначала дифференцированно друг от друга, а затем в сопоставительном аспекте. В ходе сопоставления были выявлены многочисленные сходства и различия, наиболее интересные из которых отражены в рамках данной статьи.

Так, например, интересным является порядок дискурсов, определяемый по степени использования интересующего нас понятия. С точки зрения частотности слова *толерантность* в русском языке названные дискурсы выстраиваются в следующем порядке: наиболее часто данным словом пользуется публицистический (политический) функциональный стиль, а следовательно, на первом месте стоит политический дискурс, за ним следуют научный, законодательный, религиозный, литературный, бытовой дискурсы.

В немецком языке порядок дискурсов несколько иной: первое место по частотности занимает научный дискурс, затем политический, религиозный, бытовой, законодательный и литературный.

Исследования показали, что понятие *толерантность* (*Toleranz*) является наиболее актуальным для научного дискурса как в немецком, так и в русском языках. Тем не менее, отдельные научные сферы, пользующиеся соответствующими словами, не всегда совпадают и не всегда используют их в одинаковой степени. Немецкое слово *Toleranz* используется чаще всего в области техники, экономики и медицины, а русское *толерантность* – в области медицины, биологии, философии.

Степень актуальности исследуемого понятия для политического, а также для религиозного, законодательного и художественного дискурсов в обоих языках примерно одинакова.

Как показывает словарный анализ, немецкоязычное слово *Toleranz* имеет три основных значения: общее, медицинское и техническое. В отличие от него у русскоязычного слова *толерант-*

ность в большинстве словарей зафиксировано лишь два основных значения: медицинское (физиологическое) и общее.

При этом следует отметить, что в большей части русскоязычных словарей сначала указывается медицинское (либо физиологическое) значение слова *толерантность* (*толерантность* как *отсутствие или ослабление чувствительности* либо как *способность переносить неблагоприятное влияние*), а затем общее значение (*толерантность* как *снисходительность, терпимость*) [ср. ССПТ 2002: 436], тогда как в немецких словарях, напротив, сначала указывается общее значение слова *Toleranz* (*Toleranz* как *Zulassung, Duldsamkeit*), а затем его медицинское значение (*Toleranz* как *begrenzte Widerstandsfähigkeit*) [ср. Duden, B. 5 1985: 782; NGLF 2004: 858].

Этот факт связан, очевидно, с так называемым поступательным процессом, то есть с тем фактом, что, будучи заимствованным из латинского языка, слово *толерантность* первоначально функционировало только в роли термина, использующегося в физиологии, и лишь затем появилось общее значение.

Наличие технического значения слова *Toleranz* свидетельствует о широком использовании данного слова в области техники, а наличие в специальных словарях технического характера многочисленных составных слов с данным компонентом, таких как *Toleranzbereich*, *Toleranzdosis* и других, подтверждает этот факт и привносит дополнительные интерпретации в понимание концепта *Toleranz* в немецкой языковой картине мира. Так, например, в значении слова *Toleranzdosis* присутствует оттенок ограниченности, свидетельствующий о том, что толерантность явно имеет какие-то прагматические границы, что в большей степени проявляется именно в немецкой культуре.

Отличительной особенностью является также наличие и широкое употребление в немецком языке наряду с существительным *Toleranz* однокоренного глагола *tolerieren* при том, что использование соответствующего русского глагола *толерировать*, зафиксированного в некоторых словарях общенаучного характера, является незначительным. Это позволяет нам сделать вывод о большей выраженности деятельностного аспекта толерантности в немецком языке.

В ходе исследования нам удалось выяснить, что периодичность слова *толерантность* в русскоязычных словарях общенаучного

характера, год издания которых не относится к последним десятилетиям, далеко не одинакова, в то время как немецкое *Toleranz* зафиксировано во всех общенаучных словарях начиная с XVI века. Так, например, слово *толерантность* несовместимо с эпохой тоталитаризма, но встречается в словарях этого периода с коннотацией «устаревшее» со ссылкой на использование данного слова в произведениях художественной литературы XIX века.

Особого внимания в плане сопоставления заслуживает бытовая сфера. В немецкой разговорной речи отмечается наличие и широкое использования слов *Toleranz*, *tolerant*, *tolerieren* наряду с такими выражениями, как *Toleranz gegen j-n üben*, *tolerant sein*, тогда как русскоязычное слово *толерантность* в обиходной речи встречается крайне редко. Этот факт объясняется тем, что русское слово *толерантность* является более книжным, чем немецкое *Toleranz*, и его употребление в разговорной речи обычно связано с принадлежностью говорящего к определенной социальной группе.

Как в русском, так и в немецком языке, в качестве основных синонимов к словам *толерантность* и *Toleranz* употребляются слова *терпимость* и *Duldsamkeit*, имеющие одинаковое значение. При этом в русском языке слово *терпимость* употребляется в качестве синонима слова *толерантность* гораздо чаще, чем соответствующие слова в немецком языке, что позволяет сделать вывод о том, что в ядре русского концепта *толерантность* слово *терпимость* занимает большее место, нежели соответствующее слово *Duldsamkeit* в ядре немецкого концепта *Toleranz*.

В научных исследованиях часто отмечается тот факт, что в русской лингвокультуре формирование понятия толерантности началось позже, чем в западных этнокультурах, и продолжается до сих пор, а следовательно, содержательная сторона концепта постоянно актуализируется, пополняется, затрагивая все новые аспекты человеческих взаимоотношений [ср. Дедова 2004: 1].

Несмотря на этот факт, терпимость все равно продолжает занимать более значительное место в ядре русского концепта, обозначенного именем *толерантность*. В то же время исследования, доказывающие, понятия *толерантность* и *терпимость* не являются абсолютно идентичными («терпимость предполагает большую духовность, а толерантность в большей степени выражает работу разума, но не души» [Там же: 2]), позволяют нам сделать вывод о том, что русский концепт *толерантность* в большей степени явля-

ется языковой репрезентацией некой внутренней сущности человека, а соответствующий ему немецкий концепт *Toleranz*, в свою очередь, в большей степени является фиксацией некоего поведенческого аспекта, норм определенного поведения или отношения.

Что касается отмеченного нами наряду с другими дискурсами литературного дискурса, то следует отметить, что, хотя понятие толерантности и является для него актуальным, соответствующий данному дискурсу художественный функциональный стиль крайне редко пользуется словом *толерантность* (*Toleranz*) относительно обоих языков. Примечательно то, что, например, большинство писателей первой половины XX века, основной интенцией которых были идеи толерантности в самых разных сферах деятельности, практически не пользовались словом, которым мы обозначили этот один из важнейших концептов современного мира. Любой литературный концепт, в том числе и концепт *толерантность* (независимо от языка) может быть представлен на уровне мотивной структуры, сюжетных коллизий и конфликтов, типов человеческой личности. Однако языковая манифестация концепта в литературном дискурсе, в отличие от других дискурсов, осуществляется с помощью другого семантического набора, который, в свою очередь, также является лингвоспецифичным и в котором определенно должна быть отражена большая часть вышеназванных особенностей вербализации исследуемого концепта.

Литература

- Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. – М., 2004.
- Дедова С.А. Лексико-семантическая интерпретация концептов *толерантность* и *терпимость* // mmj.ru/ahej.html
- Купина Н.А., Муратова К.Н. Бытовая и идеологическая толерантность в художественном мире Владимира Высоцкого // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003.
- Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск, 2004.
- Михайлова О.А. Толерантность и терпимость: взгляд лингвиста // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003.
- Стернин И.А. Слово *толерантность* и концепт *толерантность* // Лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2001.
- Стернин И.А. Толерантность в речевом общении // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003.
- Чернова С.А. Тоталитарное общество: толерантность и насилие // Лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2001.

Duden: Das Fremdwörterbuch: in 12 Bänden. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1985. Band 5. (Insges. 797 S.)

Neues großes Lexikon in Farbe. Köln: Buch und Zeit Verlagsgesellschaft mbH, 2004. 960 S. (NGLF)

Список сокращений и словарей

ССПТ – *Словарь* современных понятий и терминов / Сост., общ. ред. Макаренко В.А. – М., 2002.

СЭСРЯ – *Стилистический* энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н.Кожинной. – М., 2003.

© Сумина Е.С., 2005

О.Е. Чернова
Магнитогорск

Динамика идеологического содержания концепта *труд* (по материалам газеты «Магнитогорский рабочий»)

Идеология как форма общественного сознания является составной частью культуры, духовного производства [Новая философская энциклопедия 2001: 81], потому исследование идеологического содержания базовых ментальных категорий русской культуры, в частности, концепта *труд*, позволяет описать психологическое состояние общества в определенные периоды, ценностные ориентиры и концептуальное видение носителей языка. В данной статье мы намерены рассмотреть динамику идеологического содержания концепта *труд* в русском языке в период с 1933 по 2005 гг. Для официальной идеологии труд – явление очень важное, поскольку на нем базируются понятия о классовом разделении общества, эксплуатации, социальной несправедливости и др. Материалом для анализа послужили высказывания с лексическими единицами *труд*, *работа* и их производными, объективирующими концепт *труд*. Источником материала явилась газета «Магнитогорский рабочий» за 1933-2005 гг. – первая официальная ежедневная городская общеполитическая газета, которая выходит с 1 января 1930 г. Эта газета служила идейным выразителем политики коммунистической партии и отражала общегосударственные идеологические процессы в региональном преломлении.

Влияние идеологии осуществляется при помощи системы идеологом – «языковых единиц, семантика которых покрывает идеологический денотат или наслаивается на семантику, покрывающую денотат неидеологический. Различаем собственно идеологическую семантику и идеологическую добавку» [Купина 2000: 183]. Следует

отметить, что под добавками и наращиваниями мы понимаем коннотации, которые представляют собой «отношение субъекта к действительности» (Апресян 1995; Михайлова 1998; Телия 1986).

Концепт *труд* объективируется в языке словами *труд*, *работа*, которые имеют тождественные лексико-семантические варианты (далее – ЛСВ), включающие семантические признаки: ‘деятельность’, ‘целесообразная’, ‘требующая напряжения’, ‘созидающая’, ‘с помощью орудий производства’. Однако в этом ЛСВ их семантика не лишена некоторых различий: труд – более творческая и этически значимая деятельность, чем работа; в труде на первом плане оказываются усилия, в работе – результат; для труда характерна положительная этическая оценка, для работы – положительная либо отрицательная утилитарная; в труде на первом плане выступают затрачиваемые усилия, в работе – результат; в труде масштаб задач больше, чем в работе; труд не способен разворачиваться во времени. ЛСВ ‘деятельность вообще’ является нейтральным в системе языка и не имеет идеологических коннотаций.

В реальном речевом существовании обнаруживается влияние сильных контекстных партнеров на идеологическое осмысление анализируемого ЛСВ. Он утрачивает нейтральность за счет коннотаций, отражающих идеологические ценности. Типовые контекстные сопроводители имени концепта *труд*, их регулярность и активность обуславливают формирование в концепте константных идеологических коннотаций, которые в совокупности образуют идеологический компонент концепта.

Содержание идеологической составляющей концепта отражает официальную идеологию и формируется через средства массовой информации. Этот компонент базируется на идеологической оценке, в качестве классификационных критериев которой может быть выбрана оппозиция «выгодно – невыгодно» данному классу. Идеологическая составляющая концепта крайне нестабильна. Склонность к трансформации обусловлена, с одной стороны, сменой приоритетов, осуществляемой в рамках господствующей идеологии, с другой стороны, политическими переворотами, реформами, которые влекут смену правящей власти и способны полностью изменить шкалу оценок. Учитывая обусловленную политическими реформами изменчивость идеологии, проследить идеологическое переосмысление концепта *труд* представляется возможным при обращении к большому историко-временному срезу.

Рассмотрим зафиксированные в речевой ткани текстов газеты «Магнитогорский рабочий» направления идеологической эволюции концепта *труд*.

Система ценностей советского общества во многом определяет возможность использования языковых единиц, вербализующих концепт, для положительной либо отрицательной оценки явлений действительности. В газетных контекстах в слове *труд* происходит актуализация семантических смыслов с положительным или отрицательным знаком оценки труда как «деятельности», при этом знак оценки обусловлен ее принадлежностью к идеологической оппозиции «свой – чужой». Так, труд социалистический получает положительную оценку, а труд при капитализме – отрицательную. Оппозиция в соответствии со своей структурой определяет двухполюсную структуру коммуникативного значения лексемы *труд*. Эта двухполюсная структура сохраняется вплоть до 2005 г.

Первый виток идеологизации концепта (1933 – 1941 гг.) характеризуется квалификативными (эксплицируют виды труда), количественными (фиксируют интенсивность трудового действия), этическими (отражают морально-нравственные ценности) и эстетическими (репрезентируют труд как акт творчества) типовыми смысловыми наращениями.

Квалификативный аспект идеологизации концепта *труд* эксплицирует виды труда. Выделение сфер труда осуществляется, как правило, в виде эксплицитных оппозиций: сельскохозяйственный/индустриальный, физический/умственный, колхозный/труд рабочего, квалифицированный/неквалифицированный и т. д. Классификация производится на разных основаниях: наличие опыта, промышленной техники, затраты физических сил и т. д. Характеризуя социалистическую действительность, газета выражает в некоторой степени негативное отношение к представленным видам труда. В этих классификационных оппозициях, по мнению печати, заключается причина, с одной стороны, неравенства (в условиях труда, оплаты и т. д.), а с другой стороны, непривлекательности труда вообще (т. к. он требует усилий и времени).

Контексты показывают, что изначально лишенное оценочности квалификативное осмысление труда в советском обществе получает идеологическую оценку: *Никакого равенства не может быть, пока есть классы и пока есть труд квалифицированный и неквалифици-*

рованный (1937, № 4)* // *Сельскохозяйственный труд становится трудом индустриальным* (1934, № 34) // *Теперь физический труд буквально во всех областях работы должен подняться умственным трудом* (1934, № 37) // *Допотопный тяжелый труд не будет отягощать трудящиеся массы нашей страны* (1934, № 37). Выражения с семантикой развертывания во времени *становится, должен подняться, не будет отягощать* актуализируют в слове *труд* (социалистический) темпоральную оппозицию «сейчас – в будущем». Под ее влиянием семантическая структура слов-названий видов труда претерпевает изменения, в результате которых появляются следующие оппозиции сем: ‘физический’ – ‘стремление к умственному’, ‘сельскохозяйственный’ – ‘стремление к индустриальному’, ‘неквалифицированный’ – ‘стремление к квалифицированному’.

Виды труда в капиталистических странах представлены схематично: отсутствуют атрибуты видов труда и рефлексивные высказывания по их поводу. Иллюстрацией служат примеры: *Безработные горняки Нью-кестля и Кумберленда, работающие неполную неделю текстильщики Манчестера и Лидса, изнуренные тяжелым трудом металлисты Бирмингама и Шеффилда мало думают о спорте* (1937, № 10) // *Реакционной теории, призывающей к отказу от машины, возврату к самым примитивным орудиям труда, советский представитель противопоставил блестящие успехи механизации труда в СССР* (1935, № 137) // *Далее, наше советское крестьянство в своем подавляющем большинстве есть колхозное крестьянство, т. е. оно базирует свою работу и свое достояние не на единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном труде и современной технике* (1937, № 228). Труд при капитализме предстает как некое монолитное, застывшее в своем развитии явление, лишенное такого понятия, как «прогресс». Об этом свидетельствуют атрибутивные сопроводители слова *труд* (примитивные, отсталая), которые актуализируют сему ‘элементарный’.

Количественные составляющие концепта *труд* фиксируют интенсивность трудового действия, критерием которого служат идеологические клише *трудового подъема, трудового энтузиазм, трудовой героизм*. Приведем типичные примеры: *По всей стране растет и ширится новая волна трудового подъема* (1937, № 8) // *Трудовым подъемом и производственными успехами встречают VI Сессию*

* Здесь и далее в скобках после примера указывается год и номер выпуска газеты «Магнитогорский рабочий»

Верховного Совета СССР доменники (1940, № 73) // Тогда мы действительно превратили Магнитогорск в культурный, передовой, благоустроенный город с богатой общественной культурной жизнью, которая дает новый невиданный размах трудового энтузиазма (1934, № 51) // Объясняется это тем, что рабочие воодушевлены неподдельным трудовым энтузиазмом (1934, № 120) // Число людей, показывающих трудовой героизм, должно увеличиваться с каждым днем (1933, № 98).

Частотность употребления сочетаний *трудовой подъем, трудовой энтузиазм, трудовой героизм* сопровождается десемантизацией *трудовой* / 'отнесенность к труду'. Примеры иллюстрируют нерелевантность семантических компонентов мотивирующих существительных: *подъем* – 'движение вперед', *энтузиазм* – 'душевный подъем', *героизм* – 'самопожертвование'. Наблюдается размытость семантического объема этих слов, что делает возможным их взаимозаменяемость в контексте. Основой функциональной эквивалентности становится общий семантический компонент 'стимул'. Это значение носителя признака проецируется на значение прилагательного *трудовой* – 'стимул к интенсивному труду'. В составе словосочетания прилагательное лишено информативности и выполняет сугубо прагматическую функцию, а именно, оказывает мобилизующее действие на адресата в плане привлечения его к труду.

Этический аспект идеологизации концепта *труд* реализует основные моральные принципы коммунистического общества. В границах тоталитарной идеологии мораль выражает классовые интересы; в каждую эпоху нравственным считается то, что отвечает интересам того или иного класса и т.д. [Апресян 1995: 63].

В газете содержание советской этики конкретизируется на 2-х уровнях:

- 1) оппозиции политических сил (коммунисты – капиталисты);
- 2) оппозиции социокультурных ценностей (свобода – принуждение, гуманность – антигуманность).

На основе оппозиции политических сил распределяются оценочные функции: «положительная оценка явления» – «отрицательная оценка явления». Речевое поведение всецело подчинено одной из этих двух оценочных установок, а именно, положительной оценке всего, что принадлежит своей идеологии, отрицательная оценка чужого рождается сама собой. Конечно, «экономика», «жизнь» не являются элементами этики. Однако перед лицом смертельной опасно-

сти сама по себе жизнь становится нравственной ценностью, поскольку субъект лишается возможности морального выбора [Апресян 1995: 60]. В капиталистическом обществе, по данным газетных публикаций, субъект труда обречен на голод, безработицу, нищету, приводящие в конечном итоге к смерти, и потому он морально несвободен.

В газете моральная максима свободного труда репрезентирована в контекстах, содержащих идеологему *эксплуатация*: *В нашей стране победившего социализма нет эксплуататоров и нет эксплуатируемых. Место каждого человека в нашем обществе определяется его участием в социалистическом труде* (1940, № 12) // *Эксплуатация человека человеком у нас ликвидирована навсегда. Социалистический труд дает колхознику и почет, и имя, и материальные блага* (1940, № 22). Контексты репрезентируют устойчивые смыслы при развертывании ситуаций *эксплуатация* и *свободный труд*. Сообщение, что Х трудится в капиталистическом обществе воспринимается и как сообщение о том, что труд возложен на Х-а, и как констатация каких-либо ограничений на деятельность, точнее, на выбор Х-а (доминирующая сема 'принуждение'); тогда как сообщение о том, что Х трудится при социализме, понимается как сообщение о том, что Х следует велению сердца (доминирующие семы 'добровольный', 'трудовые усилия субъекта оборачиваются общей пользой для класса').

Эстетический аспект представляет труд как акт творчества. Основной стратегический вектор направлен на изменение эмотивного состояния читателя. Особая социальная и идейная ценность результатов труда активизирует смысл жизненно важной необходимости этого процесса для каждого советского человека: *Нет ни одного уголка в нашем необъятном Союзе, где бы не чувствовалась кипучая созидательная, творческая работа на благо народа и укрепление нашего рабоче-крестьянского государства* (1937, № 11) // *Труд стахановцев – это, в подлинном смысле слова, творческий труд, имеющих ясно осознанную цель* (1948, № 8). Процесс творчества ограничен рамками социалистического государства и его политики. Актуальное значение лексемы *труд* расширяется за счет семантического компонента 'в Советском Союзе'.

Таким образом, смыслообразование в 1933-1940 гг. осуществляется в соответствии с приоритетами новой социалистической идеологии – манифестацией идей, основанных на равенстве и справедливости.

вости; поиском путей преодоления традиционных норм и правил жизнедеятельности общества и др. Сфера социалистического труда наполняется количественными, квалификативными, этическими и эстетическими смысловыми составляющими. Разработка концептуальных смыслов труда при капитализме в данный период осуществляется только в квалификативном и этическом аспектах. Столь небольшое количество содержательных составляющих сферы «чужого», вероятно, обусловлено закрепленным в общественном сознании идеологически ориентированным оценочным стереотипом, согласно которому все, что находится в оппозиции к официальной идеологии, отрицательно оценивается и концептуально не разрабатывается. Следует отметить, что в последующие периоды (1941-1945, 1960-1970, 1980-1990) это понятие не обогащается какими-либо новыми признаками. Более того, в газетах периода 1990-2005 гг. труд при капитализме не получает репрезентации.

В 1941-1945 гг. Великая Отечественная война как внешний фактор обуславливает значительное обеднение концепта, которое происходит за счет исчезновения эстетического и квалификативного аспектов. В то же время фиксируется увеличение объема количественной составляющей и появление новых смыслов, представляющих труд в зеркале войны. Проведение смысловых параллелей между трудом и войной репрезентировано в высказываниях: *Труд магнитогорцев по героизму своему подобен отваге воинов на поле боя* (1944, № 98) // *Наступление на фронте советский народ подкрепляет наступлением в труде. Сейчас с новой силой разгорается пламя великого соревнования в честь XXV годовщины Красной Армии* (1943, № 17) // *Замечательные образцы трудовой доблести и новые трудовые подвиги приносит каждый день отечественной войны* (1941, № 162).

Близость и даже сходство труда и войны репрезентировано в синтагматическом сходстве. Так, идентичны модели поведения субъектов (отвага воинов – труд магнитогорцев по героизму; военная доблесть – трудовая доблесть; наступление на фронте – наступление в труде; с оружием в руках – на трудовом посту). отождествление труда и военных действий влечет за собой активизацию в концепте *труд* смысла 'борьба'. Расширение значения слова *труд* происходит при помощи метафорического переноса по принципу ассоциативных связей.

Последний виток интенсивной идеологизации (1960-1970 гг.) характеризуется наибольшей широтой содержания концепта. Помимо этических, эстетических, количественных, квалификативных составляющих в ходе анализа выявляются физиологические и социальные типовые смысловые наращения.

Новые идеологические стимулы формируются в результате подмены «общественного» «личностным» при описании ситуаций труда: *В нашей большой и дружной семье немало замечательных людей, для которых труд не просто источник средств для существования, а насущная органическая потребность. Взгляни на сталевара 34-й мартеновской печи Сергея Вавилова. Этот невысокий, даже, пожалуй, щуплый человек становится подлинным богатырем у мартена, когда ведет плавку. Лицо его в эти минуты окрашено подлинным вдохновением, а в глазах сияют отблески пламени бушующего в печи. Нет, не рубль вызвал это вдохновение, а понимание своего места в жизни* (1963, № 133) // *Стыдно мне было в ту минуту, а в душе росла гордость за товарища, за то, что труд для него не только средство к существованию, а нечто большее* (1963, № 203).

Газетные контексты в качестве новых смыслов репрезентируют абстрактные признаки из мира идей: «нечто», «жизненный интерес», «место в жизни», «вдохновение». В совокупности они формируют фантомный денотат ‘смысл жизни’. Его активизация в речевом высказывании размывает системный денотат ‘деятельность’ и все приписанные ему коннотации. Прежде всего это отрицательно воспринимаемые языковым сознанием семантические компоненты ‘усилие’, ‘затраты времени’. Образ труда становится привлекательным.

Обозначив труд как объект метафизических исследований, авторы тенденциозных контекстов пытаются выяснить: существует ли у труда такая возможная цель, которая поистине могла бы составить смысл жизни. Анализ контекстов репрезентирует в качестве таковой счастье: *По-разному понимают люди свое счастье. Наш советский человек видит его в творческом труде* (1961, № 30) // *Верится, что еще много удач, много добрых дел будет впереди у Геннадия Бестемьянникова, ударника коммунистического труда, человека, который хорошо знает: где труд, там и счастье* (1963, № 203) // *«Что такое счастье?» – говорил Н.С.Хрущев. – Каждый человек прежде всего считает счастьем, когда обеспечен прочный мир на земле, когда люди могут жить и трудиться в мирной обстановке без страха перед угрозой разрушительной войны»* (1961, № 36).

Счастье в газетных контекстах становится высшей целью труда. Выражения *где труд, там и счастье; счастье... в творческом труде; когда люди могут жить и трудиться в мирной обстановке* соотносят сферы «личного» и «общественного», в результате чего осуществляется «изменение своего «Я» под влиянием социальных условий. Условия тоталитарной системы предлагают реальный способ достижения счастья – труд. Газета регулирует это знание сугубо теоретически, используя путативные глаголы *знает, видит, считает*. Актуализация в речевом значении лексики *труд* семантического признака ‘средство достижения счастья’ сопровождается появлением идеологической коннотации ‘в условиях социализма’. Идеологические наслоения обусловлены контекстными партнерами лексики *коммунистический, советский человек, Н.С.Хрущев*, маркирующими сферу «нашего».

Физиологические составляющие концепта *труд* в контекстах слиты с этическими. Расширение объема семантических признаков концепта осуществляется за счет семантических компонентов ‘источник здоровья’, ‘источник долголетия’, которые актуализируются в следующих примерах: *Труд, создающий все блага в жизни и преобразующий природу, является, вместе с тем, источником здоровья и долголетия. Творческий труд в сочетании с разумным отдыхом приносит человеку радость и счастье, предохраняет от болезней и преждевременного старения* (1963, № 160). Контексты актуализируют концептуально важные для языкового сознания семантические компоненты: ‘источник материальных и духовных ценностей’, ‘созидание’ (созидающий все блага жизни), ‘способ достижения счастья’ (приносит счастье). Они являются отправной точкой при концептуализации труда не только как целесообразной деятельности человека, направленной на создание чего-либо, но и как бесконечно-го нравственного прогресса сознания.

В условиях техногенного общества закономерна забота языкового коллектива о сохранении здоровья и продлении жизни. Также вполне объяснимо стремление человечества найти средство к их достижению. Однако с логической точки зрения абсурдно представление таким средством труда. Актуализируемая при этом сема ‘источник здоровья и долголетия’ (труд является источником здоровья и долголетия, труд предохраняет от преждевременного старения) противоречит системным компонентам ‘большие усилия’, ‘затраты времени’, отражающим латентную информацию о труде как явлении, тре-

бующем затраты здоровья, сил, приносящем болезни, травмы и т. д. Латентные семы в данных контекстах неактуальны, а потому входят в ближнюю периферию концепта *труд*.

Лейтмотив солидарности, сплочения становится для газетных контекстов сквозным и отражает социальные смысловые составляющие концепта: *Человек и коллектив. Как важно их творческое взаимодействие, как необходима каждому человеку поддержка товарищей и, наоборот, как обогащают коллектив трудолюбивые люди* (1973, № 22) // *Глядя на своих товарищей, Валентин Васильевич вспоминал, как постепенно в труде креп коллектив, как менялись, росли люди* (1961, № 47).

Контексты реализуют типовую модель: ситуацию демонстрации эмоционально-эстетических проявлений субъекта и группы субъектов труда. Речевые сочетания *творческое взаимодействие; поддержка товарищей; в труде креп коллектив; как менялись, росли люди* последовательно актуализируют «семантические довески» [Арутюнова 1999: 51], отражающие духовные компоненты субъектов труда: 'дружба', 'взаимодействие', 'преобразование личности', 'творчество', 'самореализация'. Привлекательность характеристик не лишает их искусственности, заданности. Этому обстоятельству способствуют слова, навязывающие адресату обязательность и многократность предписанных действий: *важно, необходимо, отдают себе отчет, нужны*, – содержащие модальность долженствования. Контексты актуализируют семы 'долг быть в коллективе', 'осознание долга', 'благотворное влияние коллектива'. Эти семантические компоненты, совмещаясь в контекстах с семантикой других лексем, формируют смысловые составляющие концепта *труд*: 'осуществляет коллективное слияние субъектов', 'формирует чувство долга', 'способствует самореализации субъекта'.

Разрушение тоталитарной системы, которое началось в 1980-е годы, во многом стимулировало языковые изменения. Отрицание советской морали провоцирует отказ от сложившейся системы ценностей, поэтому концепт *труд* утрачивает все аспекты осмысления: этический, количественный, квалификативный, физиологический и т.д. Смысловые составляющие последовательно переосмысляются. Критика социалистической системы труда приводит к снятию идеологии.

Отрицательные прагматические смыслы актуализируются в контекстах, отражающих кризис тоталитарной модели: *А теперь вот все*

это рушится. Люди часто сидят без дела. Простаивает дорогостоящее оборудование, автоматические линии. У нас нет заработка, естественно, падает дисциплина и настрой (1987, № 102) // Картина, увиденная в этом цехе, была неожиданной. Стояли станки, молчали моторы. В укромном уголке цеха несколько человек играли в домино. На вопрос, знают ли они что-нибудь об ударной декаде, последовало возмущение: «Для кого декада, а для нас – вынужденное безделье. Сколько же это может продолжаться? Кто нам ответит?» (1987, № 70)

В высказываниях слова-аффективы *безделье*, *без дела* отражают экстралингвистическое явление «скрытой безработицы». Смысл ‘отсутствие деятельности’ актуализируется широким кругом средств. Глаголы *сидят*, *простаивает*, *стояли*, *молчали (моторы)*, *играли (в домино)* фиксируют отклонение от идеологически принятого стандарта труда. Актуализируемая сема ‘отсутствие деятельности’ делает нерелевантными идеологически обусловленные семантические компоненты ‘максимальное проявление деятельности’, ‘постоянная деятельность’. Семантическая ломка актуального значения лексемы труд приводит к ее фактическому исчезновению из контекстов. Труд как таковой перестает существовать. Ситуация ‘отсутствие деятельности’ провоцирует поведенческую трансформацию субъекта труда, который лишается своей основной функции – деятельности – и ее результатов (нет заработка). Контексты порождают отрицательные прагматические смыслы, сводимые к понятию «кризис».

Источником социокультурной информации являются глаголы с семантикой разрушения *рушится*, *падает*, *не справляется*, которые актуализируют смысл ‘несовершенство социалистической системы труда’. Факт употребления данных лексем подтверждает изменение содержания основных моделей поведения, созданных советской системой.

Переосмыслению подвергается один из базовых принципов социализма: «от каждого по его способностям, каждому по труду». Крушение символа советской справедливости сводится к возникновению смысловых составляющих: ‘несправедливость в распределении результатов труда’, ‘материальная уравниловка’. Например: *Обозначились нарушения важнейшего принципа социализма – распределения по труду. Борьба с нетрудовыми доходами велась нерешительно. Возросли иждивенческие настроения, в сознании многих людей стала укореняться психология «уравниловки» (1987, № 19) //*

Несовершенство оценочных показателей, системы оплаты труда – не единственный катализатор встречающегося нередко равнодушия, незаинтересованности в результатах общего труда (1987, № 29) // Ни для кого не секрет, что многих устраивали, а некоторых продолжают устраивать и сегодня – работа, как говорится, «спустя рукава», незаработанная зарплата, незаслуженные премии (1987, № 40).

Интерпретации «искажений социалистической морали» многообразны: *нетрудовые доходы, несовершенство оценочных показателей, без учета реального вклада, незаработанная зарплата, незаслуженная премия*. Общеоценочные характеристики несоответствия идеологическому стандарту выражены отрицательной частицей НЕ и предложением БЕЗ. Реализация отрицательного оценочного потенциала данных сочетаний обуславливает изменение идеологических стереотипных представлений, лежащих в основе концептуализации труда в доперестроечный период. Стереотип *Трудящиеся, те, кто трудится... получает прибыль* в речевых высказываниях трансформируется посредством смысловых наращений *несправедливо, незаслуженно (получает прибыль)*. Психологическое состояние субъекта лексически эксплицируется в сочетаниях *иждивенческие настроения, психология «уравниловки», незаинтересованность в результатах*.

Эти сочетания актуализируют семы 'иждивенчество', 'равнодушие', 'несправедливость', которые в совокупности формируют смысловую составляющую 'пассивность субъекта'.

Деидеологизация содержания вербализаторов концепта (1990-2005 гг.) свидетельствует об изменении культурно-ценностных идеологических предпочтений, составляющих фундамент советского мировоззрения, и обуславливает разрушение идеологически заданной структурированности концепта *труд*. Процесс деидеологизации приводит к изменению двухполюсной структуры коммуникативного значения слова труд. Оппозиция «свой – чужой», которая в период существования коммунистической идеологии характеризовала труд в советском государстве и за его пределами (социалистический труд и труд при капитализме), в 1990-х годах проникает внутрь государства и начинает оценивать труд по принадлежности к «старой» и «новой» идеологии. Газетные тексты репрезентируют труд при демократической системе (+) и труд социалистический (-), труд при капитализме не представлен. Переосмысление тоталитарного про-

шлого государства, по всей видимости, послужило причиной отношения труда социалистического к области «чужого».

Отторжение прежних идеологических святынь осуществляется при помощи намеренной смены знака оценки: *В последние годы журналисты городской газеты не рассказывают, как прежде, о «трудовых свершениях», «передовом опыте», «социалистическом соревновании в честь знаменательных дат»... Ушли в прошлое показушные и часто надуманные атрибуты* (1993, № 28) // *Боже, чьих только бездельников мы не ублажали, ратуя за постройку всемирной коммуны: из Эфиопии и Уганды, Лаоса и Камбоджи, Кубы и Афганистана и еще десятков других* (1992, № 20) // *Но ведь десятилетиями соревнование было откровенной липой. Хотя бы из-за символических материальных стимулов* (1992, № 99).

В контекстах идеологемы получают качественно новые номинации: *трудовые свершения, передовой опыт, социалистическое соревнование ↔ показушные, часто надуманные атрибуты; братские народы ↔ бездельники; социалистическое соревнование ↔ откровенная липа*. Дискредитация социалистической системы труда происходит через актуализацию эмоционально-оценочных семантических компонентов ‘видимость’ (показуха (разг. неодобр.) ‘видимость успешной деятельности’ [СОШ 2003: 549]), ‘неестественность’ (надуманный ‘лишенный естественности’ [СОШ 2003: 380]), ‘фальшивость’ (липа (разг.) ‘фальшивка’ [СОШ 2003: 327]). Эти отрицательные прагматические смыслы эксплицируют идеологический скептицизм языкового сознания. Заметна тенденция к разработке содержания этически одобряемых моделей процесса труда и поведения субъекта: ‘отсутствие пафоса созидания’ и ‘личная польза’.

Активно употребляются рефлексивные высказывания, отражающие поведение субъекта труда в новых социальных условиях: *На производстве все валится, наполовину работаем. Как 31 год работал, так и работаем. Не могу иначе. Так и остальные. Пока еще по инерции двигаемся, но и это на исходе. Ломается отношение к такой работе. Сейчас меньше всего о работе думаешь, все отвлекает* (1992, № 36) // *А в столице черной металлургии (по мнению многих деятелей, видных и не очень видных) должны по-черному трудиться, чтобы досыта накормить и областной, и государственный центры* (1993, № 47).

В этих высказываниях носители языка проводят своеобразную «инвентаризацию» концептуальных составляющих труда. Семанти-

ческое наполнение актуального значения слова *труд* происходит за счет редуцированных под влиянием официальной идеологии компонентов 'истощающий силы субъекта' 'ручной'/'немеханизированный'. Отупляющее однообразие труда актуализирует признак 'равнодушие субъекта к труду'. Отрицательные прагматические смыслы сводятся к понятию 'печальная необходимость'.

Наряду с инвентаризацией содержательных составляющих, характерных для советского периода, наблюдается поиск новых смыслов. Контексты для экспликации признаков 'личная польза', 'свобода выбора', 'ценность, способная творить, созидать', 'прогресс' актуализирует лексику, которая прямо или косвенно отражает «становление новой идеологии» [Купина 1997: 142]. Например: *Работать на себя, считать и думать в частном деле многих пугает, и это сдерживало и будет сдерживать реформы на селе* (1993, № 8) // *Главным лейтмотивом съезда в обращении к гражданам России стало признание приоритета прав человека над всеми другими правами и прежде всего права свободно трудиться и продавать свой труд или результаты своего труда* (1993, № 15) // *У нас вновь появился шанс для Возрождения. Главное для этого – работать, не жалея сил, и не ждать, что кто-то придет и все сделает за нас* (2002, № 63) // *Администрация города благодарит всех тружеников...за плодотворный труд на благо всех горожан* (2004, № 245) // *Огромный труд во благо России* (2005, №5).

В качестве контекстных партнеров слова *труд* используются новые идеологемы: *реформы, граждане России, Возрождение, во благо России*. Наблюдается тенденция нового витка идеологизации концепта *труд*. Речевые формулы *необходимо сделать самим хорошую жизнь; работать на себя; право свободно трудиться, продавать свой труд и результаты своего труда; работать, не жалея сил; труд во благо России; на благо всех горожан* и др. в новом политическом языке являются калькой с прежних формул советской системы. Различие состоит в переносе интересов субъекта в личностную сферу, о чем свидетельствуют местоимения *самим, себя, своего*. Примечательно, что новая идеология ратует за поднятие престижа труда, поскольку для демократического общества, как и для тоталитарного, труд – 'высшая ценность, способная вести вперед массы, творить и созидать'.

Газетные контексты репрезентируют наполнение области «своего» позитивным смыслом. Поиск актуальных ценностных призна-

ков осуществляется в этическом аспекте и репрезентирует тенденцию становления новой идеологии демократической системы, хотя выводы делать еще рано. Дифференциация «своего» и «чужого» проявляется в данный период на основе более частных признаков, таких как социальная группа, партийная принадлежность и др. Шкала ценностей становится более многомерной, поскольку включает в себя разные виды оценки: групповую (правительство / оппозиция), индивидуальную (нравится/не нравится) и др. Такое варьирование ценностных доминант позволяет говорить о подвижности, непостоянстве культурной составляющей концепта *труд*.

В заключение следует сказать, что обновление концептуального мира современной языковой личности становится очевидным при рассмотрении динамики идеологического содержания культурно значимых концептов. Такой анализ позволяет увидеть, какие смыслы вкладывают носители языка в те или иные понятия на определенном этапе социокультурного развития общества.

Литература

Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. – М., 1995.

Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2 т. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М., 1995. – Т. 2.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М., 1999.

Купина Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурам // Русский язык сегодня: Сб. статей. – М., 2000. – Вып. 1.

Михайлова О. А. Ограничения в лексической семантике: Семасиологический и лингвокультурологический аспекты. – Екатеринбург, 1998.

Новая философская энциклопедия. В 4 т./Гл. ред. В.С.Степин, Г.Ю. Семигин. – М., 2001. – Т. 2.

СОШ - Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М., 2003.

Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М., 1986.

© Чернова О.Е., 2005

Е.И.Шейгал

Волгоград

Голос народа в политической частушке

Современная политическая культура немислима без политического фольклора, включающего такие жанры, как сказка, история, пословица, частушка и анекдот. Политический фольклор отражает восприятие политики и установки народных масс, являющихся преимущественно пассивным наблюдателем политического про-

цесса. Будучи народным жанром, частушка неизбежно несет на себе печать национальной психологии, отражает специфику социально-политических установок народных масс.

Социально-политические установки складываются из когнитивных, ценностных и аффективных компонентов (Г.Г.Дилигенский). Когнитивный компонент политических установок, отраженных в частушках, базируется на наивном политическом познании, для которого характерна каузальная атрибуция (приписывание причины). В частушках находит отражение поверхностный, «лозунговый» уровень политического познания – уровень плакатов, транспарантов и газетных заголовков, не случайно объектом пародии в них становятся наиболее затертые штампы, а в качестве персонажей избираются политические деятели, имена, которые все время на слуху.

Ценностный компонент базируется на стереотипах. С точки зрения политической аксиологии частушки можно разделить на апологетические и сатирические. В сатирических частушках власть представлена как виновник переживаемых трудностей. Народ психологически дистанцирован от власти. Это, в частности, проявляется в том, что в частушках редко представлены речевые акты, адресатом которых является власть: совет (*Растерял миленок баксы, и монет российских нет. Анатолия Чубайса не позвали в кабинет...*); обвинение (*Не родимое пятно, а в мозгу проталина, разбазарил всю страну, а свалил на Сталина!*); угроза (*Олигархам всем – привет! Вы богаты – а я нет. Копите вы миллионы, ну а я – на пистолет. От валютных хулиганов нас Минфин не сбережет. Вот появится Зюганов, он покажет им ужас!*)

В большинстве случаев адресат частушки – равный по статусу представитель народных масс, непосредственный собеседник, хорошо знакомый человек, общение с которым проходит в задушевной, неформальной обстановке, поэтому в частушке широко представлены такие речевые жанры, как сетование, пересказ новостей и слухов, обмен мнениями, позволяющий высказать то, что накопилось на душе: *Грозный спикер Селезнев вне себя от гнева: не имеет мэр Лужков права, мол, на «лево»*

Близость дистанции общения проявляется в стилистической сниженности частушки. Будучи характерным для общения на досуге, этот жанр предполагает раскованность и предоставляет возмож-

ность позабавиться языковой игрой, поощряя склонность к соленой шутке и озорству.

Аффективный компонент социально-политических установок проявляется как доминирующий вектор эмоционального отношения к общественной действительности, как направленность и интенсивность эмоционального восприятия событий и явлений политической жизни. Парадокс политической частушки в том, что неудовлетворенность жизнью, негативизм по отношению к власти выражается через преимущественно жизнерадостную тональность как проявление народного оптимизма и характерного умонастроения «нам все нипочем». *Ну и пусть засохли грядки во саду ли в огороде. Будет все у нас в порядке – это ж родина Мавроди!*

Нет рубашки, нет портков, я не беспокоюсь, дал мне орден Маленков, как-нибудь прикроюсь.

Автора и исполнителя частушки политика интересует весьма поверхностно, лишь в той степени, в какой она затрагивает его быт и личную, повседневную жизнь. Отсюда общая тональность частушки – иногда грустная, но чаще залихватски бесшабашная (в ней видится беспечность, насмешливость, баловство).

Н.Бердяев пишет о сочетании бунта и покорности в психологии народных масс. На наш взгляд, в русских частушках отражены прежде всего такие черты национального характера, как покорность судьбе, терпимость и незлобивость. Не случайно даже сатирическая частушка не агрессивна, а представляет собой добродушное, беззлобное подтрунивание: *Ничего, что тихой сапой веодят новые налоги. Не впервой сосать нам лапу по ночам в своей берлоге. Шлет приветствие страна дорожному съезду: «А идите вы все на ...».* Далее – по тексту.

Политическая частушка отражает основные этапы политической истории (гражданская война, ликвидация неграмотности, коллективизация, раскулачивание, Отечественная война, реформы Хрущева, диссидентство, перестройка, экономический кризис). Для частушки, так же, как и для политического анекдота, характерна злободневность содержания – как правило, они представляют собой быстрый отклик на текущие события – волны иммиграции, диссидентство и т.д.: *Надоело жить в Рязани, всюду грязь, г-но и тьль. Милый, сделай обрезанье и поедem в Израиль. Дядя Ваня из Казани вдруг проснулся в Мичигане. Вот какой рассеянный муж Сары*

Моисеевны. Калина-малина, сбежала дочка Сталина, Светлана Аллилуева – Ну и семейка х-ева.

По характеру текста большинство частушек представляет собой либо нарратив (повествование о событии, констатация факта), либо дескриптив (описание положения дел).

Частушечный нарратив всегда свернутый – сведение сложного события к одному факту и, как следствие, констатация произошедшего в одном предложении: *Ох огурчики мои, помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике. Все случилось шито-крыто. Стал вождем Хрущев Никита. Сталин гнал нас на войну, а Хрущев на целину. Как Лаврентий Берия потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков.*

В частушке бытует и псевдонарратив – повествование о том, чего не было, изображение воображаемых событий как попытка объяснить действия политиков (характерная для наивного познания каузальная атрибуция): *Как-то Брежнев и Подгорный напились вдвоем «Отборной». Утром встали с пьяной рожей, водку сделали дорожке. Пишет Ленин из могилы: «Не зовите Ленинград». Это Петр Великий строил, а не я, плешивый гад.*

Частушечный дескриптив – констатация положения дел – по иллюкутивной силе нередко представляет собой речевой акт сетования: жалобы на бедность, отсутствие продуктов, невозможность заработать (*Как в торгсине на витрине есть и сыр и колбаса, а рабочий от досады рвет на жопе волосы Нет ни плугов, нет ни борон, на березе кличет ворон. Живем мы в ленинском раю у могилы на краю. Мой дружок на сеновале деньги прятал от родни. А у России тут настали, ох, критические дни*).

С точки зрения техники создания комического эффекта в частушке используются: пародирование, стилистическое рассогласование, статусное рассогласование и логическая несовместимость (жанр нескладухи).

Пародированию подвергаются политические лозунги и штампы (*Мы Америку догнали в производстве молока, А по мясу не догнали - х.. сломался у быка. Обосрала выходной, отменили пасху, спасибо партии родной за любовь и ласку*), отдельные высказывания политических лидеров (*Отвлеку от Билла прессу, Старр проявит интерес. Лягу с Ельциным на рельсы – то-то будет «рашен секс»*), ритуальное осуждение внешнеполитического врага (*Моя мила-сексатилка и поклонница минета. Осудили мы с ней пылко преступ-*

пленья Пиночета. Я приеду из Парижу, свою милую увижу, зае-у, замучаю, как Пол Пот Кампучю).

Стилистическое рассогласование заключается в том, что стилистическая сниженность частушки вступает в противоречие с доминирующей официальностью политического дискурса, в частности, это проявляется в неуместности припевочек (*калина-малина; огурчики мои – помидорчики*) в сочетании с именами вождей и описанием их деятельности.

Статусное рассогласование заключается в сочетании ценностно-значимых политических номинаций со скабрёзной лексикой, помещении их в статусно-сниженный контекст эротических описаний – благодаря этому становится возможным символическое низвержение политических идолов: *Обижается народ: мало партия даёт. Наша партия не б-дь, чтобы каждому давать. Ленин музыку играет, Сталин пляшет трепака. Развалили всю Расею два «веселых» мудака. Моя милая в постели сделала движение, то ли хочет перестройки, то ли ускорения. Десакрализация «священных коров» удачно осуществляется в жанре «нескладухи» за счет синтагматического соположения логически несовместимых и тематически не связанных высказываний: *У моей малышки в ж-не обломилась клизма. Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма.**

Объектом сатирической критики в политической частушке естественно выступает концептуальный антипод «народа» как субъекта политического дискурса – «власть», воплощенная в конкретных политических лидерах (*С каждым днем народ нищает, настроенье падает. Ельцин только обещает и богатых жалуёт*), в общем неудовлетворительном положении дел в стране (*К нам приехал агроном, весь измазанный го-ном. Говорит: «У нас в стране все купаются в го-не)*), в бессмысленности отдельных акций правительства (*Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным, а вернулись назад с х-ем отмороженным*).

Вместе с тем интересно отметить, что в частушках содержится и саморефлексия (вектор критики направлен «вовнутрь»).

Многие частушки содержат имплицитное осуждение распространенных общественных пороков, скрытое за их номинацией или дескрипцией. Так, в частности, в частушках осуждается: доноительство (*Мой миленок диссидент, он читает «Континент». Завтра встану спозаранку, свезу дролю на Лубянку*), бездумность и «пофигизм» (*Эх, в клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. После*

девушки спросили: «Будут танцы или нет?»), халтура (Серебристый лайнер «ТУ» развалился на лету, потому что фирма «ТУ» выпускает х-ту), воровство (Брюхо голо, лапти в клетку, – выполняям пятилетку. Кто за гриву, кто за хвост, растащили весь колхоз. У Мишеля Камдессю я деньжонок попрошу, и, как наши финансисты, разворую их вовсю), прожекторство (Если б весь народ собрать, организовать умело, можно солнце обоссать – вот бы зашипело!), этнические предрассудки (Хорошо, что Ю.Гагарин не еврей и не татарин, не тунгус и не узбек, а наш, советский человек. Говорят, что Эдисон был по паспорту масон. Если так, е-на мать, будем лампочки ломать).

Подведем итоги. В плане ролевой структуры политического дискурса жанр частушки представляет линию коммуникации «народ → власть». В сатирической частушке отражено противостояние основных субъектов политики. Общий прагматический принцип частушки – отрицание официоза, реверсия ценностей и статусных отношений. В частушке как фольклорном смеховом жанре через сатирическое осмеяние выявляются, с одной стороны, черты народного образа Власти, а с другой стороны – высвечиваются характеристики, образующие интерпретативно-ассоциативный слой содержания концепта *народ*.

Литература

Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М., 1990.

Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология – М., 1996.

© Шейгал Е.И., 2005

О.Б.Акимова
Екатеринбург**Функционирование квазисложных предложений
со значением неизвестности**

В язык художественной литературы и публицистики, как известно, активно проникают разговорные формы предложений, которые, сохраняя свое «разговорное» качество, оказываются элементом системы синтаксических средств письменной речи и служат для придания ей окраски непринужденности и свободы, направленной на установление непосредственной связи с читателем [Шведова 1966: 143].

Лингвисты не раз обращались к описанию разговорных форм предложений (Бабайцева 2000, Верницкая 1968, Кормилицына 1988, Мигирин 1971, Покусаенко 1983, Прияткина 1990 и др.), которые, на наш взгляд, являются переходными структурами между простыми и сложными предложениями, поэтому их целесообразно, следуя за Н.С.Поспеловым [Поспелов 1990: 149], называть квазисложными предложениями (далее – КСП).

Термин *квазисложные предложения*, а также связанное с ним понятие мнимости (ложности, неистинности, лжеподобия) характеризует языковые факты путем отрицания тех или иных константных исходных фактов, принимаемых за подлинные. Оба члена сопоставления «мнимый – истинный» в языке на самом деле существуют, образуя своеобразную оппозицию: *сложноподчиненное предложение с изъяснительной придаточной частью – квазисложное предложение*. КСП типа *неизвестно кто* отличает ряд свойств, в определенной степени характерных для большинства квазиединиц: а) признак подлинного (истинного) факта отрицается не полностью – данные КСП внешне похожи на сложные предложения в полными придаточными; б) единица, принимаемая за подлинную, всегда является более изученной; в) КСП допускает соотносительность единиц: с одной стороны, наблюдаем соотношение «сложноподчиненное предложение – КСП», с другой стороны – «КСП – фразеологизированные обороты» [Жеребков 1984]. Формальное упрощение сложноподчиненных предложений с полными придаточными,

по существу, есть их семантическое усложнение [Норман 1994: 186]: при образовании данных КСП за значение неизвестности накладывается включенного субъекта, КСП становится одним из оценочных средств современного русского языка.

Специфика этих предложений проявляется в том, что они объединяют в себе признаки нескольких единиц разных уровней языка: а) для них характерны некоторые свойства фразеологических единиц (устойчивость структуры и устойчивость составляющих компонентов; воспроизводимость структуры и воспроизводимость значения; эмоционально-экспрессивный и оценочный характер); б) для них характерна служебная (текстообразующая) роль, которую обычно играют неполнозначные структурные слова в предложении или тексте; в) для них характерна семантика неизвестности / неопределенности, свойственная в некоторой степени неопределенным местоименным словам; г) как и некоторые переходные единицы, данные предложения занимают промежуточное положение в системе средств языка, но занимают промежуточное положение в системе разноуровневых, а не одноуровневых средств, объединяющихся общим функционально-семантическим значением неизвестности, и допускают поэтому синтактико-морфологическую, синтактико-фразеологическую, синтактико-лексическую соотнесенность. Другими словами, КСП типа *неизвестно кто* по структуре близки к синтаксическим единицам переходного типа, располагающимся на шкале «сложное предложение – простое предложение»; по семантике близки неопределенным местоименным словам; по функции близки структурным (дискурсивным) словам. Таким образом, КСП типа *неизвестно кто* являются разновидностью сложных предложений, занимающих промежуточное положение между сложноподчиненными предложениями с полными придаточными и сложноподчиненными предложениями с редуцированными придаточными, выраженными одним местоименным словом (равными одному местоименному слову). КСП этого типа обладают двухкомпонентной структурой: синсемантическое слово на -О со значением 'отсутствие сведений о ком-нибудь, чем-нибудь' (*неизвестно, непонятно, неясно, неведомо, непостижимо* и др.) + вопросительно-относительное местоименное слово, выполняющее функцию конкретизатора слова на -О [Акимова 1999]. Сочетание двух синсемантических слов способствует формированию значения неизвестности.

Для данного типа КСП характерны следующие основные структурные свойства: а) грамматическая оформленность как сложного предложения, то есть наличие двух предикативных центров – основного и остаточного; наличие остаточной грамматической основы, выраженной словом на -О, и создает видимость *сложности* данного предложения; б) полипропозиitivность, то есть наличие двух пропозиций – в основной грамматической основе выражена событийная пропозиция (отсутствие сведений у говорящего), в остаточной – логическая, связанная с выражением отношения говорящего (чаще всего негативного) к передаваемой информации; в) сохранение присловной подчинительной связи, характерной для связи главной и придаточной частей в сложноподчиненном предложении; г) синонимические отношения полного и редуцированно-го придаточных предложений.

КСП со значением неизвестности в текстах употребляются: а) в качестве эквивалента члена предложения, выраженного неопределенным местоименным словом: *Деньги расплывались неизвестно куда* (И.Ильф, Е.Петров), то есть *куда-то*, в неизвестном направлении; б) употребляются в качестве уточняющего члена предложения: *К тому же Фома Фомич, неизвестно почему* (= *почему-то*), *на меня рассердился* (Ф.Достоевский), *Фалаеев тулю поднял, сказал: «Это от кольца». «От браунинга», – сказал я и пока – неизвестно почему* (= *почему-то*) – обрадовался (П.Нилин); в) КСП употребляются в качестве самостоятельной ответной реплики в диалоге: – *Не надо заглядывать вперед. Не надо ничего планировать. Один уже планировал. – Кто? – Неважно кто* (= *кое-кто*). В истории много примеров (В.Токарева).

Интересующие нас КСП выполняют несколько семантико-прагматических функций. Назовем основные:

1. КСП со значением неизвестности употребляются для передачи значения собственно неизвестности, незнания говорящего: – *Ну, теперь разговорам конца не будет, – притворно рассердился Дед и повернулся к непонятно кому. – А что, тоже пишите, молодой человек?* (В.Шукшин); – *А завтра... – она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. – А завтра – неизвестно что. Ты понимаешь – ни я не знаю, никто не знает – неизвестно!* (Е.Замятин); *Это до чего же надо быть отчаянной башкой, до чего ошалеть от героизма, чтобы держаться там неизвестно на чем* (В.Распутин).

Возможен вариант, когда говорящий обладает определенными сведениями, а собеседники нет: *Жених стоял белый, как бумага. Он смотрел на непонятно кого* (В.Шукшин); *Однажды на Севере произошло чудо. Неизвестно откуда появился маленький мамонтенок* (С.Непомнящая).

2. КСП со значением неизвестности используются для передачи значения неопределенности (точно не знаю; знаю, но с уверенностью сказать не могу): *Емельян Спиридонович сидел напротив желтолицего, курил. Швыркал носом. Какую-то глухую, тяжкую злобу вызывал в нем этот человек. Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверное, на ком-нибудь надо было зло сорвать* (В.Шукшин); *Там с ней (во Дворце с принцессой) неизвестно что происходило, возможно, ее пытались накормить ужином* (Л.Петрушевская). В этих предложениях значение неопределенности, предположительности подчеркивается последующим контекстом – использованием вводных компонентов.

3. КСП данного типа используются для передачи обобщенного значения, близкого к значению безразличия: *Поздравляю вообще и неизвестно с чем!* (Г.Горин); *Велихов ничего не ответил, но во взгляде его все равно осталась невысказанная вслух мольба – что-то придумать, чтоб всего этого не было. Неизвестно как, – но не было* (К.Симонов); *Достать неведомо как, неведомо где то, что никто не мог достать, – в этом была для него особая прелесть* (К.Симонов).

4. КСП типа неизвестно кто иногда используются с целью завуалировать истинное отношение говорящего к тому, о чем он говорит (знаю, но не могу или не хочу по известным только мне причинам сказать): *Каждый день кто-нибудь торчит! И – неизвестно кто!* (М.Горький); *Вчера заехал какой-то поручик военный, занял шестнадцатый номер. Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади* (Н.В.Гоголь).

5. КСП используются для того, чтобы сообщить то, что понятно только говорящему: *Дед читал непонятно кому свою книжку* (В.Шукшин); *На балконе намело снегу. Из снега торчали трехлитровые банки, которые я берегла неизвестно зачем. Все-таки банки – полезная вещь* (В.Токарева).

Данные КСП и их активное употребление в художественной литературе подтверждают продолжение процесса демократизации синтаксиса: происходит пополнение репертуара синтаксических

средств общелитературного языка за счет структурных особенностей живого разговорного языка, язык «отбирает» те, которые отвечают потребностям массовой адресованности: средства, обладающие возможностями экспрессивного и наглядного воздействия и в то же время предельно лаконичные, «экономные», оценочные. Именно наличие оценочного компонента отличает данные предложения от синонимичных им неопределенных местоименных слов и представляет право говорящему выбрать необходимое, нужное в данной речевой ситуации языковое средство. «Говорящий как раз и перебирает синонимы для того, чтобы лучше познать предмет, соотносить его с рядом понятий и последовательно сузить их круг» [Норман 1994: 21] в соответствии с уровнем лингвистической компетенции.

Литература

Акимова О.Б. Семантика неизвестности и средства ее выражения в русском языке. – М., 1999.

Бабайцева В.В. Переходные явления в современном русском языке. – М., 2000.

Верницкая С.Г. Предикативные единицы в позиции членов предложения. Автореф ... дис. канд. фил. наук – М., 1968.

Жеребков В.А., Балаганина Л.Н. Понятие мнимости как средство объяснения фактов // Филологические науки. – 1984. – № 1.

Кормилицына М.А. Семантически осложненное (полипропозитивное) простое предложение в устной речи. – Саратов, 1988.

Мигирин В.Н. Очерки по теории процессов переходности в русском языке. – Бельцы, 1971.

Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. – СПб, 1994

Покусаенко В.К. Переходные конструкции в области сложного и простого предложения. – Ростов-на-Дону, 1983.

Поспелов Н.С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типы // Мысли о русской грамматике. – М., 1990.

Прияткина А.Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. – М., 1990.

Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе (Словосочетание). – М., 1966.

© Акимова О.Б., 2005

**Н.Е.Богуславская
Екатеринбург**

Семантически не освоенные единицы текста в аспекте их восприятия

Уровень развития языковой личности обнаруживается в способности человека к созданию и восприятию речевых произведений

разной степени структурно-языковой сложности [Караулов 1987: 245]. К речевым произведениям, характеризующимся известной смысловой и языковой сложностью, относятся художественные тексты, полноценное восприятие которых является первейшей заботой учителя-словесника. «Какая бы сторона учебной подготовки школьников по литературе ни проверялась, ни оценивалась, в конечном счете выявляется качество их чтения и восприятия прочитанного, способность почувствовать и понять изображаемое» [Учебные стандарты 1998: 142].

Процесс понимания текста имеет многоуровневый характер. Очевидно, главным препятствием к адекватному восприятию художественного текста может явиться присутствие в нем семантически не освоенных читателями слов (аггномимов). Поэтому качество чтения школьников находится в прямой зависимости от их словарного запаса.

Предметом нашего исследования является владение выпускниками средней школы той частью лексики, в основном устаревшей, понимание которой необходимо для полноценного понимания произведений русской классики XIX в. Группе первокурсников было предложено любым способом объяснить значение ряда слов, называющих человека и встречающихся в изучаемых в школе произведениях А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого. Вот некоторые результаты письменного опроса.

Адъютант (слово часто встречается в «Войне и мире» Л.Н.Толстого). Более или менее правильный ответ (например: «в царское время военный помощник высокопоставленного офицера») отмечен, но лишь в 3-х работах из 25. В остальных – либо смутное, либо неправильное понимание семантики слова («помощник», «тот, кто занимается бумажными делами при военных лицах», «должность при царском дворе», «придворный» и др.).

Дворовый. В 12% работ – прочерк вместо ответа. Среди данных толкований преобладают либо приблизительные («слуга»), либо неверные, подсказанные этимологией слова («дворецкий», «слуга во дворе богатого человека», «слуга, выполняющий работу во дворе барина или купца»). Правильные объяснения (например, «крепостные, которые жили в доме помещика») единичны.

Денщик. Нет ни одного сколько-нибудь правильного толкования. В 70% ответов либо неопределенное «слуга», либо неправильное объяснение («рабочий в хозяйстве помещика», «помощник

офицера или чиновника» и др.). При этом почти в половине работ вместо ответа прочерк.

Извозчик. Очевидно, прозрачной этимологией обусловлено отсутствие прочерков, при этом значение слова толкуется слишком расширительно и поэтому неточно («то же, что кучер», «возит помещика или другого богатого человека», «управляющий лошадиной повозкой» и под.). Только в одной из работ мы находим указание (причем остроумное) на важный компонент семантики данного слова – наемный характер экипажа («таксист, управляющий лошадью»).

Почтмейстер. Правильное понимание значения из 25 опрошенных обнаружили лишь двое («управляющий почтовым делом», «чиновник, заведующий почтой»). Остальные информанты дали ответ, обусловленный прозрачной этимологией слова, но неверный (40% ответов – «почтальон», в других работах – «тот, кто возит почту», «работает на почте и знает свое дело»).

Известно, что «самым сильным средством семантизации незнакомых лексических единиц является контекст, однако и он далеко не во всех случаях снимает семантическую неопределенность, оставляя простор для вольного, а часто и абсолютно ошибочного понимания текста» [Черняк 2000: 328]. Все приведенные выше факты красноречиво подтверждают эту мысль. Особенно показателен в этом плане последний пример: ведь почтмейстер – весьма заметная фигура в ближайшем чиновничьем окружении губернатора в «Мертвых душах» и городничего – в «Ревизоре».

Совершенно очевидно, таким образом, что встреча ученика с незнакомым словом в художественном тексте, даже изучаемом в школе, само по себе не обеспечивает усвоение его семантики и пополнения словарного запаса школьника. Для этого необходима специальная целенаправленность и систематическая работа учителя. В подтверждении этого – еще один поразительный пример. Из всех опрошенных первокурсников только пять человек сумели правильно объяснить значение слова *архипелаг* (слово предлагалось вне контекста), присутствующего в названии произведения А.Солженицына. Из 25 информантов пять человек не дали никакого объяснения, остальные толковали значения неправильно: «часть суши», «большой остров», «корабль», «тюрьма», «при Сталине большой лагерь» и под. Но без понимания прямого значения слова *архипелаг*, остается непонятным его метафорическое значение, а

следовательно, и глубокий образный смысл названия знаменитой книги, идейной и художественной роли сочетания слов «архипелаг ГУЛАГ» в контексте произведения. Так невнимание к слову оборачивается непониманием сути изучаемого литературного явления.

Исследователями уже отмечалось «заметное оскудение словарного запаса современной усредненной языковой личности, связанное с количественным сокращением и качественным изменением круга чтения» [Черняк 2000: 321]. Немногочисленные примеры, приведенные здесь, показывают, что многие лексические единицы, принадлежащие к пассивной части современного русского языка, но достаточно широко представленные в произведениях русской классической литературы, для многих выпускников школ остаются агнонимами даже после прочтения соответствующих художественных текстов.

Однако затруднения в восприятии художественного текста связаны не только с агнонимами.

Той же группе первокурсников было предложено своими словами передать содержание, попутно объясняя значения подчеркнутых слов, знакомого им фрагмента из 2-й главы «Евгения Онегина».

*В своей глуши, мудрец пустынный,
Ярем он барицны старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед.*

В этом тексте только историзмы «*барицина*» и «*оброк*» могут быть отнесены к числу агнонимов. Действительно, 80% первокурсников, опрошенных нами, весьма смутно представляют себе значение этих слов, обозначающих важнейшие понятия экономических отношений между помещиком и крепостным крестьянином. Большая часть опрошенных вообще не различают эти понятия, объясняя то и другое как «плату помещику», «дань», «налог», «поборы» и т.д. Таким образом, «*порядок новый*», учрежденный Онегиным в его жизни, понимается как замена большого налога меньшим, что не отвечает смыслу, заложенному в этих строках.

Другие слова, подчеркнутые в предложенном отрывке (*раб, угол, сосед*), разумеется, агнонимами не являются, однако правиль-

ная смысловая интерпретация данного поэтического текста невозможна без понимания их контекстуального значения. Проведенный эксперимент показал, что и это вызывает серьезное затруднение у недавних выпускников школ. Так, если собирательное метафорическое значение слова *раб* большинством опрошенных понято верно, то слова *угол* и *сосед* получили во многих работах наивное, иногда нелепое толкование: *угол* – «ничтожное место, предназначенное для жизни раба», «где-то у себя дома, но не буквально у себя в комнате». *Сосед* – «человек, равный по сословию», «сборщик оброков или дворянин, который пытался собрать большие налоги», «человек, который жил рядом в доме» и т.д. Естественно, что при пересказе текста информанты не могли объяснить, кто именно надудся на Онегина и за что. Совершенно очевидно, что затруднения в восприятии текста связаны в этом случае не с бедностью словарного запаса, а со скудостью знаний культурно-исторического плана, совершенно необходимых для понимания социально-бытового фона, на котором разворачивается сюжет художественного произведения, для понимания расстановки, взаимодействия, поступков и переживаний его персонажей. Здесь на первый план выступает на собственно лингвистический (словарный запас), а лингвокогнитивный уровень развития языковой личности, так называемый «тезаурус личности», в котором запечатлен образ мира, система знаний о нем [Караулов 1987: 245]. Оба этих уровня тесно связаны между собой и взаимодействуют. Обогащение и углубление знаний о мире, в том числе знаний культурно-исторических, ведет к расширению словарного запаса. Способность же к правильной интерпретации семантики слова обеспечивает не только коммуникативно-речевые, но и познавательные возможности человека, повышает его способность ориентироваться в сложной системе понятий и проблем, что совершенно необходимо для адекватного восприятия художественного текста. И во всех случаях эффективное обучение языку и литературе, а следовательно и формирование достаточно развитой языковой личности учеников возможно лишь при условии постоянного внимания к значению слова со всеми его контекстуальными оттенками, смысловыми и эмоционально-образными наращениями в составе художественного текста [Купина 1991: 126].

Литература

- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
Купина Н.А. Работа над словом // Методика развития речи на уроках русского языка. – М., 1991.

Учебные стандарты школ России. – М., 1998. – Кн.1.

Черняк В.Д. Слова, которые мы не знаем // Культурно-речевая ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000.

© Богуславская Н.Е., 2005

Т.В.Гоголина

Екатеринбург

Специфика организации функционально-семантического поля сомнительности

Русскому языку свойственны в основном функционально-семантические категории (далее – ФСК), обладающие морфологическим ядром выражения инвариантного значения. Морфологическим ядром многих ФСК служат глагольные категории: для категории персональности ядром выступает морфологическая категория лица глагола; для категории аспектуальности морфологическим ядром является категория вида глагола, для темпоральности – времени, для категории модальности морфологическим ядром становится категория наклонения и т.д. [Бондарко 1983].

ФСК модальности рассматривается как комплекс модальных полей, где поле определяется как совокупность взаимодействующих разноуровневых языковых элементов, которые объединены семантической функцией. Макрополе модальности включает систему микрополей. Микрополе определяют как минимальное образование в системе функционально-семантического поля (далее – ФСП), обладающее относительной самостоятельностью в плане выражения и содержания. Как макрополе, так и микрополе обладают следующими признаками: 1) выполнение семантической функции, которая объединяет в систему разнородные языковые элементы; 2) взаимодействие элементов разных уровней языка.

ФСП сомнительности, по нашему мнению, обладает этими признаками, поэтому действительно является микрополем, взаимодействующим с другими микрополями, которые в итоге образуют сложную структуру ФСК модальности. Хотя данная ФСК имеет морфологическое ядро – глагольное наклонение, этот признак не распространяется на все микрополя, составляющие данную категорию. Можно отметить, что ФСК модальности включает микрополя разного типа: как имеющие морфологическое ядро, так и не имеющие такового. ФСП сомнительности относится к числу последних. При отсутствии морфологической категории в качестве ядерного средства могут использоваться лексические или синтаксические

средства. Рассмотрим особенности строения ФСП сомнительности как поля, не имеющего морфологического ядра.

Под сомнительностью понимается состояние неуверенности говорящего в истинности, достоверности пропозиции, основанное на достаточности или недостаточности знаний субъекта речи (говорящего) о предмете речи (о содержании пропозиции).

В основе значения сомнительности лежит выражение говорящим сомнения в отношении того или иного факта действительности. Сомнение передает полноту или неполноту знаний субъекта речи о ком-то или о чем-то, которая становится основой его неуверенности в том, что какой-либо факт соответствует действительности. Для осуществления ситуации сомнения необходимо наличие трех основных составляющих: 1) того, кто подвергает сомнению что-либо; 2) того, что подвергается сомнению; 3) проявление первым отношения (модальной оценки) ко второму.

На создание ситуации сомнения могут повлиять такие факторы, как а) наличие/отсутствие непосредственного контакта говорящего с объектом модальной оценки; б) характер мотивированности сомнения, т.е. сам говорящий с его субъективным восприятием действительности или данные и свидетельства других источников информации (не говорящий, третье лицо, группа лиц, в которую не входит говорящий и др.). Значение сомнения как инвариантная основа сомнительности, т.е. тот интеграционный стержень, который, собственно, и создает ФСП сомнительности, опирается на семантические отношения неуверенности, имеющие оппозитивную пару – семантические отношения уверенности. ФСП сомнительности включает целый ряд вариантных значений, осложняющих инвариантное разнообразием своих модификаций, которые формируются на пересечении микрополей в процессе функционирования ФСП сомнительности в пространстве модальности достоверности: сомнительно-предположительное, сомнительное-кажимостное, сомнительно-вероятностное и др. Сомнительность, в свою очередь, может оказаться на периферии других, смежных с ней полей, таких, как предположительность, вероятность, кажимость и др. Данные ФСП влияют друг на друга.

Для выражения семантики сомнительности в русском языке сложилась система средств, которая включает как языковые, так и неязыковые средства (мимика, жест, поза). Неязыковые средства являются предметом специального изучения других наук, связан-

ных с речевой деятельностью человека. Мы же рассмотрим систему языковых разноуровневых средств выражения ФСП сомнительности, которые включают:

1) лексико-семантические, к которым относятся имена существительные (*неуверенность, подозрение, недоумение, сомнение и др.*); имена прилагательные (*сомнительный, подозрительный и др.*); глаголы (*колебаться, недоумевать сомневаться и др.*); наречия (*сомнительно, неуверенно, подозрительно и др.*), обладающие семей сомнения. Данные средства реализуют свое значение в контексте: *В последнюю нашу встречу вы неправильно меня поняли. Я сомневаюсь, что всё решится положительно* (Аксёнов);

2) фразеологические (*бабушка (еще) надвое сказала (гадала); антроны едут; вилами по (на) воде писано и др.*):

– Ты станешь знаменитостью.

– Это еще бабушка надвое сказала.

3) лексико-грамматические, объединяющие

а) модальные частицы (*вряд ли, едва ли, вроде бы, разве, неужели, якобы и др.*): *Вряд ли мы легко справимся с этой задачей;*

б) вводно-модальные компоненты (*видимо, кажется, наверное, по-видимому, может быть, по всей вероятности и др.*): *Это было, кажется, лет пятнадцать тому назад.*

4) синтаксические, спектр которых достаточно широк:

а) нечленимые предложения –

Паша подходит к дивану, накрытому чехлом, снимает чехол.

Паша. Музейная вещь.

Надя. Неужели?! (Славкин);

б) общевопросительные предложения, обычно содержащие частицы: *Не спешат ли ваши часы? Вы как будто не знаете сути данного дела?*

в) односоставные инфинитивные предложения, включающие частицы (*ли, неужели, разве и др.*): *Не уехать ли нам сегодня? Не бросить ли все дела?*

г) СПП с придаточным изъяснительно-объектного типа: *Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям* (Гоголь);

д) БСП объяснительного типа семантических отношений: *Я сомневался: уйти мне или остаться?*

5) интонационные, самостоятельно не создающие описываемой семантики, но актуализирующие действие средств других типов.

Специфической сущностью ФСП сомнительности является отражение сложного взаимодействия разноуровневых языковых элементов на основе их функционального и семантического сходства в речевой деятельности. Часто значение сомнительности передаётся комплексом средств. Например: *А сердце нет-нет да занает: неужели же она моей будет?* (Шукшин). Для выражения сомнения говорящий использует частицу *неужели* (лексико-грамматическое средство) в вопросительном предложении (синтаксическое средство).

Средства выражения ФСП сомнительности делятся на ядерные и периферийные. Ядерные средства способствуют формированию инвариантного значения микрополя, а периферийные оформляют варианты значения полей или усиливают ядерные, т.к. часто являются общими для нескольких полей. Например: а) *Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил его (Обломова) появление на свет* (Гончаров). Частица *едва ли* является ядерным средством выражения ФСП сомнительности, т.к. передаёт только данное значение; б) *Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, подружились* (Бунин). Частица *как будто* относится к периферийным средствам выражения семантики сомнительности, т.к. служит для передачи не только данного значения, но и значения кажимости.

Таким образом, ядро средств выражения ФСП сомнительности составляют лексико-семантические, фразеологические и лексико-грамматические средства (специализированные модальные частицы, вводно-модальные компоненты, обладающие семантикой сомнительности, которая полностью исчерпывает их языковую необходимость, т.е. они используются в языке только для выражения значения сомнительности в ее инвариантном проявлении). На периферии располагаются лексико-грамматические (модальные частицы и вводно-модальные компоненты, передающие варианты значения сомнительности), а также синтаксические и интонационные средства, актуализирующие действие ядерных средств.

Литература

- Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М., Л., 1964.
Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. – Л., 1983.

© Гоголина Т.В., 2005

**Источники территориального варьирования лексики
в частных уральских диалектных системах**

Своеобразие языковой среды на территории Урала связано с особенностями заселения региона, в результате в одном и том же населенном пункте оказались носители различных русских говоров: севернорусских, южнорусских, среднерусских, которые вступали во взаимодействие между собой и с аборигенами края (коми, манси, ханты, татары, башкиры и др.). На особенности языковой среды конкретной территории Урала влияли и другие факторы: миграция населения на самом Урале, переселение на Урал людей других национальностей (украинцев, белорусов, латышей, немцев и др. в разные периоды), миграция внутри страны (СССР): из Сибири, с Дальнего Востока и с других территорий. Поэтому лингвистическая история Урала тесно связана с историей взаимодействия народных групп разного происхождения. Нельзя не отметить и активного влияния литературного языка на формирование и функционирование конкретных уральских диалектных систем. На образование особенностей частных диалектных систем (далее – ЧДС) уральской территории оказали влияние и другие факторы: оторванность от материнских говоров, своеобразие культурно-исторического и общественно-хозяйственного развития, связанного со спецификой природных, климатических условий, различия в укладе жизни и т.д.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы показать некоторые лексико-семантические особенности конкретных уральских ЧДС на материале источников территориального варьирования лексики. ЧДС, согласно концепции Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой, – это микросистема, которая при диалектном членении языка дальше не делится.

Под территориальным варьированием лексики мы понимаем наличие в ЧДС нескольких лексических единиц для номинации одного и того же понятия. Другими словами, одна единица плана содержания имеет в ЧДС несколько единиц плана выражения. Это связано с различными способами вербализации определенной языковой сущности, имеющей локальные черты.

Одним из источников территориального варьирования лексики в ЧДС является разнодиалектный и разноразноязычный состав носителей

этих систем. Характер взаимодействия различных русских говоров в конкретной уральской ЧДС был неодинаковым. Поэтому в уральской диалектологии в зависимости от характера взаимодействия между разными диалектами на территории одной ЧДС выделяются два типа ЧДС: 1) системы, в которых видны черты материнских говоров, 2) системы полидиалектные изначально. Например, ЧДС д.Марково Талицкого района Свердловской области относится к первому типу, так как в ее лексике проявляются как черты материнской (вологодской) системы, так и других русских говоров. Так, в семантической общности «кушанья» есть такие слова, как: *морковница* ‘кушанье из толчёной моркови с молоком, запечённое в печи’, волог. (СРНГ, вып. 18: 266), *губница* ‘грибной суп’, арх., волог. (СРНГ, вып. 7: 195), *картовница* ‘кушанье из тушённой со сметаной кислой капусты’, киров. (СРНГ, вып. 13: 60); *каравай* ‘хлеб из любой муки’, новгород. (СРНГ, вып. 13: 65); *завитушка* ‘крендель’, моск., псков. (СРНГ, вып. 9: 319); *заваруха* ‘мясной суп, приготовленный из муки, заваренной кипятком’, волог., ленингр., костром., пензен., самар., среднеур. (СРНГ, вып. 9: 297); *дрочёна* ‘картофельная запеканка’, тамб., москов., владимир., костром. (СРНГ, вып. 8: 201); *забела* ‘сметана’, вят., костром., волог., твер., сарат., москов., калуж., тамбов. (СРНГ, вып. 9: 250) и др. Необходимо также отметить, что в системе говора есть слова, появившиеся на Урале. Опираясь на данные СРНГ, можно указать в рассматриваемой семантической общности слова такого типа: *глазовка* ‘яичница’, свердл., Ср-Ур. (СРНГ, вып. 6: 189); *буторма* ‘недоброкачественная жидкая пища или напиток’, свердл. (СРНГ, вып. 3: 389). Некоторые слова имеют в уральских говорах иное значение, чем в первичных. Например, слово *молочница* в говоре д. Марково употребляется со значением ‘кушанье из яиц, смешанных с молоком и запечённых в печи’, в первичных говорах – ‘жидкая мучная каша на молоке’, арх. В части уральских говоров оно функционирует с иным значением ‘молочный суп’. Подобные языковые факты говорят о том, что в уральских говорах, как правило, оторванных от материнских говоров, происходили внутрисистемные изменения, связанные со многими факторами, как то: различия в менталитете русских людей, живущих на разной территории, неодинаковое мировосприятие носителей различных диалектов, различия в укладе жизни и т.д.

И в других ЧДС Урала многие лексические единицы приобрели другое или другие значения по сравнению с первичными говорами. Например, в семантической общности «названия различных видов леса» слово *дуброва* ‘лес’ употребляется в с. Корзуновка Ачитского района с собирательным значением, являясь вариантом общенародного слова *лес*. В псковских говорах отмечается это слово с указанным значением. В других первичных говорах иное значение этого слова: ‘возвышенное место с редким, но крупным берёзовым лесом’, волог. (СРНГ, вып. 5: 240); ‘трава’ (олон., там же). Слово *дубьё* функционирует в том же уральском говоре со значением ‘молодой лес из деревьев разных пород’; в первичных говорах – ‘дубы’, казан., кур., тул., твер. (СРНГ, вып. 8: 242). Причин тому много, как лингвистических, так и нелингвистических.

Кроме того, во многих ЧДС есть слова, возникшие в самой уральской системе. Например, в ЧДС д. Корзуновка Ачитского района Свердловской области появились слова *сырник* ‘сырые дрова’, *пожар* ‘выгоревший лес’, *яложник* ‘молодой лес’ и другие: их нет ни в одном диалектном словаре и в других ЧДС. Эти факты свидетельствуют о том, что ЧДС уральской территории – это функционирующие системы, имеющие свои внутрисистемные изменения, обусловленные многими факторами, в своем большинстве внеязыковыми: различиями в материальной и культурной сферах жизни носителей диалекта, в неодинаковом мировосприятии денотативного пространства, традициях и т.п.

Другим источником территориального варьирования лексики в ЧДС является неодинаковое образное восприятие одной и той же реалии разными носителями ЧДС, что связано с неодинаковым видением денотативного пространства конкретной личностью или определенным социумом, с различиями в образной и эмоциональной сферах последних. Наиболее ярко это проявляется при сопоставлении архаической и переходной подсистем в ЧДС.

Диалектологические работы последних лет показали, что системность лексики говора одного населенного пункта признается уже всеми диалектологами. Разные мнения высказываются лишь по поводу того, существует ли несколько систем в современном диалекте или одна система с вариантными звеньями. И.А.Оссовецкий, Ф.П.Сороколетов и другие считают, что об одной системе диалекта можно говорить только в том случае, если рассматриваются языковые факты, не выходящие за пределы жизни одного поколения.

Другие диалектологи (например, Р.И.Аванесов, Ф.П.Филин) полагают, что можно говорить о единой диалектной системе, элементы которой функционируют в основном в двух звеньях: архаическом и переходном. Третьи (например, Л.М.Орлов) выделяют в пределах одной системы разные типы диалектной речи: 1) диалектный тип (речь старшего поколения), 2) литературный тип (речь местной интеллигенции), 3) средний, скрещенный (промежуточный). Различное понимание этого вопроса связано с тем, что в диалектной лексикологии пока однозначно не определены основные параметры лексико-семантической системы и их особенности по сравнению, например, с литературной системой. Нам представляется, что при решении этого вопроса необходимо исходить из специфики параметров лексико-семантической системы в диалекте. Одним из существенных компонентов ее, с нашей точки зрения, являются лексико-семантические парадигмы (далее – ЛСП), поэтому в зависимости от того, как исследователь определяет основные особенности диалектной ЛСП, он по-разному ответит на поставленный вопрос. Если в определении учитывать, наряду с другими признаками, ареал функционирования ЛСП, а в речи 1-го и 2-го поколений ЛСП имеют один и тот же ареал, то в современном диалекте следует рассматривать одну лексико-семантическую систему с вариантными ее звеньями. Но если в определение диалектной ЛСП ввести и социолингвистический фактор и считать его одним из существенных признаков диалектной ЛСП, то в современной диалектной системе необходимо признать сосуществование двух взаимосвязанных систем: архаической и переходной. Анализ ЛСП как основных компонентов лексико-семантической системы современного говора с.Бутка Талицкого района Свердловской области в социолингвистическом аспекте показывает, что их характер в системах архаического и переходного говора неодинаков. Неодинакова лексическая наполняемость многих ЛСП. Ср., например, ЛСП с общим семантическим компонентом ‘домотканная хлопчатобумажная ткань’: в архаической системе – *белина, гренетур, кеж, кумач, новина, парусина, пестрядь, холст*; в переходной системе – *кеж, парусина, холст*. Различная наполняемость ЛСП связана прежде всего с тем, что уходят из повседневной жизни те или иные реалии, поэтому слова, их обозначающие, нередко сохраняются только в речи представителей архаического говора (*новина, кумач, пестрядь, белина, гренетур* и т.д.). Кроме того, представители архаического говора те

или иные реалии нередко называют “по-старому”. Например, диалектоносители архаической системы говора д.Корзуновка булочку из сдобного теста называют словами *сдобушка*, *сдобулька*, носители переходной системы, особенно лица мужского пола, – *сдоба*. Ср. также *помакуша* (в архаической системе) и *помакуха*, *помакушка* (в переходной системе) – ‘жидкое кушанье, приготовленное из молодой черемухи и других ягод, из грибов, а также из распаренного конопляного семени, в которые макают хлеб’. Заметим, что в последних двух примерах проявляется и личностное отношение к называемому (см. высказывание диалектоносителя: «*Это што за еда, помакуха, она и есть помакуха*» – Корзуновка), подобные контексты говорят о различиях в ценностной культуре диалектоносителей.

Примеры типа *смерть* – *подбериха*, *мертвец* – *жмур* говорят о конкретности образного восприятия окружающего мира диалектным социумом, носителем ЧДС. Подобный языковой материал ЧДС, рассмотренный с психолингвистической точки зрения, позволит выявить региональные особенности языкового сознания диалектоносителей ЧДС, особенности восприятия денотативного пространства носителями конкретных уральских ЧДС.

Третьим источником территориального варьирования лексики в ЧДС является неодинаковое образно-эмоциональное восприятие окружающего мира диалектоносителями одной и той же ЧДС, что свидетельствует о неодинаковости психо-эмоциональной сферы людей, являющейся естественным проявлением индивидуальных особенностей носителей ЧДС. Например, в говоре с.Бутка Талицкого района Свердловской области одни диалектоносители употребляют слово *жигало* как для обозначения палки для ворошения углей, так и для названия вертлявого человека. В этом случае первое значение послужило образом, на базе которого диалектоноситель называет лицо, своими действиями напоминающее предмет, с помощью которого производятся определенные действия с углями. Другие носители той же ЧДС употребляют приведенное слово только с первым значением, что говорит о различиях в характере ассоциативных представлений у разных носителей одной и той же ЧДС и приводит к различиям в ассоциативных связях слов у носителей одной и той же ЧДС. Например, старую, изношенную одежду в говоре д.Корзуновка старшее поколение называет словом *лопотье* (по ассоциации с диалектным словом *лопоть*), представители

переходного говора – *старье* (по признаку реалии и соотносительности со словом *старый*). См. также слова: *тяпка* – *пропольник* (разные ассоциации, связанные с характером восприятия диалектоносителем действия: *тяпать* – само действие, названное глаголом, *прополоть* – результат этого действия). Подобное явление наблюдается и в литературном языке, но в ЧДС оно представлено богаче, так как возможностей выбора у диалектоносителей больше: ЧДС включает систему архаического говора и систему переходного, языковые особенности литературного и общенародного языка, языковые особенности «родного» говора и другого или других, последнее касается в основном вторичных говоров, на основе которых написана настоящая статья, и т.д.

Четвертым источником территориального варьирования лексики в ЧДС является выбор диалектоносителями этой системы из общенационального языка неодинаковых моделей для создания слов, служащих номинацией одной и той же реалии. Например, в д.Корзуновка в речи одних диалектоносителей нами записано слово *бурелом*, используемого для названия поваленного бурей леса, в речи других -- *буреломник*. Первое слово образовано по модели: бур-я + лом-ать + соединительная гласная; второе слово образовано по другой модели: бур-я + лом-ать + суффикс -ник. Таких примеров в нашем материале, взятом в разных ЧДС уральских говоров, довольно много. Приведем некоторые из них: *брусника*, *брусняна* (д.Васькино Нижнесергинского района Свердловской области), *голубика*, *голубяна* (д.Корзуновка), *земляна*, *землянига*; *брусника*, *боровика* (д.Останино) и т.д.

Следующим, пятым, источником территориального варьирования лексики в ЧДС являются особенности протекания общеязыковых процессов в конкретной системе, при этом необходимо учесть, что ЧДС, как отмечалось выше, включает две системы: архаическую и переходную. Например, в говоре с.Бутка процесс семантического отталкивания произошел между словами *щи* (готовится без мяса) и *борщ* (готовится с мясом) и зафиксирован нами в речи старшего поколения носителей ЧДС. В переходной системе чаще функционирует слово *борщ*, впитавшее в себя оба значения («*Что борщ, что щи – одно и то же*», – из речи диалектоносителя 30-ти лет). Между словами *опояска* и *гасник* в той же ЧДС произошел процесс семантического отталкивания – первое слово стало обозначать пояс из бечевы, используемый для будничной одежды, вто-

рым словом называют тонкий пояс для праздничной одежды. В других уральских ЧДС нет слова *опояска*, поэтому словом *гасник* диалектоносители называют любой пояс для одежды. Следовательно, в последних системах процесс семантического отталкивания не мог иметь места. Приведенные слова говорят о различии в источниках территориального варьирования лексики в уральских ЧДС.

Шестым источником территориального варьирования лексики в уральских ЧДС является возможность использования диалектоносителями единиц русской языковой системы и системы языка коренного населения уральского региона. Например, в говоре д.Поползуха Артинского района Свердловской области одни диалектоносители используют татарское слово *арема* для названия леса по берегам рек, озер (татар. арома «мелкий и очень частый кустарник»), другие для названия той же реалии употребляют русское слово *бережина*, образованное по модели: берег(ж)+ин +а (ср. соломина, горошина и под.)

Неодинаково в ЧДС протекает и лексико-семантический процесс, обусловленный общеязыковым принципом экономии языковых усилий. Так, в архаической системе широко употребляются слова типа *крученка*, *носовик*, *висячка* и под., тогда как в переходной системе им соответствуют словосочетания соответственно *крученая нитка*, *носовой платок*, *висячий замок* и под., последнее можно объяснить, возможно, большим влиянием литературного языка на переходный говор. Но в отличие от уральской диалектной макросистемы, этот лексико-семантический процесс не охватывает многозначные слова в ЧДС.

Изучение источников территориального варьирования лексики в ЧДС дает возможность сделать следующие выводы.

1. Большинство источников территориального варьирования лексики в ЧДС совпадает с источниками лексического варьирования в макросистеме уральских говоров: разнодиалектный и разноразличный состав населения – носителя ЧДС, неодинаковое восприятие диалектоносителями окружающего их денотативного пространства, в том числе и различия в образно-эмоциональном его восприятии, выбор диалектоносителями неодинаковых моделей номинации одной и той же реалии; наличие в ЧДС двух взаимосвязанных систем: архаической и переходной; интенция говорящего, заключающаяся в том, чтобы не просто назвать, а номинировать образно; характер протекания семантических процессов в ЧДС.

2. Есть отличия в источниках территориального варьирования лексики в макросистеме уральских говоров и ее ЧДС: степень продуктивности источников неодинакова в разных уральских ЧДС, неодинаков характер протекания общеязыковых лексико-семантических процессов, степень сохранения в ЧДС древнерусского наследства.

3. Перспективным представляется дальнейшее изучение других ЧДС в аспекте источников территориального варьирования лексики, что может расширить, углубить наши представления о характере ЧДС и внести существенные дополнения в наши представления о региональной языковой картине мира, так как даст возможность выявить не только общие принципы видения мира диалектоносителями разной территории функционирования русского языка, но и особенности мироощущения как определенного социума-носителя ЧДС, так и отдельных его представителей. Неодинаковость представления языковой картины мира (далее – ЯКМ) на разной территории функционирования русского языка связана и с особенностями ЧДС, в частности, с конкретными источниками территориального варьирования лексики.

4. С психолингвистической точки зрения рассмотренный материал интересен при изучении языкового сознания социума-носителя ЧДС и отдельной личности, пользующейся последней, что поможет выявить и глубже изучить параметры и национальный тип русского менталитета через его языковое выражение.

5. Исследованный материал убеждает в том, что изучение ЯКМ в региональном аспекте через ЧДС поможет глубже понять характер восприятия окружающего денотативного пространства как социумом определенной территории, так и отдельными личностями этого социума, раскрыть их образно-эмоциональную сферу, выявить общие и индивидуальные черты их менталитета, что будет способствовать более глубокому проникновению в сущность ЯКМ.

© Демидова К.И., 2005

**Т.А.Злыденная
Екатеринбург**

Ключевые слова в структуре концепта *труд*.

Одной из первоочередных проблем лингвокультурологического описания концепта является вопрос о выборе его названия [Бабушкин 1997]. Очевидно, что выбор названия концепта культуры условен. Одно имя не может охватить всех смыслов, обобщить все ре-

презентации, которые соотносятся с тем или иным концептом. Поэтому вопрос заключается в том, чтобы выбрать название, которое могло бы выполнить наиболее полно эти функции.

Выбор имени концепта связан с понятием «ключевое слово». Как отмечают многие исследователи (см. Манерко 2000, Бабушкин 1997, Голованивская 1997), для ключевых слов характерен простой семный состав значений, обуславливающий общепотребительность, частотность, свободную сочетаемость этих слов. Ключевые слова, по замечанию Л.А.Манерко, «формируют ядро репрезентаций того или иного концепта. Они первыми приходят на ум, когда возникает необходимость обозначить данный концепт» [Манерко 2000: 42].

В.В.Колесов отмечает: «Концепт... грамматически может быть представлен в виде имени, выражающего обобщенный признак» [Колесов 1999: 158]. Иначе говоря, оптимальной грамматической формой названия концепта в русском языке чаще всего является абстрактное имя существительное. Оно, по мнению М.К.Голованивской, «ввиду своей семантической нечеткости, обусловленной тем, что соотносится со слабым, не указывающим на реально существующий предмет референтом, наиболее емко репрезентирует те или иные смыслы» [Голованивская 1997: 19].

Сложность выбора имени концепта *труд* состоит в том, что он репрезентируется тремя ключевыми словами **труд**, **работа**, **дело**, семантика которых составляет ядро содержания данного концепта. Цель статьи – исследовать эволюцию формирования семантической структуры каждого ключевого слова концепта *труд*.

Для анализа использовались словарные статьи следующих лексикографических источников: «Материалы для словаря древнерусского языка» И.И.Срезневского (далее СДЯ), «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И.Даля (далее СД), «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах (далее БАС). СДЯ позволяет установить исходную точку в процессе концептуализации трудовой деятельности в русской культуре, отраженном посредством многозначности ключевых слов. Материалы СД и БАС помогают выявить когнитивные стратегии осмысления труда в XIX и XX вв.

Проанализируем семантическую структуру каждого ключевого слова, используя методику, предложенную Г.В.Токаревым [см. Токарев 2003].

Слово **работа** в древнерусском языке, по данным СДЯ, имело 5 значений: 1) 'рабство, неволя'; 2) 'пленение, увод в плен'; 3) 'порабощение'; 4) 'служение'; 5) 'труд' [Т. III, ч.1: 1-4].

Как видим, трудовая деятельность интерпретировалась как атрибут рабства, неволи, как деятельность, которая совершается вопреки собственной воле. Показательно, что в роли первого мотивирующего значения выступает семема, вербализующая в языке смысл «социальная несвобода». Т.А.Дегтярева отмечает: «Представление о труде как наказании могло возникнуть, когда труд уже не был общественной необходимостью для всех членов общества, когда труд стал уделом раба» [Цит. по: Левицкий, Стернин 1989: 83-84]. Интересующее нас 5-е значение «труд», по всей вероятности, мотивировано 4-м значением «служение»: оно возникло на базе расширения 4-го значения («служение» → «трудовая деятельность вообще»).

С позиций современного сознания, анализируемое многозначное слово соотносится с двумя концептами: *рабство* и *труд*, причем первый мотивирует второй. В сознании же древнерусского человека труд представлялся одной из функциональных составляющих рабства. Процесс трудовой деятельности осмысливается целостно, о чем свидетельствует эксплицированный семный состав пятого значения.

Укажем особенности семантической структуры другого ключевого слова данного концепта – слова **труд**. Это слово, по данным СДЯ, имело 13 значений: 1) 'работа'; 2) 'трудом добытое, сделанное'; 3) 'трудность'; 4) 'деятельность'; 5) 'старание'; 6) 'забота'; 7) 'беспокойство'; 8) 'подвиг'; 9) 'страдание'; 10) 'скорбь, горе'; 11) 'боль'; 12) 'болезнь, недуг'; 13) 'грех' [Т. III, ч.2: 1005-1006].

Данный полисемант отражает иную стратегию концептуализации. Труд осмысливается не только в акциональном (1, 2, 4, 5, 6-е значения), но и в духовном (3, 7, 8, 9, 13-е значения) и физиологическом ракурсах (11, 12-е значения). По числу семем видно, что трудовая деятельность понимается прежде всего как явление, имеющее акциональную или духовную природу. Иначе говоря, **труд** в сознании древнерусского человека – это выполнение того или иного дела, или работа души, или претерпевание той или иной боли. В связи с этим можно предположить, что концепт *труд* в древнерусской культуре был тесно связан с концептами *внутренний мир человека* и *физиология человека*.

Каковы отношения между лексико-семантическими вариантами данного многозначного слова? Идея труда включает в себя не только процесс (1-е значение), но и его результаты (2-е значение), отношение к этому виду деятельности (5 и 6-е значения). Однако четкости в концептуализации труда еще не наблюдается: труд – это не только действия, направленные на создание чего-либо, но и деятельность вообще (4-е значение).

Труд осмысливается не только как деятельность материальная, физическая, но и духовная. Отрицательные концептуальные коннотации, сопровождающие первое значение, находят свою реализацию в уподоблении труда психическим состояниям беспокойства, страдания, скорби, грехопадения (7, 9, 10, 13-е значения).

Русские стереотипы и культурные установки этого времени квалифицируют включение человека в трудовую деятельность как подвиг, одобряя тем самым поведение людей, которые мужественно переносят тяготы судьбы (8-е значение).

Таким образом, древнерусское слово **трудъ** отражает иные, в отличие от слова **работа**, когнитивные стратегии. Анализ значения слова **трудъ** показывает, что наиболее значимыми оказываются следующие признаки: «результат труда», «отношение к труду». Кроме того, важны такие моменты, как «отрицательное душевное состояние человека», «болезнь», «совершение подвига». Тем самым данное слово восполняет невербализованные словом **работа** смыслы.

Рассмотрим особенности когнитивных стратегий, отраженных древнерусским словом **дѣло**. Это слово, по данным СДЯ, имело 12 значений: 1) 'деятельность'; 2) 'поступок, деяние'; 3) 'способность, образ'; 4) 'работа, труд'; 5) 'подвиг'; 6) 'сражение'; 7) 'спор, тяжба'; 8) 'состязание'; 9) 'сила, энергия'; 10) 'ценность, достоинство'; 11) 'заслуга'; 12) 'образец, подобие' [Т.1, ч.1: 786-789].

Данное слово отражает господство одной когнитивной стратегии, определяющей возникновение новых признаков – осмысление трудовой деятельности в акциональном ключе. Указанная тенденция находит свое отражение в том, что доминирующей является сема «действие».

Значения анализируемого многозначного слова показывают, что в обыденном понимании трудовая деятельность недостаточно четко отграничена от других видов человеческих практик: взаимосвязанными являются понятия о военных действиях, соревнованиях,

спорах, состязаниях (4, 6, 7, 8-е значения). Связь с этими значениями показывает, что трудовая деятельность осмысливается как борьба человека с чем-либо. Такой ракурс концептуализации трудовой деятельности дает основания считать, что при уподоблении ее подвигу (5-е значение) существенными становятся мотивы борьбы и победы.

Значение слова **дѣло** отражает новые аспекты концептуализации. Во-первых, вербализуется понятие «фазы деятельности» (2-е значение). Во-вторых, объективируется понимание того, что для выполнения деятельности необходимы силы и умения (3-е и 9-е значения). В-третьих, репрезентируются представления о ценности и оценке деятельности (10-е и 11-е значения). Кроме того, 12-е значение этого слова отражает высокую степень абстрагирования действительности сознанием человека. Древнерусский человек уже мог мыслить об образце, эталоне той или иной деятельности.

Таким образом, значения слова **дѣло** отражают осмысление трудовой деятельности в единстве со многими другими человеческими практиками, то есть отличия данного вида деятельности от других только намечаются. Наиболее важными оказываются такие признаки, как «деятельность», «фазы деятельности», «образцы практик», «умение», «подвиг», «виды деятельности».

Итак, в древнерусской культуре концепт *труд* не получил еще четкого содержания. С одной стороны, можно говорить, что он пока не выделился из концепта *деятельность*, с другой – имел тесные связи с мотивируемыми им концептами *рабство*, *внутренний мир человека*, *физиология человека*.

Рассмотренные ключевые слова своими значениями объективировали следующие наиболее важные составляющие концепта *труд*: процесс трудовой деятельности, ее фазы, результат труда, отношение к труду, умение.

Осмысление труда является активным когнитивным процессом, что отражают концептуальные стратегии, рассматривающие данное явление в акциональном, социальном, физиологических аспектах.

Анализ структуры многозначных слов показывает, что каждое из них дополняет друг друга в процессе объективации знаний, соотносящихся с концептом *труд*:

- 1) делать что-либо вопреки своему желанию/воле (работа);
- 2) испытывать напряжение, прилагать усилия (труд);
- 3) действие (дело).

Анализ смысловой структуры древнерусских слов **работа**, **труд**, **дѣло** позволяет реконструировать следующие стереотипы понимания трудовой деятельности:

- труд – это рабство (удел рабов);
- труд – это муки души;
- труд – это муки тела;
- труд – это борьба;
- труд – это выполнение того или иного вида деятельности.

Очевидно, что эксплицированные стереотипы воплощают в целом отрицательное отношение к труду, его нежелание и неприятие. Подобная точка зрения отражена в работе А.Я.Гуревича: «Оценка крестьянского труда в раннефеодальном обществе была противоречива, но в целом сравнительно низка ... Труд для зависимого крестьянина – суровая материальная и социальная необходимость» [Гуревич 1990: 36-37].

«Словарь живого великорусского языка» В.И.Даля отражает концептосферу русской культуры, сложившуюся к XIX веку. Рассмотрим изменения в семантической структуре ключевых слов концепта *труд*, зафиксированных в этом словаре.

Слово **работа** в СД имеет 4 общеупотребительных и 2 специальных значения. Перечислим только общеупотребительные: 1) 'действие по глаголу работать, труд, занятие, дело, упражнение, делание'; 2) 'рабство, состояние в рабстве'; 3) 'самое дело, вещь, что сработано'; 4) 'качество ея, по отделке' [Т.IV: 5-6].

Приведенные значения в сравнении со значениями этого слова, зафиксированными в СДЯ, указывают на смену ценностной парадигмы, влияющей на процесс концептуализации. Осмысление работы как атрибута рабства, хотя и не полностью, но преодолено. Первое значение стало указывать на процесс трудовой деятельности. Два значения – 'пленение, увод в плен', 'порабощение' – ушли в пассивный запас, продемонстрировав тем самым неактуальность репрезентированных ими смыслов для лингвокультурной общности, изменение концептуальных стратегий. Появление новых смыслов опирается на смежность: действие → само дело → качество его по отделке. Таким образом, отражение действительности осуществляется как бы «пошагово»: от идеи труда к осмыслению его результата, от понимания результата к познанию его качественной стороны.

Лексико-семантические варианты данного слова отражают следующие наиболее значимые признаки концепта *труд*: «процесс трудовой деятельности», «результат деятельности», «качество изделия, работы».

Итак, можно сделать вывод, что семантическая структура слова *работа* подверглась трансформации. В диахронном аспекте ее можно представить следующим образом: «делать что-либо вопреки своему желанию, воле» → «делать что-либо».

Рассмотрим изменения в семантической структуре слова *труд*. По данным СД, это слово имеет 6 значений: 1) «работа, занятие, упражнение, дело»; 2) «все, что требует усилий, старания и заботы»; 3) «всякое напряжение телесных или умственных сил»; 4) «все, что утомляет»; 5) «последствие работы, старания, напряженья, сделанная вещь»; 6) «болезнь, боль, хворь, недуг, нездоровье» [Т.IV: 436].

Мы видим, что семантическая структура данного слова не претерпевает значительных изменений. Значения «старание», «забота», «беспокойство», «страдание», «скорбь» обобщаются (2, 3, 4-е значения). Таким образом, семный состав значений указывает на процессы абстрагирования. Кроме того, происходит деление значений на две группы: одну группу образуют значения, связанные семами «напряжение, прикладывание усилий», другую – «делать что-либо». Труд перестает осмысляться как подвиг.

Итак, семантическая структура слова *труд*, зафиксированного в СД, не отражает значимых изменений в когнитивных стратегиях. Семантика слова в диахронном аспекте лишь модифицируется: «испытывать напряжение, прилагать усилия» → «испытывать напряжение, прилагать усилия» + «делать что-либо».

Рассмотрим особенности эволюции семантической структуры слова *дело*. У данного слова в СД зафиксировано 7 значений с оттенками: 1) «работа, труд, занятие // предмет, упражнения // обязанность, должность»; 2) «все, что сделано, что свершилось, поступок, действие»; 3) «сущность предмета или обстоятельства»; 4) «нужда, надобность»; 5) «письменное производство по службе, составляющее одно целое, по одному случаю, делу, предмету»; 6) «сражение, битва»; 7) «пушка» [Т.I: 510].

Как видим, семантическая структура этого слова претерпела существенные изменения: несколько значений ушло из употребления («способность, образ», «подвиг», «спор, тяжба», «состязание», «сила, энергия», «ценность, достоинство», «заслуга», «образец»).

Трудовая деятельность отграничивается от ряда других, и это влечет за собой потребность в осмыслении ее качественных характеристик.

Появились значения и оттенки, основанные на смежности:

- действие («работа, труд, занятие») → объект, на который направлено действие («предмет, упражнение»);
- действие («работа, труд, занятие») → служебное положение, обязывающее выполнять это действие («обязанность, должность»);
- результат действия («все, что сделано») → его существенные черты («сущность предмета или обстоятельства»);
- действие («работа, труд, занятие») → необходимость его осуществления.

Анализ семантической структуры слова *дело*, по данным СД, дает возможность говорить, что концепт *труд* пополняется новыми существенными признаками: «специальная характеристика исполнителя деятельности», «обязанность, должность», «необходимость совершения деятельности».

Изменение семантической структуры наблюдается и в том, что преобладают тенденции предметного осмысления деятельности (см. оттенки 1-го значения, а также 2, 3, 4, 5-е значения).

Следует отметить, что новые значения соответствуют действовавшим ранее когнитивным стратегиям, и это дает основание сделать следующий вывод: семантическая структура данного слова в диахронном аспекте лишь модифицируется («действие» → «предметные аспекты действия»).

Итак, анализ семантической структуры ключевых слов *работа, труд, дело*, зафиксированных в СД, позволяет сделать вывод о постепенном формировании четкости концепта *труд*. Эти процессы отражены ясностью семантизации значений слов. Данный концепт достаточно определенно выделяется из концепта *деятельность*, его связи с концептами *рабство, внутренний мир человека, физиология человека* становятся менее тесными.

Изменение в понимании труда отражает трансформация структуры концепта *труд*. Ряд признаков – «фазы деятельности», «отношение к труду», «образцы человеческих практик», «умение» – не находят своей объективизации значениями ключевых слов. Однако появляются новые признаки: «качество изделий», «специальная характеристика исполнителя труда», «необходимость совершения деятельности».

Трансформация семантической структуры ключевых слов позволяет говорить о том, что в поле зрения смыслопорождающего субъекта культуры попадают преимущественно акциональные аспекты трудовой деятельности. Эволюция семантической структуры анализируемых полисемантов отражает движение сознания к более высоким ступеням абстракции.

Отсюда можно сделать вывод о том, что труд в древнерусской культуре воспринимался как маркер социального положения, «переживался» языковой личностью; на более поздних ступенях развития культуры социальные и эмоциональные аспекты восприятия труда редуцируются, получают влияние тенденции, продуцирующие техногенные, узкоспециальные стратегии при осмыслении данной категории. Отрицательное отношение к труду отодвигается на задний план, нейтрализуется.

Изменения в семантической структуре ключевых слов отражают ориентацию сознания в процессе концептуализации труда на ряд новых стереотипов и культурных установок:

- труд – необходимое занятие;
- в процессе труда важен результат;
- в процессе труда важны качество его выполнения, качество изделия;
- труд может утомлять, напрягать;
- труд – это неволя.

Рассмотрим особенности концептуализации трудовой деятельности в XX веке, объективированные семантической структурой ключевых слов, зафиксированных в БАС.

Слово **работа** имеет 6 значений: 1) ‘осуществление какой-либо деятельности, действие по глаголу работать || нахождение в действии, функционировании, об органах, членах тела || о машинах, механизмах || в физике – одна из важнейших физических величин, количественно характеризующая преобразование какой-либо одной формы энергии в другую’; 2) ‘дело, труд, круг занятий, обязанностей || род, вид трудовой деятельности || о школьном учебном задании || о различных формах принудительного труда как средстве наказания’; 3) ‘производственная деятельность по созданию, обработке чего-либо || о месте осуществления этой деятельности’; 4) ‘дело, занятие как источник заработка, служба || о месте, где кто-то служит, работает’; 5) ‘то, над чем работают, обычно ручным, кустарным способом, что служит материалом для обработки || вещь,

изделие, выполненное шитьем, вязанием и т.п., рукоделие'; 6) 'то, что сделано, изготовлено кем-либо || о научном, литературном произведении || о качестве выполнения чего-либо || о стиле, способе изготовления' [Т.12: 11-15].

Приведенное лексикографическое описание слова **работа** отражает существенные изменения в осмыслении трудовой деятельности. Во-первых, она перестала пониматься как деятельность, осуществляемая в рабстве, неволе. Однако возникло значение, объективирующее идею принудительного исправительного труда. Во-вторых, увеличилось число значений, продуцируемых акциональными семантическими признаками работы. В-третьих, появилось значение, отражающее осмысление функционирования частей тела человека и неживых предметов, что говорит о том, что осмысление труда достигло той точки, которая позволяет проводить аналогии в процессах познания других явлений. Объективирован смысл, отражающий научные понятия о количественной стороне работы.

Данное слово по-прежнему включает ряд значений, репрезентирующих смыслы концепта *деятельность*, однако, большинство значений соотносится с концептом *труд*. Анализ полисеманта показывает, что трудовая деятельность осмысливается следующим образом:

- как имеющая множество разновидностей (научная, кустарная и др.), среди которых основное место занимает производственная деятельность (2, 3-е значения);
- приносящая заработок (4-е значение);
- как один из возможных способов наказания (оттенок 2-го значения).

Углубление концептуализации трудовой деятельности проявляется в появлении новых признаков, которые вербализованы новыми значениями анализируемого слова: «виды трудовой деятельности», «ценность трудовой деятельности», «место осуществления трудовой деятельности», «виды изделия», «способ осуществления деятельности».

Таким образом, семантическая структура слова **работа**, зафиксированного в данном словаре, отражает глубину концептуализации трудовой деятельности, которая нашла свое отражение в разнoаспектности и многогранности объективированных смыслов.

Рассмотрим, как видоизменяется семантическая структура слова **труд**, которое в БАС имеет 6 значений: 1) 'процесс воздействия

человека на природу, человеческая деятельность, направленная на создание материальных ценностей || рабочая сила || мускульная или нервная энергия, затрачиваемая на производство чего-либо'; 2) 'работа, требующая затраты физической или умственной энергии || род деятельности, конкретное занятие || работа как источник существования, средств к жизни || страда, сельхозработы || повседневные занятия, хлопоты, заботы || услуга'; 3) 'усилие, старание, направленное к достижению чего-либо'; 4) 'результат деятельности, работы; произведение, создание || в названиях научных журналов, сборниках'; 5) *устар.* 'трудности, тяготы'; 6) 'учебный предмет' [Т.15: 1030-1035].

Семантическая структура данного слова отражает кардинальные изменения в концептуализации труда. Во-первых, труд не связывается с физиологическими и психическими особенностями человека. Во-вторых, трудовая деятельность понимается следующим образом:

- как целенаправленная деятельность человека; деятельность, целью которой является создание материальных и культурных ценностей;
- деятельность, обязательная для человека;
- деятельность как источник существования человека;
- деятельность трудная, тяжелая, требующая усилий и стараний;
- деятельность, которой можно и нужно учить.

Таким образом, мы видим, что семантическая структура слова **труд** отражает переход к новому, научному осмыслению данного вида деятельности. Если на предыдущем этапе наиболее важными были семы «напряжение, прикладывание усилий», то на современном этапе семы «человек», «целесообразность», «результативность» объективируют осознанное отношение к данному виду деятельности, понимание ее как специфичной для человека.

Углубление концептуализации отражает и число новых признаков, объективированных лексико-семантическими вариантами. Во-первых, детализируются признаки, объективированные на предыдущих этапах: «процесс труда» → «разновидности процесса трудовой деятельности» (оттенки 2-го значения); «результаты работы» «их виды» (оттенки 4-го значения). Появляются и новые признаки: «мера труда» (2-е, 3-е значения); «объект воздействия» (2-е значение). Тем самым, сознание старается охватить процесс трудовой

деятельности во всем его разнообразии, определить объемы работы и усилия, затрачиваемые на ее выполнение.

Количество значений слова дело, по данным БАС, увеличилось до 10: 1) 'занятие, работа, труд || характер деятельности, занятия'; 2) 'деятельность, действие в противоположность мыслям, словам; поступок'; 3) 'что-либо, имеющее положительное значение, дельное, противопоставляется пустякам, вздору'; 4) 'надобность, нужда'; 5) 'профессия, мастерство, круг занятий || предприятие (торговое, промышленное) || работа, занятие, связанное со службой, предприятием || в названиях учреждений || в названиях должностей'; 6) 'административно-судебное разбирательство по поводу какого-либо события, факта, судебный процесс || собрание документов'; 7) *устар.* 'изготовление, обработка чего-либо || само изделие, производство || о вещи'; 8) 'происшествие, событие, какой-либо факт'; 9) 'обстановка, обстоятельства'; 10) 'бой, сражение' [Т.3: 675-685].

Как видно, лишь три значения (1, 5, 7-е) вербализуют смыслы концепта *труд*. Те значения, которые соотносятся с другими концептами, формируют семантический фон, на котором воспринимается идея труда. Исходя из этого, можно сделать вывод, что труд для русского человека XX века – это нечто существенное (2, 8, 9-е значения), положительное (3-е значение), необходимое (4-е значение), требующее проявления усилий (10-е значение). Можно говорить о положительной интерпретации трудовой деятельности. Отсюда следует, что восприятие труда перемещается из акциональной в предметную область. Значения, репрезентирующие смыслы концепта *труд* (1, 5, 7), отражают расширение сферы и углубление концептуализации.

Итак, на современном культурно-историческом этапе сознанием преодолено понимание труда как деятельности, осуществляемой не по своей воле, как состояния физического и психического дискомфорта.

Углубление процессов концептуализации трудовой деятельности отражено количеством лексико-семантических вариантов ключевых слов, точностью их семантизации. Объем знаний о труде позволяет переносить их и на другие участки действительности. В составе концепта *труд* появляется большое количество новых признаков, структурирующих знание о разновидностях, ценности, способах, мере, формах, атрибутах трудовой деятельности. Эти признаки отражают воздействие на процессы концептуализации не

столько социально-исторических, сколько техногенных факторов. Смыслы, актуальные на предшествующих культурно-исторических этапах, трансформируются на последующих, что находит свое отражение в семном составе семем.

Разнообразие интерпретаций трудовой деятельности обусловлено влиянием следующих стереотипов и установок:

- необходимо трудиться;
- труд является способом существования человека;
- к трудовой может быть отнесена целенаправленная, существенная, результативная деятельность;
- трудовая деятельность требует усилий;
- труд может быть наказанием.

Как показал проведенный анализ, историческая динамика значений многозначных слов, являющихся ключевыми словами концепта *труд*, отражает информацию об особенностях концептуализации той или иной ментальной категории, связях и отношениях с другими концептами. Так, концепт *труд* выделился из концепта *деятельность*, продуцировал смыслы для концептов и фрагментов концептосферы *рабство / неволя, духовный мир человека, физиология человека*.

Количество признаков, репрезентируемых в семной структуре ключевых слов концепта *труд* на протяжении их исторического развития, увеличилось в 4 раза. В настоящее время значения ключевых слов репрезентируют 7 наиболее важных, с нашей точки зрения, обобщенных признаков: «процесс трудовой деятельности», «виды трудовой деятельности», «место ее протекания», «способ ее осуществления», «качество деятельности», «объем работы», «результат работы». Два признака – «процесс трудовой деятельности» и «результат трудовой деятельности» – объективируются всеми полисемантами, что подчеркивает их значимость для русской лингвокультурной общности.

Эволюционное развитие семантической структуры ключевых слов *работа, труд, дело* указывает на постепенный переход от ценности социальных, психологических, физиологических факторов к утверждению утилитарных и техногенных в процессе осмысления труда. Меняется и оценка труда, его функций. Кроме того, если в древнерусской культуре еще не было четкого понимания труда (основное значение слова *работа* в СДЯ – «рабство, неволя», слов *труд, дело* – «трудовая деятельность»), то на последующих этапах

неоформленность, расплывчатость в осмыслении трудовой деятельности преодолевается (все основные значения ключевых слов репрезентируют представление о труде).

Специфика процессов концептуализации трудовой деятельности, отраженная семантической структурой проанализированных ключевых слов, позволяет сделать вывод, что концептуализация труда происходит с помощью конкретизации, углубления уже познанных фрагментов действительности, использование которых в качестве мотивирующей базы подчеркивает в то же время их ценность для языкового сознания.

Литература

Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. Дис. ...д-ра фил. наук. – Воронеж, 1997.

Головановская М.К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка. – М., 1997.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.

Колесов В.В. Жизнь происходит от слова. – СПб., 1999.

Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии. – Воронеж, 1989.

Манерко Л.А. Новая методика исследования категоризации в лингвистике. // Вестн. МГУ. – Сер. 9. Филология. – 2000. – № 2.

Токарев Г.В. Концепт как объект лингвокультурологии (на материале репрезентации концепта «труд» в русском языке. – Волгоград, 2003.

Словари

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. – М., 1999.

Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. – М.-Л., 1950-1965.

Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка: В 3-х т. – М., 1989.

© Злыденная Т.А., 2005

З.И.Комарова, С.В.Краев
Екатеринбург

Проблема знаменательности-служебности слов в русской грамматической традиции

Обозначенная нами проблема напрямую связана с общей проблемой классификации слов *по частям речи*. Она как «великая распря, которая разметала русских лингвистов по разные стороны баррикады» [Леонтьев 1908: 80], является одним из парадоксов лингвистической науки, суть которого в том, что состав и номенк-

латура частей речи неодинаковы не только в разных языках, но и в одном и том же языке у различных исследователей.

Так, одни лингвисты считают, что «части речи являются «вечной темой» лингвистики лишь потому, что их не существует» [Титов 2002: 228]. Основанием для этого является мнение о том, что «если части речи – реальность языка, а не фикция, у них должна быть собственная функция – не морфологическая, не синтаксическая, не лексико-семантическая, а какая-то ещё» [Там же: 229].

Большая же часть лингвистов признавая «теоретическую неразрешимость проблемы частей речи» (И.В.Аничков, В.М. Жирмунский, О.П.Суник, А.М.Мухин, А.С.Чикобава, Г.Пауль и др.) проникнута убеждением, что всё же «понятие части речи имеет глубокие корни в языковой деятельности» [Мухин 1968: 158], является практически необходимым. Задачу лингвистов Л.В.Щерба видел в том, что «исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо учёным и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [Щерба 1957: 63].

Многочисленные исследования в этом направлении, острые дискуссии 50-60-х годов XX века и наших дней не позволяют считать проблему частей речи решенной: «частеречная проблематика ещё ждёт своего глубокого, подлинно типологического осмысления» [Лукин 2002: 46]. Определённым достижением можно считать то, что в целом установлена система признаков слов разных частей речи «в зависимости от типологических особенностей отдельных языков» [Лукин 2002: 47].

На основе этого принимается в качестве рабочего следующее определение: *части речи* – «это классы слов языка, выделенные на основе общности их синтаксических, морфологических и семантических свойств» [ЛЭС 2002: 578].

Одной из проблем теории частей речи является, как уже указано нами, проблема *знаменательности/служебности* слов, которая в свою очередь имеет ряд частных:

- 1) включаются ли служебные слова в систему частей речи;
- 2) в чём сущность знаменательных и служебных слов;
- 3) каков состав знаменательных и служебных слов.

Рассмотрим последовательно эти вопросы.

По первому из них разброс мнений лингвистов достаточно широк. Так, Я.Г.Биренбаум, говоря о союзах, отмечает: «в разрабатываемой нами модели частей речи и членов предложения союз не относится ни к первым, ни к последним. Мы считаем его сегментной материализацией «самой связи»» [Биренбаум 1987: 67]. Такой подход распространяется на все служебные слова, «не имеющие парадигм и обладающие свойствами сочетаемости совершенно иного рода, чем полнозначные, поэтому их не следует включать в систему частей речи» [Савченко 1968: 187]. К тому же, как подчеркивает С.Е.Яхонтов, «классификации по частям речи **предшествует** деление слов на **знаменательные и служебные**. Это деление осуществляется на других основаниях и по другим признакам, чем выделение частей речи. Служебные слова представляют собой явления другого порядка, чем знаменательные: по своему положению в грамматике они скорее близки к аффиксам и окончаниям» [Яхонтов 1968: 74-75]. К этому обоснованию О.П.Суник добавляет очень серьезное сомнение в том, можно ли вообще так называемые служебные слова считать *словами*. Служебные слова лишены, как известно, главного признака слова – вещественного, собственно лексического значения. Считать же их грамматические значения вместе с тем и лексическими значениями представляется явной натяжкой, совершаемой скорее для оправдания самого термина («служебное слово»), чем ради объективного освещения фактов. Служебные слова (предлоги, послелог, союзы, частицы, артикли, некоторые аффиксы) – это особые грамматические (или «строєвые») единицы» [Суник 1968: 40]. Поддерживая эту идею, некоторые исследователи (Т.А.Колосова, К.А.Тимофеев, М.И. Черемисина) такие единицы, «являющиеся грамматическими показателями связей», предлагают обозначать термином *функтивы* [Колосова, Черемисина 1987: 25].

Однако подавляющее число лингвистов (И.Е.Аничкин, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.С.Бархударов, Р.А.Будагов, В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, В.М.Жирмунский, А.А.Зализняк, Г.А.Золотова, Б.А.Ильиш, А.В.Исаченко, К.А.Левковская, И.И.Мещанинов, В.М.Никитевич, Н.С.Поспелов, А.И.Смирницкий, А.Е.Супрун, А.С.Чикобава, А.Б.Шапиро, Л.В.Щерба и др.) и современные словари и грамматики русского языка (АГ-60, АГ-70, РГ-80) исходят из того, что проблема частей речи теснейшим образом связана с **проблемой слова**. При этом иногда номинативная функция приписывается не только знаменательным словам, но и служебным. Так,

авторы академической грамматики русского языка пишут: «Части речи, что-либо *называющие*, распадаются прежде всего на два больших класса – части речи *знаменательные* и части речи *служебные*. Первые отражают действительность в её предметах, действиях, качествах или свойствах, напр.: *родина, столица, дом, жить, работать, советский, революционный, наш, пять семеро, первый, спокойно, наверняка, наизусть, вполне*. Вторые отражают отношения между явлениями действительности напр.: *сиджу на стуле, дом у реки, отец и мать*» [АГ-60: 19].

Как видим, в АГ-60 в систему частей речи вовлечены **все слова**, в том числе и служебные, поскольку им приписывается номинативная функция. Такой же позиции придерживается Е.С.Кубрякова, рассматривающая части речи в ономаσιологическом плане. Она подчеркивает, что часть ученых (В.З.Панфилов, В.Г.Колшанский, Ю.С.Степанов, В.Г.Гак, А.А.Уфимцева, Б.А.Серебренников, В.Дорошевский и др.) номинативную функцию признает лишь за словами, **выражающими понятия** (подчеркнуто нами – ЗК, СК). Следуя этой точке зрения нельзя приписывать номинативную функцию служебным словам. Но если «под номинативной функцией понимать способность соотноситься с элементами внеязыковой действительности и указывать на этот элемент его названием, то номинативной функцией обладают многие служебные слова и грамматические формы» [Кубрякова 1978: 10]. Из чего Е.С.Кубрякова делает вывод о том, что словам разных классов «присущи разные степени номинативной значимости слова. Наиболее ярко она выступает у слов полнозначных, хотя и здесь определима своеобразная шкала...» [Кубрякова 1978: 12]. Эта идея очень важна для нашего исследования.

Чтобы ответить на **второй вопрос** о сущности слов обоих классов, следует прежде всего остановиться на проблеме их **лексического значения** и его соотношения с **грамматическим**.

Общеизвестно, что знаменательные слова обладают индивидуальными лексическими (вещественными) значениями. Такие слова, по В.Дорошевскому, «светятся отраженным светом вещей» [Дорошевский 1973: 109]. Вопрос о лексическом значении служебных слов является дискуссионным. Сторонники понятийного понимания номинации (см. указанные выше), как правило, отказывают служебным словам в «лексичности»: наличии лексического значения. Довольно широко распространено мнение о том, что в служебных словах грамматическое значение сливается с их лексическим значением

(Л.С.Бархударов, Р.А.Будагов, И.П.Иванова и др.). Заметим при этом, что часть исследователей полагает, что грамматическое значение служебного слова и является его лексическим значением (Л.Р.Зиндер, Т.В.Строева-Сокольская, Н.М.Баженов, А.М.Финкель и др.); другие – что служебным словам свойственны лишь грамматические значения (формальная грамматическая школа); третьи – что значения служебных слов гибричны, синкретичны, т.к. в них «грамматические формы и значения слова то сталкиваются, то сливаются с его лексическим значением» [Виноградов 1947: 15].

Общее значение служебных слов в целом характеризуется как классифицирующее, обобщённо-категориальное, которое обычно формируется через «*отношение или связь*», благодаря чему «грамматические свойства служебных *неизменяемых* слов реализуются лишь в *их синтаксических связях*» [Тихонов 1968: 227], хотя, как известно, служебные слова не являются членами предложения, т.е. они синтаксически несамостоятельны, что является их диагностирующим признаком, тогда как знаменательные слова являются «морфологизированными членами предложения» [Савченко 1968: 185].

Из сказанного следует, что для служебных слов наиболее весомым является **функциональный признак**, при этом под **функцией** мы понимаем не синтаксическую роль слова как члена предложения, а его роль в речи, в **процессе коммуникации** [Левицкий 2002: 16].

Перейдём к третьему вопросу, т.е. выявим объем понятия **служебное слово**, состав служебных слов.

Традиционно в научной и учебной литературе в состав служебных слов включается три типа слов: **предлоги, союзы и частицы**, причём, если первые два безоговорочно все исследователи относят к служебным словам, то по отношению к частицам мнение не однозначно, поскольку они «собственно служебных функций не выполняют, и считать их служебной частью речи нет оснований» [Ильин 1968: 145; Мигирин 1973: 51].

Для решения этого вопроса обратимся к русской грамматической традиции, представленной в таблице.

№	Концепции	Знаменательные слова	Служебные слова
1.	Славяно-русские грамматики XIV – XVII вв.	Реализуется античная грамматическая традиция 8-частеречной концепции, без деления на знаменательные части речи и служебные. У александрийских грамматиков самостоятельной ч.р. является предлог (собственно предлог + приставки),	

		у стоиков (предлог + союз). У Аристотеля союз (союз + предлог + часть наречий) [Античные теории ...1936: 118; Тронский 1941: 30-31]	
2.	М.В. Ломоносов «Российская грамматика» (1755, 1757)	Внутри « <i>знаменательных частей слова</i> » (все ч.р. вообще) идёт деление на: « <i>главные части слова</i> »: имя, глагол, причастие, местоимение, наречие	« <i>служебные или вспомогательные части слова</i> »: предлог, союз, часть причастий и местоимений, наречие и междометие.
3.	Ф.И. Буслаев «Историческая грамматика русского языка» (1818), А.Х. Востоков «Русская грамматика» (1831) – логическое направление	<i>Знаменательные</i> ч.р.: существительные, прилагательные и глаголы.	<i>Служебные, формальные</i> ч.р.: предлог, союз, местоимение, числительное, вспомогательные глаголы, местоименные наречия.
4.	А.А. Потебня «Из записок по русской грамматике» (1874) – психологическое направление	<i>Знаменательные слова</i> , ч.р.: существительные, прилагательные, глаголы и наречия.	<i>Формальные, служебные слова</i> : союзы, предлоги, частицы и вспомогательные глаголы.
5.	Д.Н. Овсянико-Куликовский «Синтаксис русского языка» (1902) – Харьковская лингвистическая школа	4 группы ч.р.: 1) <i>знаменательные</i> : существительное, прилагательное, глагол (кроме связок), причастия, наречие, деепричастие; 2) <i>знаменательно-отвлечённые</i> : глаголы существования, причастия, деепричастия, отглагольные существительные, числительные; <i>малознаменательные</i> :	
		3) <i>Незнаменательные, формальные</i> : предлоги, союзы, отвлечённые глагольные связки (<i>быть</i>).	

		местоимения, формальные наречия, конкретные глаголы-связки;	
6.	Ф.Ф. Фортунатов «Сравнительное языковедение. Избранные труды» т. 1-2 (1901 – 1902) – основоположник Московской школы	<p>Три класса слов:</p> <p>1) <i>полные грамматические слова</i>, имеющие формы словоизменения;</p> <p>2) <i>неграмматические слова</i> – без форм словоизменения;</p>	<p>3) <i>частичные слова</i>: предлоги, союзы, связки, частицы (в узком понимании) и модальные слова, междометия.</p>
7.	В.А Богородицкий «Очерки по языковедению и русскому языку» (1901) – Казанская лингвистическая школа	<p>Знаменательные ч.р. делятся на: 1) имеющие собственное значение: а) <i>главные, самостоятельные</i>: существительное, прилагательное и глагол; б) <i>подчиненные</i>: числительные и наречия;</p> <p>2) не имеющие собственного значения: причастие и деепричастие;</p> <p>3) местоимение – переходное явление между первым и вторым классом;</p>	<p>4) группы слов и словечек, именуемых <i>частичами</i> и представляющих в общем «как бы окостеневшие формы» [Богородицкий 1939: 2000], сюда входят предлоги союзы и собственно частицы.</p>
8.	А.М. Пешковский «Русский синтаксис в научном освещении» (1914)	<p>1) <i>7 ч.р. знаменательных</i>: глагол, существительное, прилагательное, причастие, наречие, деепричастие, инфинитив;</p> <p>2) <i>не части речи</i>: местоимение и числительное;</p>	<p>3) <i>Служебные слова</i> – «это основные синтаксические средства» [Пешковский 1956: 49]: предлоги, союзы.</p>
9.	А.А. Шахматов «Очерк современного русского литера-	<p>1) <i>Знаменательные</i> ч.р.: существительное, прилагательное, глагол, наречие;</p>	<p>3) <i>Служебные слова</i>: предлоги, союзы, частицы, связки и префиксы.</p>

	турного языка» (1911-1912) и «Синтаксис русского языка» (1925-1927) – основоположник современных направлений в русистике	2) <i>Незнаменательные</i> ч.р.: числительное, местоимение, прилагательные и местоименные наречия;	
10.	Л.В. Щерба «Части речи в русском языке» (1928)	<i>Знаменательные</i> ч.р.: существительное, прилагательное, глагол, наречие, числительное, местоимение, категория состояния	<i>Служебные слова</i> , т.е. <i>частицы</i> , или « <i>строгие элементы лексики</i> »; предлоги, союзы (сочинительные, подчинительные и слитные) и союзные слова, связки.
11.	В.В. Виноградов комплексный подход к классификации слов по трем основаниям: морфологическому синтаксическому и семантическому	Выделяет четырехступенчатую классификацию слов: части речи, частицы речи, модальные слова и междометия среди которых: <i>части речи</i> (члены предложения): существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния;	<i>частицы речи</i> : предлоги, союзы, собственнo частицы, связки.
12.	Современные грамматики (АГ-54, 60; АГ-70; РГ-80) и энциклопедии (Рус.яз.-79; Рус.яз.-2003)	Традиционная 10-частеречная классификация, в которой: 1) <i>6-7 знаменательных</i> ч.р.: существительное, прилагательное, числительное, (местоимение), глагол, наречие, и слова категорий состояния;	2) <i>3 служебных ч.р.</i> : предлог, союз, (союзное слово), частицы (в собственном значении); 3) <i>Слова вне частей речи</i> , которые составляют ≈ 0,19%, по данным «Обратного словаря русского языка» [ОСРЯ 1974: 941-944]
13.	Современные нетрадицион-		

13.1	ные источники Е.С. Кубрякова	Кардинальные ч.р. – называющие номинативные знаки.	Обслуживающие знаки: коннекторы (союзы), реляторы (предлоги), негаторы (отрицания).
13.2	Ю.А. Левицкий	Класс знаменательных слов, ч.р.: все традиционные, кроме местоимений как «указательно-заместительных слов» [Левицкий 2002: 13]	Класс служебных слов включает две группы: 1) маркеры, т.е. уточняющие слова: а) <i>маркеры</i> классов слов; б) маркеры зависимостей: в простом предложении – предлоги, а в сложноподчиненном – подчинительные союзы; 2) <i>коннекторы</i> , т.е. соединяющие слова: а) специфические коннекторы – модальные и вводные слова; б) универсальные коннекторы – сочинительные союзы.
13.3	Русский семантический словарь.	Все ч.р. русского языка существуют в системе: 1) <i>слова указующие</i> (местоимения); 2) <i>слова именующие:</i> существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предикативы и счётные слова; 3) <i>слова собственно связующие:</i> союзы, предлоги, связки и их аналоги; 4) <i>слова собственно квалифицирующие:</i> модальные слова и сочетания, частицы и их аналоги, междометия [РСС 2000: VII].	
13.4	«Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова»	Все знаменательные слова , кроме структурных.	Структурные слова – «слова, которые формируют реляционную, синтаксическую и модальную структуру текста»

	/ Под общ.ред. В.В. Морков- кина. – М., 2002. – 432с.	ядром которых являют- ся служебные слова: 1)предлоги, 2)союзы, 3)частицы. К структур- ным словам относятся: 4) местоимения и место- именные форманты; 5)числительные; 6) связочные и полусвя- зочные глаголы; 7) свя- зки; 8) междометия; 9) вводные слова; 10) цетеры (и прочее, и так далее, и тому по- добное) [Морковкин 2002: 6-7; 425]
--	--	---

Обобщим сказанное и подведём некоторые итоги:

Проблемы классификации словарного состава языка по частям речи являются дискуссионными до настоящего времени, о чём свидетельствует разный состав частей речи в русском языке: от трех до четырнадцати.

Традиционное (начиная с XVIII в.) деление словарного состава языка на два класса: *знаменательные слова* и *служебные слова* является, во-первых, не абсолютным, т.к. не охватывает все слова русского языка ($\approx 0,19\%$ по ОСРЯ); во-вторых, граница между классами является подвижной, неустойчивой, что объективно обусловлено прежде всего явлением транспозиции и субъективными установками исследователей.

Распределение слов как по классам знаменательных и служебных, так и внутри этих классов осуществляется по принципу *градуальности*, т. е. на основе «убывающей знаменательности и возрастающей служебности. Именно это «размывает» границу между классам и определяет разный состав классов.

Опираясь на *семантико-функциональную роль* служебных слов в предложении и тексте, выявленную в русской грамматической традиции и уточненную современными исследователями, считаем обоснованным положением о том, что служебные слова («частицы речи») не являются частями речи. Это важно для методики их анализа.

Полагаем, что *полевая природа частей речи*, впервые обоснованная В.Г.Адмони [Адмони 1968: 98-106], может быть экстраполирована и на «частицы речи». Базируясь на градуальности служебности/знаменательности и учитывая семантико-синтаксические функции, в *ядро служебных слов* включаем предлоги, союзы и союзные слова, абстрактную связку *быть* и цетеры, выражающие отношения между знаменательными словами и формирующие собственно *реляционную структуру текста* [Морковкин 2002: 6]. Ближнюю *периферию* составляют собственно частицы, выполняющие функции различных коммуникативных характеристик сообщения [Рус.яз. 2003: 620-622]. К дальней периферии относим *структурные слова*, кроме 1-3 и 7 (см. таблицу, пункт 13.4). Наконец, *крайнюю, потенциальную периферию* служебных слов составляют, с нашей точки зрения, *строевые слова* [Крейндлин 1982: 106-113], или «*строевые элементы лексики*» [Щерба 1974: 329], которые, «хотя и не обладают всеми признаками подлинно служебных слов, могут хотя бы в одном из своих употреблений выполнять служебную функцию» [Крейндлин 1982: 109]. Сюда же включаем «служебные эквиваленты слова» [Рогожникова 1983] и *слова-классификаторы*, т.е. слова «глубинно синтаксических представлений» [АГ-70: 693; Крейндлин 1973: 28; Падучева, 1974] и, наконец, «гибридные» служебные слова [Колосова, Черемисина 1987: 15].

Литература

- Адмони В.Г. Полевая природа частей речи (на материале числительных) // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Античные теории языка и стиля. – М.; Л., 1936.
- Биренбаум Я.Г. Коннекторы современного английского языка // Служебные слова. – Новосибирск, 1987.
- Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.; Л., 1947
- Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. – М., 1973.
- Ильин Б.А. О частях речи в английском языке // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Колосова Т.А., Черемисина М.И. Некоторые закономерности пополнения фонда скреп // Служебные слова. – Новосибирск, 1987.
- Крейндлин Г.Е. К проблеме перевода с информационно-логического языка на русский: преобразование «Введение классификаторов» // Научно-техническая информация. – Сер.2. – 1973. – № 12.
- Крейндлин Г.Е. Служебные и строевые слова // Семантика служебных слов. – Пермь, 1982.
- Кубрякова Е.С. Части речи в ономаσιологическом освещении. – М., 1978.
- Левцкий Ю.А. О маркерах и коннекторах // Семантика служебных слов. – Пермь, 1982.

- Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса. – М., 2002.
- Леонтьев А.А. Фиктивность семантического критерия при определении частей речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Лукин О.В. Дискуссии о частях речи и «Вопросы языкознания» в 1950-е годы // Вопросы языкознания. – 2002. – №1.
- Мизгирин В.Н. Язык как система категорий отображения. – Кишинев, 1973.
- Морковкин В.В. и др. Объяснительный словарь русского языка: структурные слова. – М., 2002.
- Мухин А.М. Части речи и синтаксические функции // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Падучева Е.В. О семантике синтаксиса // Материалы к трансформационной грамматике русского языка. – М., 1974.
- Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956.
- Рогожникова Р.П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову (Наречные, служебные, модальные единства). – М., 1983.
- Савченко А.Н. Части речи как грамматические и лексико-грамматические классы слов в индоевропейских языках // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Суник О.П. Вопросы общей теории частей речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Титов В.П. Общая количественная лексикология романских языков. – Воронеж, 2002.
- Тихонов А.Н. Части речи – лексико-грамматические разряды слов // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Тронский И.М. Учение о частях речи у Аристотеля // Ученые записки ЛГУ. – Серия филол. наук. – М., 1941. – Вып. 7.
- Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку. – М., 1957.
- Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.
- Яхонтов С.Е. Понятие частей речи в общем и китайском языкознании // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л., 1968.
- Список словарей и сокращений**
- АГ-60 – Грамматика русского языка: В 2 т. / Отв. ред. В.В.Виноградов. – М., 1960. – Т.1
- АГ-70 – Грамматика современного русского литературного языка. / Отв. ред. Н.Ю.Шведова. – М., 1970.
- ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 2002.
- ОСРЯ – Обратный словарь русского языка. – М., 1974.
- РГ-80 – Русская грамматика: В 2 т. / Гл. ред. Н.Ю.Шведова. – М., 1980.
- РСС – Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под ред. Н.Ю. Шведовой: В 6т. – М., 2000
- Рус. яз. – 1979 – Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979.
- Рус. яз. – 2003 – Русский язык: Энциклопедия. – М., 2003.

© Комарова З.И., 2005

© Красев С.В., 2005

**Прилагательные-антонимы, характеризующие человека:
семантический анализ**

В лингвистике традиционным является понимание того, что лексическая система языка отражает восприятие действительности носителями языка, поэтому при обращении к лексике становится очевидным, какой именно фрагмент действительности представляется особенно важным. Семантический анализ лексических единиц показывает их тяготение к миру человека [Телия 1996], это тяготение отмечалось исследователями на материале, представленном фразеологическими единицами, очевидно оно и в рамках прилагательных-антонимов во французском и русском языках. В процессе исследования нами были выделены антонимичные прилагательные, указывающие на эмоциональное состояние человека, на поведение человека, на внешний вид человека: веселый – грустный (*joyeux – triste*), трусливый – смелый (*poltron – brave*).

Связь антонимичных прилагательных с человеком можно объяснить семантической несамостоятельностью имен прилагательных, тем, что обозначаемые ими признаки всегда соотносятся с денотатом. Среди множества денотатов, безусловно, наиболее значимым является человек, поэтому в большинстве своем выделенные нами прилагательные соотносятся с человеком. Подобное описание значимо для определения своеобразия языковой картины мира, поскольку при упорядочивании лексических единиц человек опирается на знания, сформированные в опыте носителей языка. Возможность соотнесения слова и языковой картины мира определяется и тем, что содержание слова есть познавательный образ, в котором всегда присутствует человек и его субъективное представление [Уфимцева 1980: 28].

При обозначении поведения человека прилагательными-антонимами обращается внимание на внешние особенности человека: *preste – lent* (проворный – неторопливый), *tarabiscoté – simple* (вычурный – простой); на речевые особенности: *verbeux – bref* (многословный – краткий), *taciturne – communicatif* (молчаливый – общительный); на особенности взаимодействия с другими людьми: *grossier – délicat* (грубый – деликатный), *placide – nerveux* (невозмутимый – нервный).

При описании поведения человека значимы такие качества, как послушание, покорность, приветливость, упрямство: *soumis* – *indocile* (послушный – непослушный), *têtu* – *souple* (упрямый – гибкий, податливый), *réfractaire* – *fusible* (непокорный – плавкий).

Следует заметить, что антонимическое противопоставление во французском языке отличается от семантических признаков, по которым противопоставлены подобные единицы в русском языке. Во французском наряду с *soumis* – *indocile* (послушный – непослушный) выделяется семантический признак, значимый при характеристике социума *révolté* (бунтующий), с другой стороны, есть противопоставление, заложенное в метафорическом употреблении прилагательного *réfractaire* – *fusible* (непокорный – плавкий). Противопоставление послушный – непослушный, будучи базовым для этой семантической парадигмы, как мы видим, представлено целым рядом единиц. К перечисленным близка пара *têtu* – *souple* (упрямый – податливый).

В данной группе выделяются также прилагательные-антонимы, которые можно обозначить как недифференцированная оценка поведения человека: *timide* – *brave* (застенчивый – смелый), *vicieux* – *chaste* (порочный – целомудренный). При характеристике поведения человека значимы и такие семантические признаки как наличие – отсутствие смелости: *hardi* – *lâche* (смелый – трусливый); наличие – отсутствие покорности, послушания: *têtu* – *souple* (упрямый – податливый), *résigné* – *révolté* (покорный – бунтующий); наличие – отсутствие подозрительности и настойчивости: *vigilant* – *endormi* (бдительный – спящий).

Таким образом, для характеристики поведения человека во французском языке оказываются значимыми такие его стороны, как речевое поведение, храбрость – трусость, настойчивость и ее отсутствие. Причем, наиболее значимым признаком, думается, является отношение человека с другими людьми, то есть в поведении человека отражается прежде всего мир человеческих отношений. Следует также отметить, что при отражении этого мира отношений оказывается значимой оценка и практически все приведенные нами антонимы могут быть соотнесены с положительной или отрицательной оценкой. Подобное отражение в слове отношения человека к действительности определено самой природой слова, поскольку слова служат не столько для наименования предметов и явлений реального мира, сколько целям обобщенного отражения человеком

объективной действительности и его субъективного мира [Уфимцева 1986: 38].

Остановимся также на характеристике антонимов, обозначающих эмоциональное состояние. При характеристике эмоционального состояния значимыми оказываются такие точки, как спокойное – беспокойное состояние, печальное – веселое, озабоченное – беспечное. Представляется, что наиболее значимыми в данной тематической группе являются антонимы, обозначающие полярные точки в эмоциональном состоянии: *heureux – malheureux* (счастливый – несчастный), *ravi – chagrin* (веселый – печальный).

Семантическим стержнем, относительно которого наблюдается здесь противопоставление, можно назвать компонент «спокойное уравновешенное эмоциональное состояние». По обе стороны от этой точки расположены члены антонимической пары. Признак, воспринимаемый как негативный, в некоторых антонимических парах представлен более дифференцированно, что связано с интенсивностью его проявления: *morne – ardent*, *gai* (хмурый – пылкий, веселый), *bourru – aimable* (хмурый – любезный).

Очевидно, что подобное противопоставление можно характеризовать как относительные антонимы с точки зрения русского языка, поскольку носителями русского языка подобные антонимы воспринимаются не столько как языковые, сколько как контекстные. Для русского языка вне контекста невозможно противопоставление: хмурый – любезный, для русского языка характерно противопоставление: хмурый – веселый.

Эмоциональное состояние во французском языке связывается с особенностями речевого поведения и межличностного отношения, то есть французский язык подчеркивает экспликацию эмоционального состояния: *accueillant – froid, glacial, inhospitalier* (приветливый – холодный, ледяной, негостеприимный), *jovial – chagrin, froid, sombre* (жизнерадостный – холодный, хмурый). Эти наблюдения позволяют высказать предположение, что во французском языке вследствие многозначности в антонимическую парадигму на узואльном уровне включаются единицы с метафорическим значением, тогда как в русском языке подобное противопоставление возможно только в контексте.

Таким образом, во французском языке обозначение эмоционального состояния совмещается с обозначением особенностей по-

ведения, в русском же языке подобное совмещение, согласно нашим материалам, проявляется реже.

Большинство антонимических пар во французском языке представляет собой эквиолентные семантические оппозиции, наряду с общими компонентами в них имеются компоненты различные, причем с точки зрения русского языка далеко не всегда противоположные, то есть антонимы воспринимаются как относительные: *penaud* – *fier* (смущенный – гордый). Противопоставление «смущенный – гордый» по меркам русского языка не определяется наличием единого логического основания. Для русского языка очевидно противопоставление «смущенный – раскрепощенный, развязный», «гордый – униженный». Следовательно, точки отсчета различны для носителей различных языков, которые по-разному воспринимают противоположные явления.

Отмеченные нами различия в характере противопоставления в русском и французском языках не являются случайными, поскольку лингвисты, в частности, А.Вежицкая, отмечают, что «каждый язык накладывает свою собственную классификацию на эмоциональный опыт человека». Обращаясь к А.Вежицкой, можно говорить и об общем в русском и французском языках, так как большим количеством лексических единиц обозначаются негативно воспринимаемые явления, то, что А.Вежицкая условно называет «плохим человеком» [Вежицкая 1996: 80, 334].

Явление, когда одна единица противопоставлена ряду антонимов, наблюдается достаточно часто. Наибольшая многозначность здесь наблюдается у прилагательного: *jovial* – *chagrin*, *froid*, *hargneux*, *taussade*, *sombre* (веселый – грустный, холодный, раздраженный, хмурый, мрачный). Члены пары «*jovial* – *chagrin*» расположены симметрично по отношению к точке, подобная симметричность отсутствует в других антонимических оппозициях, а именно: *jovial* – *froid* (веселый – холодный), *jovial* – *hargneux* (веселый – раздраженный). Более того, на базе этих антонимических оппозиций можно представить парадигму, члены которой между собой связаны отношениями градации, а именно: *jovial* – *chagrin*, *taussade*, *sombre* (веселый – грустный, хмурый, мрачный).

Члены этой парадигмы, противопоставленные лексической единице «*jovial*», обозначают эмоциональное состояние, воспринимаемое нами как негативное, то есть для обозначения негативного в

лексической системе имеется большее количество единиц, чем для обозначения нормы.

Таким образом, характеристика антонимов, обозначающих человека, позволяет выделить компоненты, по которым эти единицы противопоставлены в русском и французском языках, и как следствие, определить, что значимо при противопоставлении для носителей французской культуры и для носителей русской культуры.

Литература

Вежбицкая А. Язык. Культура. – М., 1996.

Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 1985.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурный аспекты. – М., 1996.

Уфимцева А.А. Лексическое значение: (Принцип семасиологического описания лексики). – М., 1986.

Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. – М., 2000.

© Плаксина Е.Б., 2005

Л.С. Чечулина
Екатеринбург

Текстообразующая роль вводных слов

В лингвистической литературе определена сущность вводных слов как особой группы элементов, интонационно и семантически связанных с предложением и функционирующих в его составе; раскрыта и семантика, вносимая в высказывание данной группой слов. В функциональном плане вводные элементы традиционно рассматриваются учеными как грамматические средства связи, указывающие на порядок изложения или обобщающие сказанное. Цель данной статьи – проанализировать специфику функционирования вводных слов в тексте, рассмотреть их сквозь призму текстовой категории связности.

Связность текста – это категория объективного характера, т.к. она проявляется в естественной связной речи. Изолированное, взятое вне контекста предложение содержательно неполное, незаконченное, в известном смысле несамостоятельно, т.к. лишено выражения связности. Данная категория выражается определенными средствами разных уровней языка: лексико-грамматическими, морфологическими и функционально-синтаксическими. Вводные слова входят в состав функционально-синтаксических средств, подчеркивая и усиливая структурные и смысловые связи в тексте. Конечно, связность сложного синтаксического целого (далее – ССЦ) выражается совокупно-

стью разноуровневых языковых средств, но, как показало наше исследование, использование комплекса вводных слов позволяет четко представить логику рассуждения, делая сами умозаключения основательными и убедительными. Такой комплекс может состоять из двух – трех элементов, причем каждому вводному слову свойственна закреплённость в структуре высказывания с учетом выражаемой им семантики. Рассмотрим разные типы взаимодействия вводных слов в пределах одного ССЦ.

Два вводных слова, употребленные в составе одного ССЦ, могут представлять собой полный лексический повтор. Например: *«Всего достолюбезнее в идеальных девах уверенность их, что они понимают то, что читают, и что чтение приносит им большую пользу. Все они обожательницы Пушкина, – что, однако ж, нисколько не мешает им отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иные из них с удовольствием читают даже Гоголя – что, однако ж, нисколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и Полевого»**.

Здесь мы наблюдаем вводный элемент, выражающий смысловые отношения между частями высказывания. Следует заметить, что первая часть ССЦ представляет собой СПП с параллельным и последовательным подчинением придаточных изъяснительных, средствами выражения объективной модальности передает факт, относящийся к действительности как реальный и совершаемый в момент речи, о чем свидетельствует морфологическое средство выражения модальности – форма изъяснительного наклонения глаголов – сказуемых. Вторая часть, содержащая повтор вводного слова *однако* и модальной частицы *ж*, усиливающей грамматическое значение конструкции, представляет собой два СПП с параллельной синтаксической структурой и содержит в предикативном центре аналогичные глагольные формы, что также позволяет оценить содержание высказывания как факт реальный. Таким образом, части ССЦ являются одномодальными. Обращает на себя внимание расположение глаголов-сказуемых, идущих сразу после вводного слова: такое построение, с одной стороны, позволяет «удерживать» модальное значение достоверности на протяжении всей конструкции, а, с другой стороны, средствами субъективной модальности непрерывно актуализи-

* Здесь и далее цит. по: *Белинский В.Г. Сочинения Александра Сергеевича Пушкина.* – М., 1984.

ровать его, выражая значение допустимости одного действия наряду с другим.

Комплекс вводных слов может быть использован в ССЦ для оформления структурных отношений между его частями.

Например: *«Один великий критик даже печатно сказал, что в «Онегине» нет целого, что это – просто болтовня о том, о сем, а больше ни о чем. Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, во-вторых, на свидетельстве самого поэта:*

*Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне –
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал».*

ССЦ, в котором вводные слова *во-первых* и *во-вторых*, используемые при перечислении, указывают последовательность изложения фактов. Близкие по значению вводные элементы *с одной стороны, с другой стороны* могут использоваться при сопоставлении фактов, помогая тем самым многогранно представить то, что составляет содержание высказывания.

Соединение в ССЦ вводных элементов *словом, наконец, следовательно* делает структуру данной конструкции четко представленной. Например: *«Отчего все это происходит? – Оттого, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женищина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, словом, оттого, что у нас нет женищины. У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях; но в действительности он разделяется на четыре разряда: на девочек, на невест, на замужних женищин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто поделом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женищин, которые уже замужем».*

Четкость структуры данного ССЦ достигается благодаря тому, что первое вводное слово расположено в начале основной части, предназначенной для развития микротемы. Использование вводного слова *наконец* обозначает последовательность в развитии мысли, причем в данной конструкции эта последовательность определяется

с учетом важности сообщаемых фактов, подчеркивая, что автором приведены все положения, которые помогают создать полную картину описываемого явления, т.е. настраивают на завершение микро-темы... Последняя же часть ССЦ – концовка, поэтому здесь уместно было использование вводного слова *следовательно*, формирующего основной вывод из рассуждений, составляющих содержание этого отрывка текста.

Вводные конструкции в составе ССЦ могут выражать логико-смысловые отношения между частями высказывания. Например: *«Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле не известные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар старине: вследствие чего исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту своих владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрасанию и укреплению возникшего общества».*

Здесь функционирует комплекс из трех вводных конструкций, две из которых, открывая и завершая основную часть, сопоставляют два факта, тем самым устанавливая цепную контактную связь между частями ССЦ; а используемый в его середине вводный элемент *кроме того* помогает включить в структуру ССЦ дополнительное сообщение, необходимое для того, чтобы более полно описать явление, о котором говорится в тексте

Выражать логико-смысловые отношения между частями ССЦ может и комплекс вводных слов, одновременно оформляющий и структурные и смысловые связи.

Например: *«Да, мы далеки от псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего*

звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курной избе, что разбитый на кулачный бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта, – а *главное*, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность. Пора наконец догадаться, что, *напротив*, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшиеся прежде чуждыми ей формами, – для этого поэту нужно и иметь талант и быть национальным в душе».

В представленном выше ССЦ двучленный комплекс вводных элементов. Вводное слово *главное* оформляет структурные отношения, оценивая степень важности излагаемых фактов. Оно выделяет наиболее значимый факт из тех, что приводятся для доказательства справедливости суждения. Вводное слово *напротив* позволяет автору не только сконцентрировать внимание читателя на завершении рассуждения, сделать вывод более ярким и обоснованным, но и передать противительные отношения, т.е. противопоставить мысль, высказанную в заключительной части ССЦ, предыдущему умозаключению.

В ходе исследования нами выявлена группа вводных слов, выражающих структурные и логико-смысловые отношения, которые являются средством выражения категории связности. В эту группу вошли такие вводные элементы как *главное*, *словом*, *значит*, *лучшие сказать*, *итак*, *следовательно*, *напротив*, *например*, *наоборот*, *наконец*, *во-первых*, *во-вторых*, *с одной стороны*, *с другой стороны*. Некоторые вводные слова функционируют только в двучленном комплексе вводных элементов. Так, например, вводные слова *с одной стороны* – *с другой стороны* или *во-первых* – *во-вторых* употребляются в паре, соответственно последовательности и логике развития мысли. Четко закреплено в структуре ССЦ как целостной синтаксической единицы положение вводных слов, маркирующих концовку. Вводные элементы *следовательно*, *наконец*, *словом*, *таким образом*, *итак*, *значит* включаются в завершающую часть конструкции, подводящей итог развитию микротемы. Закрепленность в структуре ССЦ имеют и вводные слова *например*, *напротив*, которые располагаются в основной части и поясняют, противопоставляют основное содержание микротем текста.

© Чечулина Л.С., 2005

Раздел IV. **КОНЦЕПТОСФЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА**

А.В.Булыгина, Н.В.Пестова
Екатеринбург

Литературный концепт *смешение* в творчестве Ф.Кафки

В статье намечена методика выявления литературного концепта на примере концепта *смешение*, одного из системообразующих в творчестве родоначальника европейского модернизма Франца Кафки.

Выбор в качестве материала исследования произведений австрийского писателя обусловлен не просто неугасающим, но, напротив, все возрастающим интересом к нему как со стороны филологов, так и современных читателей. Венский симпозиум 1983 года, посвященный творчеству Ф.Кафки, констатировал: несмотря на уже необозримое число существующих интерпретаций, толкований, литературно-критических анализов, складывается впечатление, что «мы так и не сумели приблизиться к ядру сущности его произведений» [Steinmetz 1985: 156]. Как утверждал А.Камю в «Мифе о Сизифе», «детальный анализ творчества Кафки невозможен», т.к. «символическое произведение наиболее трудно поддается пониманию», а «символ принадлежит стихии всеобщего» и «буквально не переводится» [Камю 1997: 129]. Российские исследователи, подчеркивая «гениальность классика XX века», отмечают, что она продолжает оставаться загадкой [ср.: Зусман 1996].

Под *литературным концептом* понимается «пучок перекрещивающихся смыслов, восходящих одновременно к разным звеньям художественной коммуникативной системы» [Зусман 2001: 2]. В литературном концепте проявляются как внутритекстовые, так и внетекстовые связи, включающие историко-культурный и социальный дискурсы; в нем взаимодействует внутренняя форма произведения с процессом понимания, т. е. в диалоге произведения с читателем действуют прямые и обратные связи, порождающие концепты [Там же: 16]. На основе взаимодействия всех указанных факторов осуществляется как вычленение концепта, так и присвоение ему имени. Концепт *смешение* вырисовывается и обретает конкретные очертания при синтезе результатов широкого дискурсив-

ного анализа с элементами контрастивной концептологии; читательского понимания, нередко «блуждающего» в поисках разгадки сцепления многочисленных символов; внутритекстовой материи, особой «кафкианской» организации которой посвящены целые библиотеки [ср.: Steinmetz 1985]. В дискурсивном анализе огромную роль играет «пражская почва» и биографическая основа произведения: у Ф.Кафки она совершенно особым образом спаяна с сюжетом [ср.: Камю 1997: 130; Кафка 2005; Брод 2003; Зусман 1996].

Концепт *смешение*, как и большинство литературных концептов, является *калейдоскопическим концептом*: комбинации его отдельных фрагментов и реализаций разных уровней (от жанровой специфики до «грамматической ирреальности» повествования или официально-делового вокабуляра) обеспечивают текучесть и многообразие общей картины, они могут входить во многие «концептуальные узоры» другого целого, взаимодействовать с ним, порождать его новые версии, оттенки и варианты в виде новых символов, противоречий, мотивов, коллизий или топосов.

Принцип смешения пронизывает все творчество писателя по вертикали и горизонтали [ср.: Зусман 1996: 6]: смешиваются различные смысловые и жанровые сферы – объективное и субъективное; интимное, личное и публичное; рукописное и опубликованное; письма, наброски, дневники, миниатюры, афоризмы, новеллы, деловые тексты, написанные Кафкой-служащим страховой компании, и романы, что задает любому серьезному исследованию параметры «кросс-жанровости» (термин В.Н.Топорова). Из всех специфических внутритекстовых черт отметим лишь две наиболее значимые для формирования исследуемого концепта. Ф.Кафка сумел сделать трагедию разума *конкретной*, придав трагическому содержанию «обыденные и умеренные формы» – таков, по определению А.Камю, жуткий «*натурализм Кафки*» [Камю 1997: 131]. В его противоречиях между обыденным и нереальным и в полном отсутствии удивления по поводу этих противоречий узнаваем роман абсурда. Другой характерной особенностью авторского стиля признана поэтика «*мнимых величин*», связанная с разыменованием, деноминацией. Этот процесс предстает то как утрата имен, то как их смешение, что всегда ведет к нарушению коммуникации, невозможности диалога в мире Ф. Кафки [Зусман 2001: 97]. Чтобы понять внешне абсурдное произведение автора, нужно вникнуть во

все парадоксы, понять роль каждого противоречия, исследовать глубину трагического в «обыденных и умеренных формах», в привычных, казалось бы, жестах, порождающих «сакраментальный ужас» (А.Камю) в большей степени, чем любые трагические крайности.

Приведем часть аргументации из дискурсивного анализа в пользу из избранного *имени концепта*.

Сохранившееся благодаря М.Броду наследие Ф.Кафки позволяет судить о его «сверхъестественной тревоге» (А.Камю) по отношению ко времени жестоких исторических изломов начала XX века [ср.: Брод 2003]. Это время Н.А.Бердяев чрезвычайно метко назвал «новым средневековьем» и охарактеризовал его как «час смешения», «час тоски невыразимой» [Бердяев 2005: 409]. По определению Т.Манна, Ф.Кафка явился «сейсмографом Европы» этого периода, который трудно охарактеризовать лучше, чем это сделано русским философом: «Индивидуализм, атомизация общества, безудержная похоть жизни, неограниченный рост народонаселения и неограниченный рост потребностей, упадок веры, ослабление духовной жизни – все это привело к созданию индустриально-капиталистической системы, которая изменила весь характер человеческой жизни, весь стиль ее, оторвав жизнь человеческую от ритма природы. Машина, техника, та власть, которую она с собой приносит, та быстрота движения, которую она порождает, создают химеры и фантазмы, направляют жизнь человеческую к *фикциям*, которые производят впечатление *наиреальнейших реальностей*» [Бердяев 2005: 423]. Как следует из анализа культурно-исторического, философского и художественного дискурсов, два философа, А.Камю и Н.Бердяев, оказываются близки в понимании наивысшей абсурдности бытия, заключающейся в «наиреальнейшей реальности химер и фантазмов» и «естественности всего неестественного», что происходит с героем: «Парадокс заключается в том, что чем удивительнее приключения героя, тем естественнее воспринимается повествование» [Камю 1997: 130].

Контрастивная концептология открывает возможности широких дискурсивных сопоставлений. Так, Н.А.Бердяев в характеристике «нового средневековья» обращается к Ф.И.Тютчеву, который, по мнению философа, «глубже, чем думают. Он – вещее явление. Он предшественник ночной исторической эпохи, *провидец* ее» [Бердяев 2005: 412]. М.Брод также называл Ф.Кафку «*пророком XX века*»

и «узником абсолюта» [Брод 2003], что подтвердилось всем дальнейшим развитием не только европейской литературы. Пользуясь «сумеречной метафорикой» Ф.И.Тютчева, русский философ сравнивает переломную эпоху с *сумерками*, когда теряется ясность очертаний, твердость границ: «*Тени сизые смешались | Цвет поблекнул, звук уснул... | Человек, как сирота бездомный, | Стоит теперь и немощен и гол, | Лицом к лицу пред этой бездной темной...*» [Цит. по: Бердяев 2005: 113]. «Сумерки идолов» Ф.Ницше (1888) и Библия экспрессионистской лирики «Сумерки человечества» (1920) принадлежат к этому же дискурсу. В кафкианской версии восприятия этой «сумеречной эпохи» смешение дня и ночи, света и тьмы, причины и следствия, сновидения и яви предстает «мрачной фантазией на тему **этики ясности**» [Камю 1997: 131]. Именно такое наступление со стороны Ф.Кафки на «этику ясности» за счет смешения обыденного и парадоксального и дает возможность присвоить исследуемому концепту имя *смешение*. Как утверждает А.Камю, тайна Кафки – именно в этой «непоколебимой двусмысленности», в балансировании между индивидуальным и всеобщим, обычным и противоестественным, абсурдным и логическим, трагическим и обыденным.

Имя литературного концепта, как правило, не является для него «ключевым словом» в понимании А.Вежбицкой, оно не входит и в «словообразовательные гнезда» (В.Караулов), сцепляющие текстовую ткань. Оно может быть вовсе не представлено в словаре писателя данной лексической единицей. Как говорит А.Камю, «лексику словаря соответствий между *миром идей* и *миром впечатлений* выявить нелегко» [Там же]. Исследователь, осознавая наличие двух миров, «становится на путь тайны их взаимного отражения» [Там же]. Имя концепта, как и его словарь, как уже говорилось, следует искать в широком историко-культурном дискурсе, сверяясь с мироощущением писателя, а затем находить его конкретные специфические внутритекстовые и собственно языковые реализации, используя методы дискурсивного, концептуального, сопоставительного, литературоведческого и лингвистического анализа, которые включают в себя элементы герменевтического, структуралистского и постструктуралистского, психоаналитического, интертекстуального анализа, учитывают принципы рецептивной эстетики, деконструктивизма или гендерного подхода [ср.: Jahraus 2002].

Следуя такой общей методологии, можно поэтапно вычленить разнородные составляющие концепта *смешение* в творчестве Ф.Кафки: семантику неопределенности (которая входит также и в другие концепты, например, *время*, *пространство* или в другие логико-семантические категории, например, *персональность*: *везде-нигде-где-то*; *сейчас-никогда-всегда-когда-нибудь*; *некто, кто-то, кто-нибудь*); разыменование или смешение имен; «двулинейность», или «двусмысленность», как нерасчленимое сплетение голосов героя и автора/повествователя (несобственно-прямая речь); порождение специфических кафкианских «кентавров» и «киборгов»: человек – животное (насекомое), человек – машина, душа – отчужденное тело, машинерия власти; неразличимость как очеловечивание-анимализация или овеществление/опредмечивание духовного.

Калейдоскопическое устройство концепта *смешение* можно проиллюстрировать на примере перехода/превращения несобственно-прямой речи (формально-грамматический уровень текста) в «форму смысла» (смысловой, этический, мировоззренческий, художественно-эстетический уровни) и ее вхождения в различные смысловые сферы произведения. Несобственно-прямая речь выполняет в тексте несколько важнейших текстообразующих функций [ср.: Павлова 2004], в том числе и в объективации, вербализации концепта *смешение*. Например, таким же знаковым в нарушении «этики ясности», как первое предложение новеллы «Превращение» («Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in einem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt» – «Когда Грегор Замза проснулся однажды утром от тревожного сна, он обнаружил себя в постели превратившимся в мерзкое насекомое»), стало и начало романа «Процесс»: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест» – «Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet» [Kafka 1983: 283]. Дальнейшее повествование разворачивается преимущественно в форме несобственно-прямой речи, которая служит для автора не просто более тонким средством передачи чужой речи и мысли или приемом передачи чужого высказывания и ведения авторского повествования (В.В.Виноградов, М.М.Бахтин, Ш.Балли, К.Фосслер, Г.Лерх). Несобственно-прямая речь, по мнению исследователей Ф.Кафки, «позволяет измерить

глубину романа», т.к. она превращена автором из грамматической формы речи в акт «ареста сознания, поведения и речи героя» [Павлова 2004: 358].

Голос повествователя и голос протагониста в «Процессе» смешиваются, хотя первенство поначалу явно принадлежит протагонисту [Там же: 359], который на протяжении всего романа остается в смятении и недоумении – виновен? в чем? – ведь не «сделал ничего дурного»? Ведь он «живет в правовом государстве, <где> всюду царит мир, все законы незыблемы»? Автор почти до конца повествования «не выпускает» голос героя из опоясывающей всякое его высказывание речи повествователя. И только в диалоге с капелланом намечены первые признаки освобождения: речь Йозефа К. выстраивается от первого лица и, казалось бы, отмежевывается от речи повествователя, обретая самостоятельность. Однако заключительная фраза романа «“Wie ein Hund!” sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben» [Kafka 1983: 489], в которой *прямая речь* Йозефа К. оформлена грамматически и графически, вновь смешивает планы протагониста и повествователя, но смешение несет в себе уже иную смысловую нагрузку. «Как собака, – сказал он (так), как будто это было, как будто этому позору суждено было пережить его» [Кафка 1983: 310]. Н.С.Павлова подчеркивает, что в этом смешении происходит обратный процесс – подчинение повествователя протагонисту – и обращает внимание на неточность перевода на русский язык слова *die Scham* как *позор*: «Слово Scham принадлежит повествователю, но несет в себе отсвет сферы героя, поскольку является глубоко личным: не ‘позор’ – ‘Schmach’, ‘Schande’, как стоит в русском переводе (т. е. нечто, разделенное людьми), а ‘стыд’, ‘срам’» [Павлова 2004: 364].

Сопоставление организации концепта *смешение* (в частности, несобственно-прямой речи) оригинала и нескольких переводов романа на русский язык обнаруживает не только проблемы эквивалентности перевода и его адекватности, но и вскрывает сами возможности концептуализации, категоризации и объективации в сопоставляемых языках литературного концепта и принципа *смешения*. Этот путь типологического и сопоставительного исследования является логическим продолжением обозначенной в статье проблематики и находится в стадии исследования.

Литература

Бердяев Н. А. Русская идея. – СПб., 2005.

Брод М. Франц Кафка: узник абсолюта. – М., 2003.

Зусман В. Г. Художественный мир Франца Кафки: малая проза. – Н. Новгород, 1996.

Зусман В. Г. Диалог и концепт в литературе: литература и музыка. – Н. Новгород, 2001.

Камю А. Миф о Сизифе; Бунтарь / Пер. с фр. – Минск, 1997.

Кафка Ф. Письмо отцу / Пер. с нем. – СПб., 2005.

Павлова Н. С. Модерн. Модернизм. Модернизация: По материалам конференции «Эпоха “модерн”». Нормы и казусы в европейской культуре на рубеже XIX–XX вв. Россия, Австрия, Германия, Швейцария. – М., 2004.

Steinmetz H. Negation als Spiegel und Appel. Zur Wirkungsbedingung Kafkascher Texte // Was bleibt von Franz Kafka? Positionsbestimmung: Kafka-Symposium Wien 1983. – Wien, 1985.

Kafka F. Das erzählerische Werk.: In 3 Bd. Bd. 2. – Berlin, 1983.

Jahraus O. (Hrsg.). Kafkas Urteil und die Literaturtheorie. – Stuttgart, 2002.

© Булыгина А.В., 2005

© Пестова Н.В., 2005

И.Ю.Ваганова

Екатеринбург

Имена собственные как элемент ментального пространства произведений художественной фантастики

Художественный текст – это сложная многоуровневая структура, исследование которой ведется в различных направлениях (напр., антропоцентрическом, текстоцентрическом, когнитивном, лингвоцентрическом). В рамках психолингвистического подхода предполагается, в частности, выявление его сложной ментальной организации. Так, в произведениях художественной фантастики создается некое ирреальное ментальное пространство, моделируемое на основе имитативного принципа языковой игры [см.: Гридина 1996, 2005a]. В связи с этим несомненный интерес вызывает изучение имен собственных, выступающих «не как маргинальный элемент художественной реальности, выполняющий второстепенные функции указания на персонаж, топо- или эргообъект, а скорее как важный носитель идейно-эстетической информации, закодированной в виде эстетически насыщенных и семиотически организованных маркеров авторской модели мира» [Шебалов 2005: 173].

Имена собственные, взаимодействуя с другими знаками, участвуют в моделировании виртуального художественного пространства и функционируют на всех уровнях произведения – «от фонетического до концептуального» [Фомин 2005: 56]. Литературный оним выступает, в первую очередь, как номинация и идентификатор персонажа ирреального мира, выделяющий его среди других

героев и объектов. При этом выбор узуальных лексем или словообразовательных моделей определяется эстетической интенцией автора, проецируемой на исторические, социальные, культурные и этнокультурные особенности создаваемого пространства, и зависит также от языкового чутья и эрудиции автора.

Функционируя в произведении, литературные онимы объединяются в систему, порождающую особое ономастическое поле, которое соотносится «с общим семантическим пространством художественного текста (денотативно-событийным, концептуальным, хронологическим и эмотивным пространствами в его составе)» [Шебалов 2005: 173].

Одним из способов создания ономастического поля является ономастическая игра, рассматриваемая исследователями как «особая разновидность языковой игры, основанная на актуализации ассоциативного потенциала имени собственного» [Гридина 2005б: 37]. В сознании читателя литературный оним соотносится с языковым, историческим и этносоциокультурным опытом, в результате чего формируется представление о персонаже, соотносимое с авторской концепцией мира и человека, представленной в произведении.

В художественной фантастике ономастическая игра, в основу которой положен *имитативный принцип*^{*}, может служить точкой отсчета при создании ономастического поля произведения. В данной статье мы рассмотрим антропонимическую систему романа А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров».

Действие романа происходит в период с 2157 по 2161 год на планете Саракш. Главный герой романа – землянин, волонтер ГСП (*Группы Свободного Поиска*). Потерпев крушение и не имея возможности подать сигнал бедствия, он оказывается на космическом «обитаемом острове», не случайно герой сравнивает себя с Робинзоном Крузо: *«Робинзон, подумал он с некоторым даже интересом. Максим Крузо. Надо же – ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня обитаемый...»*. Максим вступает во взаимодействие с представителями разных социальных слоев и разных народов планеты. Имена героев-саракшан образуют

* Имитативный принцип языковой игры предполагает создание ассоциативного контекста, в котором слово, являющееся окказиональной реализацией языковой модели, воспринимается как однотипное в ряду узуальных единиц [См. Гридина 1996].

особое фантастическое антропонимическое пространство, в котором отражаются социальные, исторические и культурные особенности устройства вымышленного мира.

В тексте произведения функционирует 124 антропонимические единицы, служащие для именования 78 объектов, среди которых представлены как главные герои, так и персонажи, эпизодически появляющиеся в тексте. Причем 19 из них имеют вариативные именования, количество которых колеблется от 2 до 11. Так, например, наибольшее число вариаций относится к обозначению главного героя: *Максим Каммерер* – *Максим* – *Максик* – *Мах-сим* – *Мак* – *Батя* – *Мак Сим* – *Кандидат в рядовые Боевой Гвардии М.Сим* – *Кандидат Сим* – *Кандидат Максим* – *Максим Крузо*. Многие из вариантов представляют собой обыгрывание звуковой оболочки имени, ее искажение: *Максим* → *Мах-сим*, *Мак Сим*. Часть именований указывает на место героев в социальной, политической системе, существующей в фантастическом мире (*Профессор Аллу Зеф* – *Воспитуемый Зеф*, *Рядовой Гаал* – *Капрал Гаал*), на характерные черты внешности персонажа (*Рыжебородый* – *Рыжее хайло Зеф*), является прозвищем героя (*Мемо-Копыто* – *Копыто Смерти* – *Копыто*, *Орди Тадер* – *Птица*, *Рудольф Сикорски* – *Странник*, *Тик Феску* – *Вепрь* и др.).

Антропонимы, функционирующие в произведении, могут быть охарактеризованы по нескольким параметрам:

I. По числу компонентов антропонимы в рассматриваемом романе делятся на одночленные, двухчленные и трехчленные.

Наиболее многочисленными являются однословные единицы (72), среди них 16 фамилий, 17 имен и 39 прозвищ. На втором месте находятся двухсловные конструкции (51), образованные по следующим моделям: имя + фамилия (19): *Илли Тадер*, *Мору Баруту*; социальный статус + фамилия (25): *домохозяин Ренаду*, *рядовой Лепту*; социальный статус + прозвище (1): *профессор Бегемот*; имя + прозвище (6): *Мемо-Копыто*, *Тана Петушок*. Преобладание конструкций второго типа связано со значимостью социальной проблематики в романе: место героев в социально-политическом конфликте определяется в том числе и посредством их номинации. На периферии антропонимического поля находятся трехчленные именования, представленные 1 единицей (*Профессор Аллу Зеф*).

II. По ономастическим разрядам. Антропонимическое поле романа включает имена (28), фамилии (39) и прозвища (41). Отсут-

ствие отчеств для русского читателя подчеркивает «иностранность» моделируемого в произведении ономастического пространства.

В ментальном пространстве фантастического произведения названные элементы антропонимического поля занимают свою особую позицию в зависимости от структуры имени и принадлежности к определенному ономастическому разряду.

Среди имен, функционирующих в романе, выделяются единицы, закрепленные в русском или иноязычном антропонимиконе (*Максим, Олег, Рудольф, Джесси, Адольф*). Их обладателями являются герои-земляне, причем национальный компонент имен редуцируется, на первый план выступает «земная» составляющая значения.

Когда герои оказываются на другой планете, происходит их «переименование» в соответствии с ономастическими нормами виртуального мира. Так, *Максим* становится *Мах-симом*, а затем *Маком Симом*; трансформация имени связана с моделированием ситуации восприятия инопланетной звуковой оболочки, попытки освоения лексемы в чуждой ей речевой среде. Разделение имени на слоги и обретение им статуса собственных имен обусловлено нарочито медленным произнесением своего имени героем при первой встрече с инопланетянами: *«Максим! – продолжал Максим, тыча себя в грудь. – Мах-сим! Меня зовут Максим! – Для большей убедительности он ударил себя в грудь как разъяренная горилла. – Максим!*

– Махх-ссим! – рывкнул рыжебородый со странным акцентом».

Еще одним показателем освоения имени в новой языковой среде является попытка саракшан объяснить его значение: *«Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себя по груди и невнятно произнес что-то вроде «мах-сим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «мах-сим» означает «сшел ножик»».*

Кроме закрепленных в системе, в тексте функционируют окказиональные имена (*Орди, Илли, Киви, Мору и др.*). Они используются для обозначения героев-саракшан, при этом мы можем говорить и о «национальной» составляющей имен. Так, имена жителей страны Неизвестных Отцов состоят из одного (*Зой, Иза*) или двух (*Ноле, Орди*) слогов, для них характерен сингармонизм (*Киви, Та-на, Рада, Танга*), удвоенные сонорные согласные (*Аллу, Илли*).

Иную структуру имеют имена *горцев*, подчеркнуто многосложные и трудно произносимые: «*Настоящую его фамилию не произнести. То ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев... Как, бишь, звали ихнего древнего царя... Заремчичакбешмусарайи...*».

Подобно именам, фамилии в романе также делятся на созданные по узуальным моделям (*Сикорски, Каммерер*) и окказиональные (*Тоот, Шапшу, Лепту, Чачу, Зайза и др.*). Для последних характерны следующие признаки: сингармонизм (*Серембеш, Баруту, Чачу*), удвоение гласных (*Каан, Тоот, Гаал, Куур*), преобладание односложных и двусложных лексем (*Зеф, Сим, Оду, Порру, Панди*).

Также нужно отметить, что в тексте встречаются фамилии, имеющие статус прецедентных: *Крузо, Гилмер* (искаженное Гиммлер), *Босх*, отсылающие читателя к фактам земной истории и культуры.

Фамилии как однословная номинация персонажей редко используется в тексте, как правило, они выступают в сочетании с именем или указанием на социальный статус героя (*Илли Тадер, Киви Попшу, генерал Шекагу, профессор Порру*). При этом наиболее распространенной характеристикой является военное звание (*капрал Гаал, ротмистр Тоот, кандидат Зойза, генерал Оду, эксполковник танковых войск Анипсу, штаб-врач Зогу и др.*). Причины данной особенности ономастического поля коренятся в высокой степени милитаризованности виртуального пространства романа: военная диктатура в стране Неизвестных Отцов, нарастающая политическая напряженность (деятельность подполья), объявление войны соседнему государству Хонти – все это приводит к тому, что многие герои как главные, так и второстепенные, приобретают статус военных.

Наряду с фамилиями, представленными 39 языковыми единицами, ядро антропонимического поля романа составляют прозвища (41 лексема). Это связано со спецификой организации виртуального мира: главным представителем власти в государстве является армия, одновременно с ней действуют две скрытые политические силы. Одна из них – это **Неизвестные Отцы**, фактически управляющие страной, их окружает атмосфера таинственности, официальная пропаганда поддерживает ореол силы и неизменности: «*Неизвестные Отцы, – сказал Доктор, – это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранив-*

шиеся после двадцатилетней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. <...> Отцы никому не служат. Они сами – деньги. Они – всё. И они, между прочим, ничто, потому что они анонимны и все время жрут друг друга...». Им противостоит вторая сила, объявленная вне закона, – **подполье**: «Как они могут быть готовы? – возразил Зеф. – Одни мечтают уничтожить башни, другие – сохранить башни... Подполье – это тебе не политическая партия, это винегрет, салат с креветками...». Основу оппозиционной организации составляют **выродки** – саракшане, обладающие устойчивой к воздействию излучения нервной системой, но испытывающие острую физическую боль во время работы излучателей («Они изобрели излучение, при помощи которого создали понятие о **выродке**. Большинство людей – вот и вы, например, – не замечают этого излучения, словно бы его и нет. А несчастное меньшинство из-за каких-то адских особенностей своего организма испытывают при облучении адские боли. Некоторые из нас – таких единицы – могут терпеть эту боль, другие не выдерживают, кричат, третьи теряют сознание, а четвертые сходят с ума и умирают...»).

Конспиративный характер данных организаций моделируется в произведении за счет использования прозвищ для обозначения их членов. Для большинства из них прозвище является единственным именованием в тексте (*Крысолов, Волдырь, Чайник, Туча* и др.), для некоторых в качестве вариантной номинации используются имя и (или) фамилия (*Орди Тадер – Птица, Тик Феску – Вепрь, Дэк Поту – Генерал*).

Прозвища представителей противоборствующих политических сил различаются признаком, положенным в основу номинации. Так, для обозначения **Неизвестных Отцов** это, в первую очередь, родственные связи: *Папа* – человек, стоящий во главе организации («...стоит ли у власти **Папа**, крупнейший потомственный финансист, глава целого клана банкиров и промышленников...»), *Свекор* («Смотря как трогать, – негромко сказал **Свекор**. – Если деликатно, небольшими силами...»), *Шурин* («Приступ детективного бреда, – заметил **Шурин**, ни к кому не обращаясь»), *Деверь* («**Деверь**, который был до тебя, разъединил Хонти, а теперь нам приходится опять объединять...»), *Тесть* («Лучше без итанов, чем без танков, – возразил **Тесть**»). Данные онимы используются для но-

минации элиты власти, именно «родичи» определяют политический и экономический курс страны.

На следующем уровне власти находятся всевозможные советники и помощники Отцов, в основу номинации которых положены внешние характеристики (*Очкарик*, *Головастик*, *Дергунчик*) или личностные качества персонажей (*Умник* – генеральный прокурор, выступающий в роли советника Отцов, умеющий говорить к месту и понимать с полуслова («*А ты что молчишь, Умник? – спросил Папа. – Ты ведь у нас умник*»); *Странник* – советник Отцов, главный изобретатель, постоянно находящийся в разъездах, при этом никто не знает о его местонахождении в данный момент. «*И ты знаешь, Странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал*»).

В основу номинации членов подполья положено, во-первых, указание на род деятельности, профессиональную принадлежность персонажей (*Доктор* – член подполья, до переворота был судмедэкспертом («*Какой я доктор, – сказал Доктор. – Я так – судебная медицина...*»); *Генерал* – глава группы подпольщиков, бывший военный («*Генерал был не генерал. До войны он был рабочим на конвейере, потом попал в школу младших командиров, воевал капралом, закончил войну ротмистром*»); *Лесник* – бывший крестьянин, живущий в лесу и обеспечивающий укрытие для подпольщиков («*Никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле, хотя говорили ему, что Лесник – боец умелый и беспощадный*»). Во-вторых, в качестве основы для номинации подпольщиков могут быть использованы названия животных (*Вепрь* – старый опытный подпольщик, организатор и идеолог подрывной деятельности. «*Вепрь стоял среди кучки людей в серых плащах и что-то говорил, размахивая здоровой рукой. Люди стояли неподвижно. Они еще не поняли. Или не верили*»); *Птица* – участница подполья, много знающая, быстрая и опасная. «*Далее все по старому плану с одним исключением: Птица наступает как гранатометчик вместе со мной*»); в-третьих, характерные черты героев (*Малыш* – человек небольшого роста, *Рыжее хайло* – человек с огненной бородой, который говорит громко, напористо). Также при создании прозвища используются метафорические номинации, приписывающие герою демонические качества: *Копыто Смерти* – террорист, организатор подпольного движения («*...Максим единственный чувствовал его вечный страх, – остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый*

Копыто Смерти, запросто разговаривающий с любым представителем штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-либо бояться»).

Таким образом, в качестве одного из средств создания ментального пространства в тексте выступают имена собственные. Антропонимическое поле романа моделируется А. и Б. Стругацкими с учетом ассоциативного потенциала используемых для создания антропонимов моделей, проецируемых на этносоциокультурные особенности виртуального пространства произведения.

Литература

Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа. – М.; Екатеринбург, 2004.

Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург, 1996.

Гридина Т.А. Культурно-эстетические коды языковой игры в художественном тексте // Человек в мире культуры. – Екатеринбург, 2005а.

Гридина Т.А. Интерпретационное поле ономастической игры // Ономастика в кругу гуманитарных наук. – Екатеринбург, 2005б.

Фомин А.А. О направлениях изучения современной ономии // Ономастика в кругу гуманитарных наук. – Екатеринбург, 2005.

Шебалов Р.Ю. Семантическое пространство и игровое ономастическое поле в ранних рассказах А.П.Чехова // Ономастика в кругу гуманитарных наук. – Екатеринбург, 2005.

Ошкова Е.А., Лабунец Н.В. Имя собственное в контексте фантастического произведения // Language and Literature. 1999. – № 6.

© Ваганова И.Ю., 2005

Н.А.Жидко
Екатеринбург

Новая метафорика в авангардной поэзии

Лирика рубежа XIX-XX веков показывает изменения не только в эстетическом каноне, но и в структуре вечных поэтических приёмов, в частности, метафоры. Появляется новый вид метафоры, который сегодня принято называть «абсолютной», по крайней мере, в контексте изучения западноевропейской лирики обозначенного периода. Характер новой метафоры подлежит изучению, но не меньший интерес представляет причина создания этого нового литературного приёма.

Нельзя не заметить большого сходства между западноевропейской лирикой рубежа веков и русским авангардом того же периода. Русские поэты оставили большое наследие теоретических трудов, в которых они чётко обозначают цели своего творчества. Мы рас-

смотрим здесь труды русскоязычных футуристов (Вел.Хлебников, А.Кручёных) и символистов (Вяч.Иванов, А.Белый).

В ситуации языковой разобщенности и отчуждения эти авторы предлагали обратиться к поэзии, к созданию метафор. В поэзии, по их мнению, слышны отголоски древнего праязыка, на котором говорили наши предки. Обращаясь к поэзии, мы обращаемся к древнему языку, к «дорациональной, дописьменной эпохе, когда людей не разделяли языковые барьеры» [Куцова 2002: 97]. Вяч.Иванову поэзия казалась «первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опыта» [Иванов Вяч. Борозды и межи. Опыты критические и эстетические. Цит. по: Тимофеева 1962: 45]. Теоретики авангарда апеллировали к глубокому внутреннему родству между словами. С течением времени истинное значение слов оказалось забытым, и создание метафор есть способ вспомнить и вновь обрести этот древний, универсальный язык, на котором говорят между собой человек и природа, человек и Бог. В современном мире мы находимся в ситуации языковой разобщённости, и, разумеется, попытка создания универсального языка для того, чтобы люди могли беспрепятственно общаться между собой, является утопией, но есть другой способ – общение на уровне чувств и эмоций, на уровне глубинных ассоциаций и интуиции: «Слово не есть сочетание звуков. Каждое слово, имея свой особый корень, смысл, историю, возбуждает в человеческом уме множество неуловимых, но для всех людей совершенно одинаковых ассоциаций» [Перчатка кубофутуристам 1999]. Ту же мысль мы встречаем у теоретиков немецкого экспрессионизма: «Ценность поэтического слова – в его ассоциативном потенциале... Существительное в строфе многозначно, ассоциативно, символично... Конкретно не то, что существенно, однозначно, постижимо, а то, что несёт наибольший ассоциативный потенциал» [Werfel 1994: 157].

Теоретики авангарда шли к созданию нового языка, который был бы понятен всем, поскольку этот язык был бы отголоском той самой дописьменной перворечи, понятной не умом, но чувством и интуицией. «Попытка создания единого языка, понятного всем людям, и является единственным подлинным языком, в котором обозначающее и обозначаемое слились в одно и воспринимаются как

одно» [Иванович 2004]. Хлебников называл этот язык «звёздным», Кручёных – «заумным», то есть лежащим за пределами ума, рационального понимания: «Мы дали свободный язык, заумный и все-ленский. Через мысль шли художники прежние к слову, мы же через слово непосредственно к постижению» [Кручёных 1999: 50]. Универсальный, интернациональный язык существует – это поэзия, общение образами и чувствами, на уровне интуиции, иррациональных пробразов: «Заумь устанавливает прямой и короткий контакт с эмоционально-чувственной сферой человека, прежде всего с его подсознанием» [Васильев 2000: 57]. «В зауми авангардисты-экспериментаторы погружались в доязыковую бессознательную стихию, избегая окультуренных, а значит, уже испробованных и потому «несвежих» знаковых реализаций» [Там же: 59].

Эти теории с определённых точек зрения тесно переплетаются с теориями современной метафорологии и когнитивистики, что свидетельствует не об утопическом мышлении авторов, а об их глубоком понимании внутренней природы языка. На сегодняшний день представлено множество исследований в области метафорологии, но с точки зрения нового вида метафоры особый интерес представляют различные направления когнитивистики, возникшие в начале 80-х годов. Они дают новую интерпретацию метафоры: метафора как когнитивный процесс, процесс постижения, описания и структурирования окружающего мира [Лакофф, Джонсон 1990]. Метафора – это всегда перенос признаков с одного предмета на другой, но также и способ объяснить один предмет через другой, неизвестное через уже знакомое.

В когнитивистике теории метафорологии пересекаются с теориями возникновения языка: каким образом древний человек познавал мир и по какому принципу он давал имена вещам и явлениям окружающей действительности? Известно, что сознание древнего человека было мифологично, весь мир представлялся как единая цепочка образов и переживаний, человек не отделял себя от окружающей действительности, от природы, от мира видимого и потустороннего: «Для первобытного понятия характерно тождество субъекта и объекта, как и мира одушевлённого и неодушевлённого, слова и дела» [Фрейденберг 1997: 52]. Именно так и происходило постижение человеком окружающего мира – посредством мифологизации и метафоризации окружающей действительности. Познание окружающего мира происходило одновременно с созданием

мифов, метафор и тропов, и эти процессы неотделимы друг от друга. Некоторые исследователи (А.А.Потебня, А.И.Веселовский, О.М.Фрейденоберг) говорят о параллелизме как о явлении, исторически предшествовавшем метафоре. Давая названия предметам и абстрактным явлениям, человек пользовался именно параллелизмом и таким образом приходил к постижению окружающего мира. Затем тропы начали обретать самостоятельность, отделяться от языка повседневного и образовывать иной язык – поэтический. «Начало поэзии совпадает с первым движением человеческого бытия, т.е. с формированием мышления и языка. Первобытный язык изначально поэтичен и образен, в нём заключена поэзия. Первый язык – это одна большая метафора, поскольку он опирается на уподобление чувственного мира сознанию. Все тропы, персонификации и фигуры речи берут начало в праязыке» [Вайнштейн 1994: 25]. «В основе эпитета всегда лежит далёкая историко-психологическая перспектива, нахождение метафор» [Веселовский 1989: 59].

Теория А.Кручёных о глубинном внутреннем родстве слов также соответствует теориям когнитивистики, согласно которым язык в нашем сознании подобен схеме химической молекулы в п-мерном пространстве, где узлом сетки является не атом, а слово, а связи между словами напоминают теорию языковой валентности. Если разрушить одну устоявшуюся связь и вместо неё создать другую, ранее нереализованную, мы достигаем искомого эффекта: создаётся метафора, и вместе с ней – новое представление об окружающей действительности [Макормак 1990]. Следуя этим путём, через множество нарушенных и вновь созданных связей, мы погружаемся в глубины праязыка, перворечи: «Сквозной метафоризм свидетельствует о глубоком внутреннем родстве вещей... мысль скользит через серию промежуточных метафор в этимон – конкретную истину слова» [Вайнштейн 1994: 25].

Авторы-символисты не предпринимали попыток воссоздания праязыка, но они предлагали свою оригинальную интерпретацию нового вида метафоры, называя её *символом*. А. Белый определяет метафору как последний этап образования символа. Метафора находится на стадии аллюзий, когда образуется новый предмет, не содержащийся в членах сравнения. К аллюзиям, помимо метафоры, относятся также синекдоха и метонимия, но, анализируя эти тропы, мы можем вычленить элементы сравнения. В случае метафоры же

символ превращается в неразложимое единство [Белый 2002: 184]. А.Белый указывает на мифологическое происхождение метафоры: «Метафора – это грань между поэтическим и мифологическим творчеством». По его мнению, в мифологическом творчестве употребление символов бессознательно, в эстетическом – сознательно [Белый 2002: 190]. Символ, по мнению А.И.Веселовского, является подвидом упомянутого выше параллелизма. Это, по его мнению, принципиально иной приём, исторически предшествующий тропу, составляющий его архаическую подпочву и требующий не условно-поэтического, а мифологически-буквального понимания: «Параллелизм был силён тогда, когда человек воспринимал мир как единое целое (мифологическое восприятие). С развитием сознания, с отделением человека от природы параллелизм поблёк, уступив место синкретизму...» [Веселовский 1989: 106]. Параллель, ставшая привычной, превратилась в символ [Там же: 116], а следующим этапом стал параллелизм формальный, то есть умолчание одного из членов параллели, что и стало поэтической метафорой [Там же: 141].

Итак, символ – это наивысшее развитие метафоры, максимально эффективное выполнение ею функции познания окружающего мира. А.Белый указывает на особый вид познания – познание через символизацию. Оно происходит иррационально, на уровне интуиции, что напоминает идеи футуристов о скрытом внутреннем родстве слов: «Всюду человек использует инструмент так называемой символизации: последнее воплощение Единого в любом из образов действительности ведёт к последовательному возведению этого образа в ряды праобразов. Первоначальный образ становится всё более и более окном, сквозь которое начинает просвечивать символ, или зеркалом, его отражающим» [Белый А. Арабески. Цит. по: Сарычев 1991: 57]. В статье «Символизм как миропонимание» А. Белый ссылается на философию Шопенгауэра, согласно которой познание совершается в процессе символизации. Возникшая идея восходит к воле, в которой кроется глубокое начало бытия. Познание происходит при разделении предмета познания на субъект и объект, на представление и волю. То и другое сочетается в некоем «безусловном». Безусловное вступает в видимость постепенно, идея за идеей. Идеи подразделяются на родовые и видовые. Видовые – более древние, возникшие в эпоху создания мифов и действительные для всех народов и эпох. Родовые возникли позднее и

носят культурный отпечаток. Общаясь на основе родовых идей, люди разных эпох и национальностей часто не понимают друг друга. Используя же видовые идеи в качестве шифра, можно передавать сокровенный смысл и делать его доступным всем и каждому, при условии, конечно, что будут найдены подходящие средства. Таким средством Белый считает символизм как «метод соединения *Вечного* с его пространственно-временными проявлениями» [Белый 2002: 107].

То же и у Вяч. Иванова: «Символ неисчерпаем и беспределен в своём значении, когда он изрекает на своём магическом языке намёка и внушения нечто невыразимое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда тёмнее в последней глубине. Мы беспомощны перед его целостным тайным смыслом, он кроется в стародавних верованиях и обоготворениях, забытых мифах и культах» [Иванов 2002: 17]. Иванов разделял символизм на два направления. Первое, к которому он относил своё творчество, он называл реалистическим, а второе – идеалистическим. Для идеалистического символизма символ становится средством художественной изобразительности, а для реалистического всякая вещь превращается в символ, т.к. она – «реальность сокровенная», более или менее близкая реальности *абсолютной*. Реалистический символизм раскрывает в символе миф, объективную правду о сущем. Идеалистический символизм восходит к античным эстетическим канонам, а реалистический – к романтизму и мистическому реализму средних веков. Принципами идеалистического символизма являются психологизм и субъективизм, а реалистического – объективизм и мистицизм [Иванов 2002: 154-155]. В этих характеристиках символа как возможного подвида новой метафоры мы видим явные параллели с так называемой «абсолютной метафорой» (термин, вводимый исследователем западноевропейского авангарда Г.Фридрихом [Friedrich 1956: 74]). Это помогает нам сделать вывод о том, что сравнение западноевропейского и русского авангарда обосновано, общие черты легко прослеживаются.

Говоря о новых видах метафоры, нельзя не отметить разнообразие вариантов формулировки термина – то, как исследователи и сами авторы называют этот новый поэтический приём. Исследуя метафоры в поэтическом языке В.Маяковского, Ф.Н.Пицкель вводит термин «реализованная метафора», который вполне сопоставим с термином «абсолютная метафора»: «Нагнетание метафор, боль-

шей частью реализованных, становится для поэта основным творческим приёмом» [Пицкель 1979: 33]. Реализованная метафора называется так потому, что «она опредмечивает явления абстрактного и духовного порядка, делает их видимыми и слышимыми» [Там же: 34]. Пользуясь реализованными метафорами, поэт рассказывает не об абстрактной грусти или любви, он конкретизирует, «реализует» чувства героя, делает их выпуклыми и ощутимыми, воздействует на подсознание, вызывает у читателя поток определённых ассоциаций и, в идеале, заставляет его почувствовать то же, что должен чувствовать лирический персонаж.

Исследователь английской поэзии В.Хорольский, анализируя творчество англо-ирландского поэта У.Б.Йейтса, вводит понятие «универсальной метафоры», которая оказывается ближе всего к символу, многомерному, многоплановому образу, который автор монографии сравнивает с понятием «иероглифа» в терминологии А.Блока, «передающим таинственное значение намёка о мировом всеединстве, о слитности “я”, “мира” и “космоса”», «образ невозможной, невероятной красоты не может быть создан иначе как с помощью символов» [Хорольский 1995: 87-88]

Мы рассмотрели различные теории новой метафорики, представленные в статьях и манифестах, но практическое стремление к новому, ассоциативному языку мы наблюдаем в развитии литературы на протяжении всего XX века. Это, например, техника «потока сознания», и прочие языковые эксперименты, которые ещё далеко не завершены.

Литература

- Белый А.* Магия слов // Критика русского символизма в 2-х т. – М., 2002. Т.2
Белый А. Символизм как миропонимание // Критика русского символизма в 2 т. – М., 2002. – Т.2.
Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. – М., 1994.
Васильев И.Е. Русский поэтический авангард XX века. – Екатеринбург, 2000.
Веселовский А.И. Психологический параллелизм и его формы в отображении поэтического стиля // Веселовский А.И. Историческая поэтика. – М., 1989.
Иванов В.В. Две стихии в современном символизме // Критика русского символизма в 2-х т. – М., 2002. – Т.2.
Иванов В.В. Поэт и чернь // Критика русского символизма в 2-х т. – М., 2002. Т.2.
Иванович Х. Языковые утопии В.Хлебникова // Пауль Целан: материалы, исследования, воспоминания. – М., 2004. – Т. 1.
Кручёных А. Новые пути слова // Русский футуризм: теория, практика, критика, воспоминания. – М., 1999.

Кустова Г.И. Языковые проекты Вяч.Иванова и Вел.Хлебникова // Вячеслав Иванов – творчество и судьба. – М., 2002.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём // Теория метафоры. – М., 1990.

Маккормэк Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. – М., 1990.

Перчатка кубофутуристам. Российский манифест // Русский футуризм: теория, практика, критика, воспоминания. – М., 1999.

Пицкель Ф.Н. Маяковский: художественное постижение мира. Эпос. Лирика. Творческое своеобразие. Эволюция метода и стиля. – М., 1979.

Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. – Воронеж, 1991.

Тимофеева В.В. Язык поэта и время. – М., 1962.

Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997.

Хорольский В. Символизм в английской поэзии рубежа XIX-XX веков: образы, жанры, поэтика // Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX-XX вв. – Пермь, 1995.

Friedrich H. Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. – Hamburg, 1956.

Werfel F. Substantiv und Verbum // Theorie des Expressionismus. – Stuttgart, 1994

© Жидко Н.А., 2005

И.Г.Мальцева

Екатеринбург

Проблема ментальной адекватности при переводе цветовых концептов Г.Тракля

Георг Тракль (1887 – 1914), австрийский поэт, творчество которого стало своего рода парадигмой искусства всего XX столетия. Вся творческая биография Г.Тракля составляет десять лет. За эти годы поэт прошел путь от качественных подражаний классическим образцам немецкой поэзии до гениального новаторства.

Он создал свой мир, свой собственный миф и воплотил его в иррациональной ясности зашифрованных образов. Элементы его стихотворений движутся и взаимодействуют по законам, ясным интуитивно, но не поддающимся точной формулировке (Вальтер Метлагль называет, например, «законы музыкального построения») [Метлагль 2000: 7].

Тракль наполняет свой лирический мир запахами, шелотами и шорохами, насыщает его цветом. Ощущение цвета в творчестве Г.Тракля чрезвычайно уплотняется и метафоризируется. Цветовой символизм очень ярко проявляется в лирике Г.Тракля, что позволяет говорить и о «законах цветовых соответствий» [Wolfheim 1985: 37].

Цвет, а в частности, цветовая метафора, является в творчестве Г. Тракля одним из основных способов познания и объяснения ми-

ра. Одной из существенных особенностей его цветовой метафоры является ее концептообразующая функция.

В современной лингвистике XX в. большое внимание уделяется концептуализации мира языком, его лексикой и грамматикой, т.е. исследованию того, как язык членит мир и как его представляет, что связано с проблемой связи языка и мышления.

Концептуализация как понятийная классификация – один из важнейших процессов познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу/психике человека [Кубрякова 1996: 93].

Г. Тракль через призму немецкого языка концептуализирует мир совершенно особым образом. Структурные особенности немецкого языка позволяют ему моделировать странную, единичную языковую картину мира, которая ярче всего обнажает свою уникальность через призму другого языка.

Мир человеческих эмоций и чувств, преломляясь в языковом сознании человека, отображается в его картине мира – концептуальной и языковой. Языковая и концептуальная картины мира представляют собой два уровня абстракции единого образа мира: уровень категоризации действительности и уровень воплощения этой схемы в языке.

В метафорах Г.Тракля кроется ключ к пониманию основ мышления, процессов создания универсального образа мира, а также его национально-специфического видения. Отметим, что картина видения Г.Тракля значительно выделяется даже на фоне национальной немецкоязычной картины мира [Мальцева, Пестова 2005: 189].

Все цветовые концепты Г.Тракля в его лирических произведениях сопряжены с различными фрагментами картины мира. В их наполнении, помимо самого цвета, принимают участие конкретные предметы, абстрактные явления и умозрительные «фантомные» сущности.

В связи с этим при переводе на русский язык цветовой метафоры важен учет объема и характеристик всего цветового концепта, т.е. его *ментальная адекватность*.

Таким образом, перевод должен отражать не только объективную картину мира поэта, но и его *субъективную картину видения*, т.е. информацию о специфичности восприятия действительности

субъектом-наблюдателем, о нем самом и о его системе понимания действительности [Мальцева 2005: 145].

В различных культурах и в разные времена белый цвет воспринимался практически одинаково. В иудаизме он – чистота и вообще все высокое, в Китае – истина и справедливость. Связь белого цвета с солнечным светом, теплом и днем делают его символом праздника, радости, всего положительного. Поэтому *белый* символизирует удачу, дружбу, победу добра над злом и приход весны. Еще он ассоциируется с производящей жизненной силой, воплощенной в молоке, яйце и семени.

Белизна выпавшего снега – символ чистоты. Оттого *белый* накрепко связан с идеалами, с такими нравственными понятиями, как истина и мудрость, добродетель и благородство, справедливость и законность, честность и прямота, невинность и целомудрие.

Белые облака и седые горные вершины, звезды и Луна соединили *белый* с высшими сферами, сделали его символом недоступного совершенства. Посему остров блаженных в греческой мифологии называется *Левка – Белый*, а гора *Меру* – центр мира у буддистов – тоже окрашена в белый цвет.

Еще важнее был мистический опыт людей – необходимым свидетельством духовного роста служило особое видение мира, основанное на восприятии световых вибраций, связанных с божественным светом и внутренним просветлением. Светящийся нимб над головой святых – тому подтверждение. К тому же белый цвет был атрибутом бестелесных ангелов, святых и праведников, привидений и духов. С античности этот цвет значил отрешенность от мирской жизни, безбрачие, духовность, совершенство, святость, очищение, спасение. Благодаря своей приближенности к высочайшим сферам *белый* стал и символом власти, освященной на небесах.

Снег, холод, зима, умирание природы... Так белый цвет сделался символом смерти, траура и печали. Связь белого цвета со смертью можно наблюдать у древних греков и римлян, славян, китайцев и индийцев. Здесь можно упомянуть и такой символ смерти, как конь бледный Апокалипсиса.

Таким образом, белый цвет в мировой культурной традиции оказывается в связи с такими понятиями, как жизнь и смерть, невинность и чистота, недостижимость, мудрость, совершенство, божественность, радость и добро, добродетель и благородство. Для заполнения своего концепта *белый* (*weiß*) Г.Траклъ использует

лишь немногие из этих понятий, создав собственную систему эстетических и символических смыслов, реализующихся в данном концепте.

Концепт *белый* (*weiß*) у поэта связан с образом человека-странника, нерожденного, призрачного лунатического существа. Это цвет судьбы, рока, неизбежности. Белый цвет – это вечная жизнь, жизнь после смерти, заранее оплаченная страданием. Этот цветовой концепт также является сферой нерожденных, лунатических, призрачных существ, несущих на себе печать Смерти, Неизбежности и Рока.

Часто переводчик «точно», или эквивалентно, передает значение цвета, но нарушает внутреннюю гармонию концепта, увеличивая или сокращая объем символических и/или эстетических смыслов, заполняющих данный концепт. Проиллюстрируем данное положение двумя поэтическими примерами, в которых переводчик расширяет символическое поле оригинального концепта, нарушая его целостность и деформируя, таким образом, замысел автора. Сравним трехстишие из стихотворения «Семигласие смерти» («*Siebengesang des Todes*») [Тракль 2000а: 246] и два варианта его перевода:

Strahlender hob die Hände zu seinem Stern Der <i>weiße</i> Fremdling; Schweigend verlässt ein Totes das verfallene Haus.	Руки, лучась, протянул к звезде <i>Белый, как лунь, Стран- ный Странник;</i> Молча покинул мерт- вец разрушенный дом. (А. Прокопьев) [Тракль 1994: 47]	Лучась, простирает руки к своей звезде <i>Белый пришелец.</i> Молча уходит мерт- вец из погибшего дома. (И. Болычев) [Тракль 2000а: 247]
---	--	---

Четверостишие из стихотворения «Музыка в Мирабелле» («*Musik im Mirabell*») [Тракль 2000а: 28]

<i>Ein weißer Fremdling</i> tritt ins Haus. Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge. Die Magd löscht eine Lampe aus, Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.	<i>Белейший Странник</i> вхо- дит в дом. Собака бросилась с ле- жанки. Ночной сонаты метроном. Лицо задувшей свет слу- жанки. (А.Прокопьев) [Тракль 1994: 9]	<i>Пришелец белый</i> входит в дом. В прихожей лает пес лохматый. Девушка гасит свет потом. И слышен скрип ночной сонаты. (В.Летучий) [Тракль 2000б: 66]
---	--	---

На наш взгляд, при поиске личного кода для перевода поэзии такой степени герметичности, какую мы наблюдаем у Г.Тракля, необходимо сохранение живой связи перевода с оригиналом, так как последствием их разрыва становится утрата ментальной адекватности при переводе цветовых концептов.

Литература

- Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
Мальцева И.Г. О ментальной адекватности цветовых концептов Г.Тракля в их переводе // Языковые и культурные контакты различных народов. – Пенза, 2005.
Мальцева И.Г., Пестова Н.В. Об эквивалентности и ментальной адекватности переводов цветовых концептов Г.Тракля // Известия УрГПУ. Лингвистика. – Екатеринбург, 2005. – Выпуск 16.
Метлазль В. Жизнь и поэзия Георга Тракля // Тракль Г. Стихотворения. Проза. Письма. / Пер. с нем. А.Белобратов. – СПб., 2000.
Тракль Г. Избранные стихотворения / Пер. с нем. А.Прокопьев. – М., 1994.
Тракль Г. Полное собрание стихотворений / Пер. с нем. В.Летучий. – М., 2000.
Trakl Georg. Dichtungen und Briefe. – Salzburg, 1970.
Wolfheim E. "Die Silberstimme des Totengleichen". Das Farbwort «silbern» im lyrischen Werk Georg Trakls // Georg Trakl. Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur 4 / 4a, Mai. 1985.

© Мальцева И.Г., 2005

Е.В.Шустрова
Екатеринбург

Тропеическое моделирование концептосферы «Бог» в романах Дж.Болдуина

В данной статье сделана попытка проследить способы конкретной языковой реализации и выявить функциональную роль каждого из тропов качества при развертывании образа Бога в романах Дж. Болдуина – афро-американского писателя, чье творчество традиционно относится к течениям реализма, натурализма и модернизма американской литературы 1940-1960 гг.

За свою долгую карьеру журналиста и писателя Дж. Болдуином создано немало произведений различного жанра. Это и пьесы, и повести, и детские рассказы, и интервью.... Но, несмотря на все разнообразие, основу его творчества вне всякого сомнения составляют романы и эссе, написанные в 50-е и ранние 60-е годы XX века. Что касается очерков, то их полное собрание опубликовано в трех сборниках: «Notes of a Native Son» [1955], «Nobody Knows My Name» [1961], «The Fire Next Time» [1963]. При всем интересе этих литературных зарисовок, на наш взгляд, наиболее полно образные связи реализованы в произведениях крупной формы. Это шесть романов: «Go Tell It on the Mountain» [1953], «Gio-

vanni's Room» [1956], «Another Country» [1962], «Tell Me How Long This Train's Been Gone» [1968], «If Beale Street Could Talk» [1974], «Just above My Head» [1979]. Повторяя мысль Г. Гейтса, можно сказать, что творчество Дж.Болдуина – это слияние риторики проповеди, повествующей о грехе, проклятии и раскаянии, с лирикой блюза, спиричуэлз и традиционных афро-американских духовных песнопений [Цит по: The Norton Anthology of African American Literature 1997: 1651]. Все вместе это создает прозу, которая требует от читателя и пристального взглядывания в текст, и внимательного вслушивания в музыку текста, потому что своеобразие ритма, ударения, темпа часто утрачивается на письме. Но остаются образы – текстовое воплощение концептосферы романов Дж.Болдуина.

Анализ материалов выборки позволяет разделить всю систему концептов, воплощенных в прозе Дж.Болдуина, на три группы: *Бог, природа, человек*. В первую группу, связанную с фигурой Бога, входят три модели, по которым строится стилистическая связь: уподобление *голасу, звуку, песне или слову*, объясняется это пониманием дара речи как божественного чуда; ассоциация с *дорогой или путником*, символизирующая путь человека к Богу; упоминание самого *имени Бога или божественного окружения*.

Рассмотрим, как именно реализуется сфера-источник «Бог», представленная тремя составляющими «голос», «дорога», «божественное окружение», в идиостиле Дж.Болдуина:

- *голос / звук / песня / слово*

В данной группе концептов четко выражены два понятия. Это звуки музыки и звуки речи. Тропы качества метафорической группы разводят эти концепты, противопоставляют их друг другу. Так, сравнение и метафора используются Дж. Болдуином для создания образных связей «музыка – проклятие, приговор, угроза» и «голос, слово – предупреждение, выход из тупика, обретение Бога».

При использовании музыкальных звуков для автора неважно, описывает ли он светскую или духовную музыку. В любом случае в метафорической группе этот образ реализуется в ситуации крайнего внешнего и внутреннего напряжения, ожидания подвоха, гибели, глубокого раскаяния, осознания своих неудач, поиска выхода. Музыка сеет отчаяние, панику, угрозу.

The music was loud and empty, no one was doing anything at all, and it was being hurled at the crowd like a malediction in which not even those who hated most deeply any longer believed [Baldwin 1993: 5].

<...> *then another cry, another dancer; then the tambourines began again, and the voices rose again, and the music swept on again, like fire, or flood, or judgment* [Baldwin 1985:15].

This note of despair, of buried despair, was insistently, constantly struck. It stalked all the New York Avenues, roamed all the New York streets [Baldwin 1993: 230].

They keep you here because you're black, <...> while they go around jerking themselves off with all that jazz about the land of the free and the home of the brave. And they want you to jerk yourself off with the same music, too, only, keep your distance. Some days, honey, I wish I could turn myself into one big fist and grind this miserable country to powder [Baldwin 1993: 351].

Голос и слово, напротив, становятся символом прощения, любви, примирения, обретения Бога. Особая роль здесь отводится понятию перевода (*to translate, translation*), пониманию тайных скрытых смыслов – четкая печать афро-американской литературной традиции и легенд о Езу и Signifyin' Monkey – толкователях Высшего Слова. Этому способствует и применение эпитета *the living word*. *I don't remind him of his mother at all, and he knows that, but he also knows that I know how much he loved her: how much he wanted to love her, to have that translation read* [Baldwin 1988: 20].

He was waiting-suddenly, helplessly – for what was already known to be translated, to enter reality, to be born [Baldwin 1988: 49].

It means that you have a body, too. You will live with this forever, and it will spell out the language of your life [Baldwin 1988: 57]. [Cp. Baldwin 1985: 57, 129; 1988: 63; 1991: 173, 174; 1993: 212].

С другой стороны, молчание, тишина благодаря приему метафорического олицетворения становятся жестокими, надоедливými, безжалостными существами.

The silence began to crawl with an acrid, banked hostility emanating from the girl who sat alone, in the round chair, in the center of the room [Baldwin 1993: 100].

Silence rang its mighty goings in the room behind her [Baldwin 1993: 373].

She paused, and the silence grumbled with the sound of the frying pan and the steady sound of the rain [Baldwin 1993: 415].

Параллельно с этим задействуются понятия вопроса и проклятия, которые принимают образ нападающего либо мечущегося существа,

либо же пожирающего зверя. Музыка же становится жалким плакальщиком [Ср. Baldwin 1985: 109, 114 – 115; 1993: 16, 28, 61, 73].

Прием метонимии сближает концепты *звук музыки* и *звук человеческого голоса*. Музыка и пение в ряде контекстов еще несут отрицательную коннотацию и связываются с опасностью, обвинением, предчувствием трагичной судьбы, но, с другой стороны, – это уже и символ веры, истинного пути, любви [Ср. Baldwin 1985: 45, 58, 116; 1993: 313 и др.]. Понятие песни и пения в метонимической группе становится частью радости бытия, единения с диаспорой, семьей, обретением общих воспоминаний [Baldwin 1985: 66, 71, 97]. Те же связи демонстрируют понятия слова и голоса [Baldwin 1985: 60, 204; 1991: 171, 173 – 175 и др.]. Молчание же прочно связывается с отчаянием и отказом от веры, близких, возможности спасения.

He turned the corner and Gabriel listened as his footfalls moved away. They were swallowed up in silence; he heard no voices raised to cut down Royal as he went his way; soon there was silence everywhere [Baldwin 1985: 143].

Were the lash, the dungeon, and the night for him? And the sea for him? And the grave for him?

Fear was upon him, a more deadly fear than he had ever known, as he turned and turned in the darkness, as he moaned, and stumbled, and crawled through darkness, finding no hand, no voice, finding no door [Baldwin 1985: 205].

В примерах аллегории музыка и речь уже становятся единым целым. Большинство аллегоричных контекстов связывают звук с ощущением радости от долгожданного единения с Творцом, новой жизнью, благословением. Познание и прозрение – есть открытие книги на небесах.

“I didn’t know either,” Eric said. He smiled. “What a funny day this is. It begins with revelations.” “They’re opening up,” said Vivaldo, “all those books in heaven” [Baldwin 1993: 388].

Однако есть и примеры достаточно мрачных описаний лишений, боли, испытаний, призванных проверить твердость духа Путника, сопровождаемых различными звуками, голосами [Ср. Baldwin 1985: 194, 218 и др.]. Это приводит нас к следующему концепту *дорога*, поскольку с изменением звуков становятся иными знаки пути жизни и веры.

- **дорога / путник**

Образ дороги и путника предстают в произведениях Дж.Болдуина в весьма мрачном свете. Метафорическая группа дает многочисленные примеры аналогий с одиноким, опустошенным,

изможденным скитальцем, слабым, усталым прохожим на темной дороге, окруженным опасностями, незримыми недругами. В качестве денотата в данном случае обычно выступают ребенок, женщина и Иисус.

*He remembered only enough to be afraid every time her belly began to swell, knowing that each time the swelling began it would end until she was taken from him, to come back with a **stranger*** [Baldwin 1985: 11 – 12].

John had observed his mother closely, seeing no swelling yet, but his father had prayed one morning for the “little voyager soon to be among them,” and so John knew that Roy spoke the truth [Baldwin 1985: 12].

*At this there sprang into his mother’s face something startling, beautiful, unspeakably sad – as though she were looking far beyond him at a long, dark road, and seeing on that road a traveler in perpetual danger. Was it he, **the traveler**? Or herself? Or was she thinking of the cross of Jesus? She turned back to the washtub, still with this strange sadness on her face* [Baldwin 1985: 32]. [Ср. Baldwin 1985: 58, 145, 188, 287; 1993: 119, 138 и др.].

Человек (в этом случае, как правило, мужчина) может ассоциироваться с пассажиром поезда. При этом проводится ряд параллелей между разными классами вагонов, разным направлением движения для черного и белого американца.

*Everybody’s on **the A train** – you take it uptown, I take it downtown – it’s crazy* [Baldwin 1993: 70].

*There was only one thing for me to do, as Rufus used to say, and that was to **hit the A train*** [Baldwin 1993: 418].

Метафорическому олицетворению подвергается и само понятие поезда, который в данном случае предстает либо как мужчина во время полового акта, либо как огромное насекомое [Ср. Baldwin 1993: 86, 228]. Здесь нет никакого противоречия, и если вспомнить о традиционных верованиях Африки, согласно которым прародителем многих племен считается то или иное насекомое, то эти модели будут вполне логичны и взаимосвязаны.

Дополнительно была зафиксирована модель «эмоции, чувства – путник (робкий, настороженный)».

*<...> when love was on **the road** but not yet at the gates* [Baldwin 1985: 291].

Само понятие дороги дает примеры достаточно традиционной связи «дорога – жизнь». Жизнь в трактовке Дж.Болдуина – это все-

гда тяжелый путь, полный невзгод, лишений, страданий, который нужно пройти во чтобы-то ни стало. Только так можно познать Слово, слиться с Творцом. Наиболее часто используется ряд *stranger, voyager, (crazed) wanderer, road, journey, to travel, to walk (upright)*.

That long road, her life, that she had followed for sixty groaning years, had led her at last to her mother's starting place, the altar of the lord. For her feet stood on the edge of that river which her mother, rejoicing, had crossed over. And would the Lord now reach out His hand to Florence and heal and save? But, going down before the scarlet cloth at the foot of the golden cross, it came to her that she had forgotten how to pray [Baldwin 1985: 66].

This, as Elizabeth later considered it, was the first in the sordid series of mistakes which was to cause her to fall so low. But to look back from the stony plain along the road which led one to that place is not at all the same thing as walking on the road; the perspective, to say the very least, changes only with the journey; only when the road has, all abruptly and treacherously, and with an absoluteness that permits no argument, turned or dropped or risen is one able to see all that one could not have seen from any other place [Baldwin 1985: 161].

Now I been introduced | To the Father and the Son, | And I ain't | No stranger now [Baldwin 1985: 81]. [Cp. Baldwin 1985: 26, 32, 40, 73, 254; 1993: 119, 138, 141 и др.].

Метонимические связи продолжают то же направление. Путь в таких контекстах – это всегда часть трагедии, невзгод, смерти [Cp. Baldwin 1985: 83, 136; 1991: 157, 173 – 175; 1993: 52, 254, 346 и др.].

Примеры аллегории позволяют выделить четыре группы денотатов. Во-первых, это приход человека к Богу. В данном случае, концепт *дорога* связан с концептом *вода* как источник веры, символа Бога-отца и уже рассмотренным концептом *звук, слово*, вернее его отсутствия как символа отречения от божественной сути. Между двумя этими концептами мечется Душа. Вне всякого сомнения, Дж.Болдуин, воспитывавшийся в доме проповедника общины евангелистов, не мог не использовать традиционные символы христианства, но в описанных выше образах определенно угадываются черты языческих верований Черного континента [Baldwin 1985: 204 – 205].

Следующий денотат – это уже однозначно христианские понятия. Здесь реализуется связь между обретением веры и твердой

землей, возвращением домой; трудностями прихода к Богу и каменной дорогой, узкой тропой, спотыкающимися ногами; истинными Учениками и афро-американской религиозной общиной (*the steep side of the mountain to climb, come on home, stumble, It's a hard way. It's uphill all the way, get weary, the road they had traveled, leading a great flock to the Kingdom, had buckled on her traveling shoes, set his feet on the shining way, shepherd tarries before the Lord for his flock, brought me out of Egypt and set my feet on the solid rock, fallen by the wayside, the long race, the road was rocky, Lord, I'm traveling, Lord, I got on my traveling shoes, keep you foot from stumbling, a narrow way, moved on the bloody road* и др.).

Третий денотат – это улицы большого города, в частности, Бродвей, несущие грех, опустошение, смерть. Во-многом, это было продиктовано реалиями жизни афро-американцев и вполне реальной угрозой физического истребления без суда и следствия.

It was the roar of the damned that filled Broadway, where motor cars and buses and the hurrying people disputed every inch with death. Broadway: the way that lead to death was broad, and many could be found thereon; but narrow was the way that led to life eternal, and few there were who found it. But he did not long for the narrow way, where all his people walked; where the houses did not rise, piercing, as it seemed, the unchanging clouds, but huddled, flat, ignoble, close to the filthy ground, where the streets and the hallways and the rooms were dark, and where unconquerable odor was of dust, and sweat, and urine, and homemade gin. In the narrow way, the way of the cross, there awaited him only humiliation forever; there awaited him, one day, a house like his father's, and a church like his father's, and a job like his father's, where he would grow old and black with hunger and toil [Baldwin 1985: 33 – 34].

С этим связан и четвертый денотат фургона, повозки – символа смерти.

You can't keep your eyes on all this foolishness here below, all this wickedness here below – you got to lift up your eyes to the hills and run from the destruction falling on the earth, you got to put your hand in Jesus' hand and go where He says go.” “And if you been but a stumbling stone here below?” she said. “If you done caused souls right and left to stumble and fall, and lose their happiness, and lose their souls? What then, prophet? What then, the Lord's anointed? Ain't no reckon-

ing going to be called of you? What you going to say when *the wagon comes*?" [Baldwin 1985: 213].

- *властитель / бог*

В данном случае преобладает модель «человек – Бог». Понятие «человек» реализовано в трех основных архетипах: отец, ребенок, музыкант. Образ отца всегда несет отрицательную коннотацию и связан с Богом карающим, неспособным на прощение, милость.

And his father approached. "I'm going to beat sin out of him. I'm going to beat it out." All the darkness rocked and wailed as his father 's feet came closer; feet whose tread resounded like God's tread in the garden of Eden, searching the covered Adam and Eve [Baldwin 1985: 197].

Здесь, несомненно, наложились детские воспоминания автора. К подобным контекстам тесно примыкают и модели метафорической связи между распутным проповедником и Князем Тьмы.

She, who had been the living proof and witness of their daily shame, and who had become their holy fool – and he, who had been the untamable despoiler of their daughters, and thief of their women, their walking prince of darkness! [Baldwin 1985: 109].

Образ ребенка, сына, на наш взгляд, больше напоминает образ Иисуса. Подобно сыну Божьему, страдавшему на земле, ребенок, подросток – сын человеческий – преодолевает себя, побеждает свои слабости, обретает свою молитву, песню, Бога-отца.

And he walked, and he was again on the edge of a high place, but bathed and blessed and glorified in the blazing sun, so that he stood like God, all golden, and looked down, down, at the long race he had run, at the steep side of the mountain, in white robes, singing, the elect came [Baldwin 1985: 110 – 112].

С песней, звуком, молодым человеком связана и третья модель «музыкант – Бог».

Well, I really don't know how they stood it. Isabel finally confessed that it wasn't like living with a person at all, it was like living with sound. And the sound didn't make any sense to her, didn't make any sense to any of them – naturally. They began, in a way, to be afflicted by this presence that was living in their home. It was as though Sonny were some sort of god, or monster. He moved in an atmosphere which wasn't like theirs at all. They fed him and he ate, he washed himself, he walked in and out of their door; he certainly wasn't nasty or unpleasant or rude. Sonny isn't any of those things; but it was as though he were all

wrapped up in some cloud, some fire, some vision all his own; and there wasn't any way to reach him [Baldwin 1991: 162].

В метафорической группе отметим также существование традиционной связи блаженства, счастья с раем, мира с королевством, друга, возлюбленного с принцем-избавителем, а женщины – с образом заколдованной принцессы.

What in the world did these songs mean to her? For he knew that she often sang them in order to flaunt before him privacies which he could never hope to penetrate and to convey accusations which he could never hope to decipher, much less deny. And yet, if he could enter this secret place, he would, by that act, be released forever from the power of her accusations. His presence in this strangest and grimmest of sanctuaries would prove his right to be there; in the same way that the prince, having outwitted all the dangers and slaughtered the lion, is ushered into the presence of his bride, the princess [Baldwin 1993: 313].

В группе олицетворения ведущим является образ Любви, которая предстает как снисходительный, милостивый правитель.

But love, which had perhaps like a benevolent monarch, swelled the population of his neighboring kingdom, Death, had not himself descended: they owed him no allegiance here [Baldwin 1985: 204].

В метонимических контекстах имя божье прямо не называется. Этот образ проявляется в слове, речи, музыке, пути. На наш взгляд, здесь мы имеем очередной пример слияния европейской и африканской религиозной традиции. Согласно последней, Слово – это Тайна, имя высшего божества, незримого Nommo нельзя произносить вслух. В то же время сам образ Бога соответствует традиционным христианским представлениям и понятию первичности Слова.

Аллегория представлена четырьмя денотатами, которые вполне традиционны:

1. Родители – Высшая сила, Бог (для ребенка);
2. Верующие, община – солдаты, армия Бога и вера – венец, Царствие Божье;
3. Облегчение страданий, принятие решения – приход Господа;
4. Награда или испытание – крест.

[Ср. Baldwin 1985: 14, 17, 54, 59, 1141-15, 152; 1993: 41, 230, 311 и др.].

Следует отметить, что в канву повествования всех романов Дж. Болдуина в качестве основного символа Бога вплетаются образы слова, воды и женщины, которые могут существовать и изолированно и взаимосвязано (сплетение обычно реализуется ближе к

концу романа) подобно Троице, где каждый образ наполнен своим смыслом и в то же время является частью (синекдохой) единого целого. В целом, образ Бога и связанных с ним понятий у Дж.Болдуина очень напоминает развитие и изменение представлений о Боге в Ветхом и Новом Заветах, где изначально человеку уготована мрачная, беспросветная судьба грешника и появление надежды на иной конец вместе с появлением Иисуса.

Литература

- Бидерман Г.* Энциклопедия символов. – М., 1996.
Метафора в языке и тексте. – М., 1988.
Очерки истории языка русской поэзии 20 века. Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке. – М., 1994.
Стилистика художественной литературы. – М., 1982.
Словарь литературоведческих терминов. – М., 1974.
Теория метафоры. – М., 1990.
Baldwin J. Another Country. – Vintage International, NY, 1993 [1962].
Baldwin J. If Beale Street Could Talk. – A Laurel Book, NY, 1988 [1974].
Baldwin J. Go Tell It On The Mountain. – A Laurel Book, NY, 1985 [1953].
Baldwin J. Notes on a Native Son. – NY : Random House, 1955.
Baldwin J. Nothing Personal. – NY : Random House, 1964.
Baldwin J. The Amen Corner. – NY : Random House, 1968.
Baldwin J. Blues for Mister Charlie. – NY : Random House, 1964.
Baldwin J. The Devil Finds Work. – NY : Random House, 1976.
Baldwin J. The Fire Next Time. – NY : Random House, 1963.
Baldwin J. Giovanni's Room. – NY : Random House, 1956.
Baldwin J. Going to Meet the Man. – NY : Random House, 1965.
Baldwin J. Just Above My Head. – NY : Random House, 1979.
Baldwin J. Nobody Knows My Name. – NY : Random House, 1961.
Baldwin J. No Name in the Street. – NY : Random House, 1972.
Baldwin J. Tell Me How Long the Train's Been Gone. – NY : Random House, 1968.
Baldwin J. Little Man, Little Man. – NY : Random House, 1976.
Baldwin J. The Evidence of Things Not Seen. – NY : Random House, 1985.
Baldwin J. Jimmy's Blues. – NY : Random House, 1985.
Baldwin J. The Price of the Ticket. – NY : Random House, 1985.
Gates H.L., Jr. The Signifying Monkey. A Theory of African-American Literary Criticism. – Oxford University Press, 1988.
The Heath Anthology of American Literature / Ed. by Lauter P., etc. – U.S.A : D. C. Heath & Company, 1990. v.2.
The Norton Anthology of African American Literature / Ed. by Gates Jr. H. L., McKay N. N. Y. – London : WW Norton & Company, 1997.

© Шустрова Е.Б., 2005

ПЕРЕВОДЫ

К.Трайзенберг

«Усилители» юмористического эффекта в художественной литературе

В 1985 г. В.Раскиным была создана семантическая теория юмора, которую он в 1991 г. переработал в общую теорию словесного юмора совместно с С.Аттардо. Семантическая теория юмора преследовала своей целью описать те условия, при которых краткий текст может рассматриваться как юмористический, т.е. являться шуткой. Появление юмористического эффекта описывалось через семантическую оппозицию скриптов, составляющих основу текста. Общая теория юмора дополнила эту идею указанием на наличие в текстовом и затекстовом пространстве ряда информационных ресурсов (Knowledge Resources). С.Аттардо выделяет шесть таких ресурсов: сценарные оппозиции, логические механизмы, контекст ситуации, коммуникативные цели говорящих, нарративные стратегии и собственно языковую составляющую. Вследствие этого теория смогла найти свое применение к текстам большего объема, чем словесная шутка, – целым литературным произведениям. Юмористический текст, по мнению С.Аттардо, может включать либо одну ведущую линию комизма (punch line), в результате чего весь текст воспринимается как юмористический, либо серию скриптовых оппозиций, которую можно назвать «пунктирной линией комизма» (jab line). С.Аттардо анализирует модели разворачивания этих «пунктирных линий», что позволяет ему описывать темы, повторяющиеся в тексте и создающие комический эффект как «узлы» и «пучки» юмористических значений.

Таким образом, скриптовые оппозиции стали универсальным и общепринятым способом объяснения юмористического эффекта. Данная концепция основывается на изначальном предположении о том, что некая воображаемая (идеальная) аудитория неизбежно станет расценивать предложенный ей текст как смешной.

Не отрицая значимости общей теории словесного юмора, отметим, что, по нашему мнению, она не способна полностью объяснить

* Triezenberg K. Humor enhancers in the study of humorous literature//Humor 17-4, 2004. – p. 411-418.

юмористический эффект, создаваемый в литературном произведении .

Точно так же, как соль, добавленная в пищу, усиливает ее вкус, писатель насыщает свой текст множеством приемов для усиления комического эффекта. Точно так же, как вкус соли не должен смешиваться со вкусом еды, не стоит смешивать юмористические «усилители» с самим по себе текстом, потому что они имеют мало общего со скриптовыми оппозициями и другими информационными ресурсами, описанными С.Аттардо.

Уточним, что сам факт восприятия чего-либо как повода для смеха не может являться доказательством юмористического характера текста или ситуации. Человек может читать рассказ и воспринимать его как очень смешной и улыбаться при этом, как Мона Лиза или вообще не показывать своей реакции. И наоборот, смех может быть вызван множеством самых разных обстоятельств и чувств, не имеющих ничего общего с юмором – смущением, неожиданной встречей с соотечественником за границей и даже безумием. Рассмотрением взаимосвязи между восприятием и манифестацией комического занимаются, в частности, социология и социальная психология. Интересно, что комические пьесы обычно плохо поддаются кинематографической обработке именно потому, что при этом теряется эффект непосредственного взаимодействия между актерами, актерами и публикой и самой публикой в зале. Зачастую то, что воспринимается как смешное в театре, за его пределами перестает быть таковым.

Юмористические усилители действуют примерно таким же образом: они призваны развлечь нас и расположить к тексту, показать писательское мастерство автора, сыграть на нашем эстетическом чувстве, дать нам понять, что мы включены в общее с автором информационное и интеллектуальное пространство, создать у нас хорошее настроение по

* Данное утверждение автора статьи звучит несколько прямолинейно. Дело в том, что теория юмора В.Раскина и С.Аттардо в своем первоначальном виде не была предназначена для исследования художественного текста. См., например, цикл статей исследователей, опубликованных в 1990-е годы: *С.Аттардо, В.Раскин*. Пересматривая теорию сценариев: модель «шуточного» подобию и «шуточной» репрезентации // Юмор 1991, т.4-3/4; *С.Аттардо*. Нарушение правил коммуникативного взаимодействия: «Дело» о шутках // Прагматика №19 (1993); *С.Аттардо, В.Раскин*. Внелитературные элементы и некорректность в языке: формализация и математизация в исследовании юмора // Прагматика и когнитивистика т.2(1) 1994; *С.Аттардо*. Локутивное и перлокутивное речевое взаимодействие: принцип перлокуции // Прагматика №27 (1997).

отношению к себе и, что особенно важно, свести на нет нашу боязнь воспринимать все слишком всерьез.

I. Словесное оформление высказывания

По мнению С.Аттардо, языковая составляющая не является решающим фактором в достижении комического эффекта. В определенном плане это так: скрипты и скриптовые оппозиции не зависят от их словарной репрезентации. Однако, по нашему мнению, выбор слов может сильно повлиять на юмористическую интенцию автора. Ср. цитату из романа Джозефа Геллера «Захват-22» («Catch-22»)* и ее перифразу:

Major Major's father was a long-limbed farmer (*Отец майора Мейджера был долговязым фермером*).

Major Major's father was a tall farmer (*Отец майора Мейджера был фермером высокого роста*).

Как считает С.Аттардо, аллитерация, используемая в первом случае, является типичным комическим приемом. Чутье подсказывает читателю, что первый пример более интересен, чем второй: он обладает большей дескриптивной силой и приносит большее эстетическое удовольствие. Первый пример кажется более смешным, хотя в нем и не содержится скриптовой оппозиции. Аллитерация лишь указывает на возможность ее существования. Слово *долговязый* (long-limbed) не имеет идиоматического значения, но оно звучит так, как будто имеет: оно актуализирует наши представления о сельской Америке, где и происходит действие романа. Поэтому, несмотря на отсутствие скриптовых оппозиций в данной фразе, она провоцирует в сознании читателя стремление к восприятию текста как юмористического.

II. Стереотипы

Широко распространенным способом создания юмористического эффекта в тексте является введение образа героя, наделенного типовыми характеристиками. Зачастую простое упоминание знакомых читателям комических персонажей может вызвать у них радостное предвкушение чего-то смешного. Это очень важно для театральной пьесы, в ходе которой происходит общение между исполнителями и аудиторией и внутри самой аудитории, и совершенно необходимо для словесного юмора, особенно в тех случаях, когда шутка имеет своей целью гендерные, религиозные, этнические или классовые характеристики людей. Независимо от наличия/отсутствия скриптовых оппозиций такие шутки

* Роман Catch-22 (1961 г.) является для американской культуры прецедентным текстом. Он символизирует ситуацию, когда человек оказывается во власти непреодолимых обстоятельств абсурдного или парадоксального характера.

достигают наибольшего эффекта в том случае, если в сознании аудитории присутствуют определенные стереотипы.

Например:

– *Сколько поляков понадобится, чтобы поменять перегоревшую лампочку?*

– *Пять. Один будет держать лампочку, а другие четверо станут крутить стол, на котором он будет стоять.*

В данной шутке вместо поляков может быть названа любая группа людей, интеллектуальный уровень которых говорящий оценит как недостаточно высокий, и это не сделает ее менее смешной. Такая замена объекта шутки указывает на то, что в ней, с одной стороны, отсутствуют скриптовые оппозиции. Шутка основывается на стереотипе о том, что глупость является одним из характерных качеств некоторой группы людей. В том случае, если аудитория обладает той же пресуппозицией, юмористический эффект достигается быстрее.

С другой стороны, в этом тексте содержится скриптовая оппозиция *нормальное/ненормальное*, и это также усиливает комический эффект. Такой стереотип формирует замкнутый круг юмористического «усиления»: шутка делает стереотип более смешным (актуализируя его), стереотип, в свою очередь, делает более смешной шутку (раскрывая ее интенциональный смысл) и т.д. Отметим, что такая шутка не может быть основана на стереотипах «нормального» (нормативного) характера. Человек, обладающий чувством такта и здравым смыслом, вряд ли станет использовать ее применительно к евреям, шотландцам или представителям высшего общества.

Стереотипы становятся основами для шуток, потому что они подчеркивают те небольшие различия между людьми, о которых все интуитивно осведомлены, и гиперболизируют их, создавая оппозицию *нормальное/ненормальное*.

Помимо скриптовых оппозиций, которые могут актуализировать стереотипы, они еще захватывают основную часть читательского внимания. Людям нравится читать о вещах, которые им понятны, потому что всегда легче оперировать тем, что известно. Стереотип – это удобный способ вызывать у читателя чувство осведомленности, так как большинство стереотипов опирается на совокупность коллективных представлений о типовых качествах героев литературных произведений. Стереотипы помогают аудитории расслабиться, что и является целью любого юмористического писателя. Для того чтобы смеяться, зна-

ние должно быть отодвинуто в сторону и чувства притуплены. Именно поэтому стереотипы идеально отвечают задачам юмористики.

III. Культурные факторы

При исследовании стереотипов неизбежно возникает вопрос о том, стереотипы какой культурной общности мы рассматриваем. Роман «Захват-22» является американским, и в нем описываются типичные американцы. Читатель, который не знаком с культурой Америки, вероятно, сможет понять хитросплетения сюжета, но ему не удастся уловить множество нюансов, которые отличают хорошую прозу от великой. Другие примеры: герои комедии дель Арте вне культурного контекста Европы эпохи Возрождения выступают в виде клоунов; никому не придет в голову искать заикающегося охотника где-либо, кроме как в мультфильмах компании «Уорнер Бразерс».

Эти характеристики имеют отношение не только к стереотипам, но и к юмору в целом. Если юмор определяется как со- и противопоставление двух скриптов, тогда аудитория должна, во-первых, распознать эти скрипты и, во-вторых, оценить их как несовместимые. Для человека, который владеет скриптовой информацией о том, что *фермер* (farmer) – это английский землевладелец XVIII-XIX вв., вряд ли будет смеяться над описанием отца майора Мейджера в романе «Захват-22», в отличие от коренного жителя Среднего Запада, знакомого с особенностями американской предприимчивости. И не только потому, что поведение отца майора Мейджера более напоминает поведение крестьянина-арендатора, чем английского землевладельца, но и потому, что джентельмен-землевладелец более образован, циничен и даже склонен к непристойностям, чем его американский двойник.

IV. Степень осведомленности

Читатель, входя в текст, начинает ему доверять и расслабляется. При этом он стремится выявить смысловые нюансы, которых автор мог и не предполагать. Таким образом, читатель ищет мета-юмор. Становясь более осведомленным в тексте, читатель приобретает «самоуверенность» и способен даже отвергать собственную литературную неосведомленность.

В том случае, когда читатель отождествляет свою позицию с позицией автора и свой взгляд на действительность с тем взглядом, который представлен в тексте, то читатель и автор не могут вместе не смеяться.

V. Повторы и вариации

Повторяемость комична по своей природе. При этом возможны несколько источников появления юмора.

1. Тот факт, что одно и то же событие случается снова и снова, утверждает его реальность. Воспользуемся выражением Марка Твена «жизнь – это когда неприятности случаются снова и снова». Эта фраза содержит преувеличение, связанное с тем, что судьба каждого из нас представлена как цепь постоянных неудач, что, конечно же, неверно. Таким образом, выстраивается ряд скриптовых оппозиций «нормальное/ненормальное», «реальное/нереальное», «ожидаемое / преувеличенное», что и используется при создании юмористических текстов.

2. Повторы могут быть более комичны, нежели само исполнение, потому что в этом случае аудитория знает, что ее ждет. Текст может держать аудиторию в напряжении, ожидания аудитории могут быть обмануты и т.д.

3. Каждый из повторов может быть воспроизведен по-новому. Ср. эпизод из романа «Захват-22». Отец майора Мейджера не занимается выращиванием клевера, через некоторое время власти одобряют его за это, затем ему начинают платить ему деньги за то, что он не выращивает это растение. На эти деньги он покупает себе больше земли для того, чтобы не выращивать клевер и т.д.

Ситуация комически усугубляется с каждым повтором, несмотря на то, что в ее основе лежит одна и та же шутка. Парадоксальное противоречие, заключающееся в том, что кто-то получает деньги за то, что ничего не делает, раскрывается все больше и больше по мере разворачивания эпизода. Комизм в этом случае усиливается. Важно, что комическое начало определяется не только смысловыми, но и композиционными особенностями текста. Таким образом, повторяемость и вариативность могут усиливать комизм.

Заключение

«Усилители» юмористического эффекта должны стать компонентами теории юмора художественных текстов. С.Аттардо утверждает, что, поместив любое содержание в схему одного из информационных ресурсов, можно создать шутку. Это не так. Жизнь и литература сложнее. Шутка должна быть создана, при этом она может быть более или менее удачной, и это будет существенным образом влиять на способности неидеальной аудитории находить и понимать юмор в тексте.

© Каслова А.А., перевод, 2005

© Шебалов Р.Ю., перевод, 2005

Сведения об авторах

Акимова Ольга Борисовна – доктор филологических наук, профессор, за кафедрой акмеологии общего и профессионального образования Российского государственного профессионально-педагогического университета (Екатеринбург).

Астафурова Татьяна Николаевна – доктор филологических и педагогических наук, профессор, за кафедрой профессиональной иноязычной коммуникации Волгоградского государственного университета (Волгоград).

Богуславская Наталья Ефимовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Булыгина Анна Викторовна – аспирант кафедры немецкой филологии Института иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Вазанова Ирина Юрьевна – аспирант кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Волчкова Ирина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и стилистики факультета журналистики Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Гоголина Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Гридина Татьяна Александровна – доктор филологических наук, профессор, за кафедрой общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Демидова Галерия Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Жидко Наталья Александровна – аспирант, ассистент кафедры иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Злыденная Татьяна Александровна – старший преподаватель кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Зуева Татьяна Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Каслова Анастасия Александровна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Уральского гуманитарного института (Екатеринбург).

Комарова Зоя Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафедры романской филологии Института иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Коновалова Надежда Ильинична – кандидат филологических наук, профессор кафедры общего языкознания и русского языка, декан факультета русского языка и литературы Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Краев Семен Владимирович – старший преподаватель кафедры естественнонаучных и математических дисциплин Института международных связей (Екатеринбург).

Купина Наталья Александровна – доктор филологических наук, профессор кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Мальцева Инга Геннадьевна – аспирант кафедры немецкой филологии Института иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Михайлова Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Михайлова Юлия Николаевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель Института экономики и права (Екатеринбург).

Овчинникова Любовь Николаевна – аспирант кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Олянич Андрей Владимирович – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой иностранных языков Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии (Волгоград).

Пестова Наталья Васильевна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой немецкой филологии Института иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Плаксина Елена Борисовна – аспирант кафедры риторики и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Рут Мария Эдуардовна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Саматова Елена Константиновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Сумина Екатерина Сергеевна – аспирант, ассистент кафедры немецкого языка и методики его преподавания Шадринского государственного педагогического института (Шадринск).

Чернова Оксана Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и речевой коммуникации Магнитогорского государственного университета (Магнитогорск).

Чечулина Любовь Семеновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Шебалов Роман Юрьевич – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Шейгал Елена Иосифовна – доктор филологических наук, профессор кафедры языкознания Волгоградского государственного педагогического университета (Волгоград).

Шустрова Елизавета Владимировна – кандидат филологических наук, докторант кафедры английской филологии и сопоставительного языкознания Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Оглавление

РАЗДЕЛ I. АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

<i>Гридина Т.А.</i> Языковая картина мира в свете детской ментальности	3
<i>Демидова К.И., Овчинникова Л.Н.</i> Глагольные метафоры в русских говорах Среднего Урала как источник изучения языковой картины мира в региональном аспекте.....	21
<i>Зуева Т.А.</i> Когнитивные модели осмысления пространства и их фразеологическая репрезентация	36
<i>Коновалова Н.И.</i> Ономазиологическое моделирование как инструмент лингвокультурологической интерпретации знака	40
<i>Михайлова Ю.Н.</i> Семантическая сфера <i>религия</i> и типы словарей	49
<i>Саматова Е.К.</i> Специальные наименования как носители и хранители этнокультурной информации (на материале лексики русской псовой охоты)	62

РАЗДЕЛ II. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<i>Астафурова Т.Н., Олянич А.В.</i> Репрезентация властной языковой личности в англосаксонском лингвосемиотическом пространстве	70
<i>Волчкова И.М.</i> «Смеховая культура» в контексте современного политического дискурса	81
<i>Купина Н.А.</i> Живые идеологические процессы и проблемы культуры речи	90
<i>Михайлова О.А.</i> Вербализация региональной идентичности в культурном пространстве современного уральского города	105
<i>Рут М.Э.</i> Языковая личность о себе	111
<i>Сумина Е.С.</i> Вербализация концепта <i>толерантность</i> в немецком и русском языках (в сопоставительном аспекте)	119
<i>Чернова О.Е.</i> Динамика идеологического содержания концепта <i>труд</i> (по материалам газеты «Магнитогорский рабочий»)	125

Шейгал Е.И. Голос народа в политической частушке	139
---	-----

РАЗДЕЛ III. ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ГРАММАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Акимова О.Б. Функционирование квазисложных предложений со значением неизвестности	145
Богуславская Н.Е. Семантически не освоенные единицы текста в аспекте их восприятия	149
Гоголина Т.В. Специфика организации функционально-семантического поля сомнительности	154
Демидова К.И. Источники территориального варьирования лексики в частных уральских диалектных системах.....	158
Злыденная Т.А. Ключевые слова в структуре концепта <i>труд</i>	165
Комарова З.И., Краев С.В. Проблема знаменательности-служебности слов в русской грамматической традиции.....	178
Плаксына Е.Б. Прилагательные-антонимы, характеризующие человека: семантический анализ	190
Чечулина Л.С. Textoобразующая роль вводных слов	194

РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕПТОСФЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Булыгина А.В., Пестова Н.В. Литературный концепт <i>смешение</i> в творчестве Ф.Кафки	199
Ваганова И.Ю. Имена собственные как элемент ментального пространства произведений художественной фантастики	205
Жидко Н.А. Новая метафорика в авангардной поэзии	212
Мальцева И. Г. Проблема ментальной адекватности при переводе цветовых концептов Г.Тракля	219
Шустрова Е.В. Тропеическое моделирование концептосферы «Бог» в романах Дж. Болдуина	223

ПЕРЕВОДЫ

Трайзенберг К. «Усилители» юмористического эффекта в художественной литературе (перевод с англ. А.А.Касловой и Р.Ю.Шебалова)	233
Сведения об авторах	239

Подписано в печать 05.12.01 Формат 60 х 4 1/16
Бумага для множительных аппаратов. Печать на ризографе.
Усл. п. л. 15,0 Тираж 100 экз. Заказ 1593
Оригинал-макет отпечатан в отделе множительной техники
Уральского государственного педагогического университета
620017 Екатеринбург, просп. Космонавтов, 26
E-mail: uspu@dialup.utk.ru